

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

5
1976



Хабаровск. Май

Фото Н. Шкулина



Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал
ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
И ХАБАРОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

ГОД ИЗДАНИЯ 43-й

С О Д Е Р Ж А Н И Е

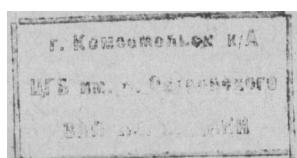
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Александр Дракохруст — ИЗ КНИГИ «РАЗДОРОЖЬЕ»: «ЗНАКОМЫХ СЛОВ НЕВНЯТИЦА...», МАЙСКИЙ ДОЖДЬ, В БЕЛОСТОКСКОМ ЛЕСУ, «ОН ПАДАЛ ИЗ ДЫМЯЩЕГОСЯ ЗНОЯ...», ПОД НЕВИННОМЫССКОЙ, ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ, ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ, ДРУГУ, «И ОПЯТЬ РАСПУТИЦА, РАСПУТИЦА...», В НОЧЬ НА 22 ИЮНЯ, «И ГРОМ УТИХ, И СВЕТ ПОМЕРК...», СВИДАНИЯ, «МНЕ ДОЛГО-ДОЛГО БУДУТ СНИТЬСЯ...», «УЖЕ НЕ ВЕРЮ В ПОЗДНИЕ УДАЧИ...», «РАДУГА НАД МАЛЕНЬКОЙ ПЛОТИНОЙ...», стихи	3
Владимир Зыков — ПРИ СВЕТЕ ДНЯ, повесть	7
Павел Зятьков — ЧЕРТОВА ДЮЖИНА, рассказ	40
Борис Копалыгин — СТИХИ О СЕРЕЖКЕ, ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ ЭКЗЮПЕРИ, стихи	51
Семен Лившиц — ТЫ НАДЕЙСЯ, РОССИЯ; НА СЕВЕРЕ, стихи	54
Василий Балабин — ЗАБАЙКАЛЬЦЫ, роман. Продолжение	55
СТИХИ МОНГОЛЬСКИХ ПОЭТОВ: С. Доржипалам — ОСЕНЬ; М. Цэдэндорж — ПЕСНИ ХУРА	98
Николай Ященко — НЕУТОМИМЫЙ РУССКИЙ МОЛОДЕЦ, очерк	100

ПО ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ

Сергей Мещерский — КОГДА ПРИЛЕТАЮТ ПТИЦЫ, очерк	109
Виталий Нефедьев — У ИСТОКОВ КЛЮЧА, очерк	116

МАЙ • 1976 5



ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

А. Полетика — АРИФМЕТИКА И ГРАММАТИКА ОСВОЕНИЯ 124

ДЕЛА ИЛЮДИ

Михаил Воскобойников — РОДНАЯ МОЯ СТОРОНА 128

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Л. Вольпе ВРЕМЯ РОМАНА 137

Д. Чиров ПОСТЫЛАЯ ПАМЯТЬ 146

Э. Асатуров — ПРИСПЕШНИКИ МАОИЗМА 149

НОВЫЕ КНИГИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 151

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

Юрий Шишов — ДВА РАССКАЗА: ТРУДНЫЙ ДЕНЬ ВАСЬКИ ГРАЧЕВА,
ЮРКА 152

Тимофей Белозеров — У МОРЯ, КАМНИ, ЛОСЬ, стихи 157

КОРОТКО О РАЗНОМ 158

Главный редактор Н. М. РОГАЛЬ.

Редакционная коллегия:

**В. Н. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, В. М. ЕФИМЕНКО,
Н. Д. НАВОЛОЧКИН (зам. главного редактора),
В. Е. РОМАНОВ, В. М. САНГИ, П. В. ХАЛОВ.**

Ответственный секретарь К. С. ОВЕЧКИН.

Рукописи объемом меньше авторского листа не возвращаются.

Технический редактор Н. А. Лызова. Корректор А. Е. Москвитин.

Адрес редакции: 680610, г. Хабаровск, Комсомольская ул., № 80. Телефон 33-13-68.

Подписано к печати 21/IV 1976 г. ВЛ 00111.

Бумага 70Х108 1/16 14 усл. печ. л., 15,80 уч.-изд. л. Тираж 30 000 экз,

Заказ № 420. Цена 50 коп.

Хабаровское книжное издательство, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.
Типография № 1 Краевого управления издательств, полиграфии и книжной торговли,
г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.

 **Дальневосточный краевой научно-издательский центр**, 1976

Из книги «Раздорожье»

* * *

Знакомых слов невнятца,
Полузабытый стих...
Мне никуда не спрятаться,
Не спрятаться от них.
И я, как будто сослепу,
На зорьке росяной
Петляю между сосновами,
Брожу над крутизной.
Живу с душевной смутою,
Соскальзываю вниз...
Ах, сколько ты напутала
И наврала мне, жизнь!
То невпопад рассорила,
То жесткою была...
Со сколькими рассорила
И скольких забрала!
В тумане, сети ставящем,
Скорблю об их судьбе...
Прощаю все товарищам
И ничего — себе.

Александр ДРАКОХРУСТ



МАЙСКИЙ ДОЖДЬ

Нет, что со мною — я не понимаю
(А может быть, сейчас со всеми так?):
Веселый дождь

в лицо мне брызжет маем,
А я глотаю слезы — вот чудак!

Теплынь парная. Соек перекличка.
Лихих дроздов шальные голоса...
Я радуюсь дождю.

И с непривычки
Все щурю,
щурю мокрые глаза...

8 мая 1975 г.

В БЕЛОСТОКСКОМ ЛЕСУ

Синий дым над могилою братскою,
Над заплаканным березняком...
Здесь безвестные кости солдатские
В сорок первом зарыли тайком.

Ни фамилий, ни имени-отчества,
Ни бесхитростного стиха...

Воздает запоздальные почести
Им случайный костер пастуха.

Мгла сползает в окопы забытые.
И, привычный уже ко всему,
Я себя различаю — убитого —
В этом жертвенном синем дыму...

* * *

Он падал из дымящегося зноя,
Стремительно теряя высоту, —
Он весело охотился за мною,
Из всех стволов дырявя пустоту.

А я с ним — в прятки.
Выжду терпеливо —
И, не дыша, перемахну большак...
А он стрелял. И усмехался криво.
И кожаный показывал кулак.

Еще заход — и снова острой тенью
Прокошен луг.
И, значит, мне — пора!
Но я тянул какое-то мгновенье,
Как будто это впрямь была игра,
Как будто он достать меня не может,
Как будто я от пуль заговорен...

Я испугался позже,
много позже,
Когда меня уже не видел он.

ПОД НЕВИННОМЫССКОЙ...

Цветные трассы разрубают лето,
За танками, в пыли, мелькает цепь...
И солнце, как немецкая ракета,
Высвечивает выжженную степь.

Здесь все — до самой маленькой
травинки —
Все на виду,
куда ни кинешь глаз...
Ах, солнце,
солнце в небе над Невинкой,
Шутя демаскирующее нас!

Разрывы с фронта, и разрывы с тыла,
И этот обезумевший боец,
Стреляющий в недвижное светило:
— Садись...
Садись же, сволочь, наконец!..

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ

На Повонзках, в Варшаве,
могилы туманом повиты,
На Повонзках, в Варшаве,
солдат поминают убитых.
Там печальные свечи
желтеют в рядах аккуратных,
А над ними,
дрожа,
расплываются желтые пятна
И сливаются вместе,
и смутное зарево виснет
Над бессонной Варшавой,
над странно притихшую Вислой.
И щемящая боль,
навалившись,
меня подминает...

Пусть погибших солдат
по-другому у нас поминают! —
Я молчу — пригвожденный,
молчу — обожженный свечами,
А в глазах у меня —
только пламя...
неровное пламя...

ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Пружинит под ногами вереск...
Где путь колонный? Где завал?
Наверно, памяти доверясь,
Я безнадежно заплутал.

Вот здесь они полезли с тыла,
Здесь мы закладывали тол...
И все, как прежде,
все, как было, —
И все не то...
совсем не то...

Иду...
И, память разгребая,
Ищу затерянный проход...
И только позже понимаю,
Что я — не тот...
совсем не тот...

ДРУГУ

Слабеет наша память фронтовая.
И мы, пригубив кислого вина,
Все чаще имена перевираем

И смотрим отчужденно,
и вздыхаем,
И только за погибших пьем до дна.

Разорван между нами
мост понтонный.
И нам не надо, видно, никогда
По пьянке,
Наспех склепывать прогоны, —
А то его совсем
снесет вода...

* * *

И опять распутица, распутица —
Не проедешь, не протянешь связь.
И колеса понапрасну крутятся,
И за голенища лезет грязь,
И над заколоченными хатками
Не видать приветного дымка.
Лиши березы — вдовы солдатки —
Все кого-то ждут у большака...

В НОЧЬ НА 22 ИЮНЯ...

Нам нынче не уснуть в дырявой клуне —
Лежим плашмя и не смыкаем глаз...
Гроза в июне, о гроза в июне! —
Гремит артподготовка битый час.

Всю память нам воронками изрыла.
И перекатом в небе грозовом
Опять разрывы,
рвут рассвет разрывы...

...А мы тогда считали: это — гром.

22 июня 1975 г.

* * *

И гром утих, и свет померк,
И только молний пересверк,
И ждет чего-то, чуть дыша,
Вдруг оробевшая душа
И просит медлящую высь:
— Ну, разразись! Ну, разразись!

* * *

Меня опять поймала осень
В густые сети паутин —

Не убежать от этих сосен,
От этой хмари не уйти.
И я, с повинной головою
В лесу плутая поутру,
Хочу прижаться к этой хвое,
Обнять набухшую кору
И захлебнуться дымом едким,
И отышаться грудью всей,
И слушать,
слушать, как на ветках
Лепечет дождик-самосей...

СВИДАНИЯ

1

Может быть, подступившие сроки,
Может, память моя...
Но к утру
Снится мне,
что во Владивостоке
Жду тебя на колючем ветру.
И поземка наезженной рысью
Мчится мимо,
хвосты распушив...
На панельных, на голых пролысинах —
Ни души.
Как тогда, — ни души.
Снег часы залепил,
и на сквере
Время будто застыло в пути...
И опять я не верю,
не верю,
Что ты просто забыла прийти.
И остался бы —
честное слово! —
С этим сном,
Нестареющим сном, —
Только б снова,
ах, только бы снова
Ждать тебя
на ветру ледяном!

2

По апрельскому талому снегу —
Молодая и я молодой —
Мы навстречу рванулись с разбегу,
Обдавая прохожих водой.

Губы в губы.
А над головами —
Синий парус платка твоего...
И уже никого между нами,
Между нами уже никого!

Порт гудел.

И под яростным граем
В тот грачиный, в тот ветреный день
Нам казалось, что мы упываем
По веселой, по вешней воде.

Упываем, —

не ведая сами, —
К не открытым еще берегам...
Только мокрядь и снег — под ногами,
Только мокрый апрель — по щекам...

* * *

Мне долго-долго будут сниться
Дорога через бурелом
И эта сопка,
 как лисица,
Линяющая летним днем,
Крутые плечи перевала,
Вода и тени на лугу,
И язычки далеких палов
На том — на левом — берегу,
И всплески звезд, и месяц тонкий,
Чуть осветивший пустоту,
И тишина, в которой только
И говорить начистоту...

* * *

Уже не верю в поздние удачи!
Но вот пришла,
 да только не ко мне.
А у меня, как прежде, нездача,
И я не отыщу, по чьей вине.

А, все равно...

Все то же, как когда-то! —
Сам не сумел!
 Честнее, — не посмел...
Зачем же лгать, что время виновато,
Что порох был,
 да только отсырел?

* * *

Радуга над маленькой плотиной,
Радостное бешенство воды...

А внизу, в глухой долине, тихо —
Заводы и сонные пруды,
А внизу — все тина, тина, тина,
Только пены грязные следы...

Радуга над маленькой плотиной,
Молодое бешенство воды...



Владимир ЗЫКОВ

ПРИ СВЕТЕ ДНЯ

ПОВЕСТЬ

С первым звуком я вздрогнул, уверил себя, что не сплю, все понял и на все готов. И тут же уснул, точно всей моей ночной бессонной блажи пришел конец. Увидел наскоро, как рухнул, споткнувшись, большой портальный кран. Разбросал свои суставы по товарам и людям. В снежной пыли метались, сгущаясь на арматуре, лучи высоких прожекторов, а внизу, во тьме, кто-то искал меня. Кому-то я говорил, что болит сердце. Кому-то говорил. И оно действительно болело. Не так, как обычно, болит в беду, а по-новому: как будто его внутри пошевеливают, словно бы ложкой скребут внутри.

И я затаился в предчувствии нового грохота. Тот за дверью, похоже, вздрогнул. Потом нашел наконец кнопку звонка, нажал, выждал, нажал подлиннее и зазвонил непрерывно. Я поднялся, побрел к двери, чувствуя, как сквозь пот выступает холодок гусиной кожи. Ткнулся в стул, на котором лежало мое белье, и, как лунатик, обходя в темноте препятствия, добрел до выключателя в прихожей, щелкнул и открыл дверь.

Личность в проеме вырисовалась довольно щуплая. Что за гость? Ага, водитель. Этот мог грохотать разве что сапогами.

— Проходи, коль не шутишь.

Он прошел впереди меня на кухню.

— В порт вызывают. Приехал за тобой.

Я стал вспоминать, как его зовут. Дежурную машину мы обычно нанимаем в автохозяйстве, и водители оказываются разные — не успевала запомнить. Он с ходу расположился на стуле, да так, как по проекту сидеть на нашей малометражной кухне явно не предусматривалось. Снял, не поднимаясь, фуфайку и поставил ее в угол.

— Что случилось? — спросил я.

— Вызывают. Диспетчер вызывает.

— Да случилось-то что?

Он неторопливо достал «Прибой», закурил, взглянул на осуждающие меня остатки вчерашнего ЧП на столе и выдохнул в сторону вместе с дымом:

— А больно я знаю...

Сила, ничего не скажешь. Хоть весь наш порт провались, смой его волна, или превратись море в сушу, и он будет сидеть, расставив ноги, курить свой «Прибой» и размышлять. Разве кто толкнет его под бок, и тогда уж он понесется будить начальников. Я протиснулся мимо него и включил транзистор — местное радио рассчитано на тех, кто днем дома, а ночью спит.

— Чайком не угостишь? — как бы между прочим поинтересовался он.

— Разбираешься, — буркнул я. Убрал со стола бутылку с рюмкой. Похоже, на завтра остались одни немытые кастрюльки. Достал

из холодильника колбасу, нарезал ее кружками на сковороду и залил яйцами. Взглянул на него вопросительно, но он ограничился шевелением, и я пошел одеваться.

Жена лежала на кровати спиной ко мне и не то всхлипывала, не то просто сопела.

— Опять, — проговорила она, — опять к этой своей. С утра по раньше.

Я собирал с полу постель и сказал, не мудрствуя, как на языке легло:

— Эх, Верка! Ну сколько можно так? Один на полу валяюсь.

Она всхлипнула непрятворно и, наверно, сама удивилась тому, что сказала:

— Хоть бы рубашку сменил. Тебе-то все равно, ты и в одной майке пойдешь... а обо мне что люди скажут... — Тут она перешла на шепот, запричитала быстро: — Ни субботы, ни воскресенья. Будь ты проклят вместе со своей работой! Ребенок отца неделями не видит. О господи! И когда это кончится?

Дочь завозилась в соседней комнате, и я не успел обидеться, только сжал кулаки.

— Смолкни! Кому говорю? — и добавил потише: — Лучше будет, если помолчишь.

— Ах, вот как! — она живо обернулась. — Это уже что-то новенькое.

Я взял со стула свою одежду, прикрыл за собою поплотнее дверь и прошел в ванную. Открыл на полную мощность кран, так что журчание и плеск воды перекрыли все звуки в нашем просыпающемся доме, в котором не удивишься, если кто-нибудь чихнет за стенкой, а ему ответят: «Будьте здоровы» — и в котором по этой причине ночью иной раз слышится негромкая музыка. Я присел на край ванны, оделся и затем пошел к своему гостю. Спросил у него, что он будет пить: кофе или чай? Судя по нерешительной улыбке, выпил бы чаю, а сказать хочется, мол, не лыком шиты — кофе. Сделал кофе ему и себе.

Ел он, отставив мизинец и держа кусок в вытянутых пальцах. Нет, чтобы вымыть руки — сидит, жеманится.

— Что? — спросил он и качнул головой в сторону комнаты. — И у тебя тоже...

Тут я впервые взглянул на него. До сих пор его присутствие как бы теснило меня. Застигнутый врасплох, я, как проказник, боялся по-



Владимир Иванович Зыков родился в Хабаровске в 1941 году. Сейчас работает в Дальневосточном геологическом управлении. Заочно учится в Литературном институте имени А. М. Горького.

В журнале «Дальний Восток» печатались рассказы Владимира Зыкова «Не повезло» и «Костер на снегу».

сторонней добродородочности и честности. И сразу понял — не стоило.

— Что, не вкусно приготовлено? — спросил я. И, помолчав: — Лучше расскажи все-таки, что там стряслось?

— Да не знаю я, — повторил он и подмигнул, кивнув на дверь. — А-а.. У меня тоже так, если с вечера переложу, наутро не столько похмелье, сколько она жилы тянет.

Счастливчик, тоже мне.. А кольцо имеет обручальное, да еще массивное золотое, с печаткой. Местная мода по прозванию «восемь надбавок», что вкупе с коэффициентом ноль семь на каждую сотню прямого заработка дает полторы климатических. Привилегии-то свои «от» и «до» знает. И хоть, наверное, не читает ничего, кроме приказов на доске объявлений, подмигнуть в срок и панибратски умеет. Небось может потянуть и почву из-под чужих ног на свою сторону.

Так что не стоило распахивать душу. Меня и так не покидает ощущение, что я своими слабыми сторонами открыт для всех. Просто невозможно, чтобы все скверное обо мне знали все. Даже из прошлого. Бывает, лежишь себе, покуриваешь и вдруг вспомнишь что-нибудь такое... аж сожмешься весь от стыда перед людьми. В конечном счете все мои переживания сводились к тому, что мне-то не все равно, что обо мне люди подумают. И моя мнительность скорее всего есть результат работы чувства, именуемого совестью!

Додумался я до этого в странный период моей жизни. Тогда я всерьез считал себя сумасшедшим и, если бы не русские писатели-классики, наверное, до сих пор пребывал бы в этом тихом убеждении. Поразил меня не сам факт наличия у меня совести — кто не уверен, что совесть у него есть? Тут другое — жизнь ошеломила меня своей необратимостью. Яйцо на сковородке нельзя сделать сырым и вывести из него цыпленка. Я мог ошибиться в точности определения понятия, но сам факт остается. Впервые я понял, что в жизни все имеет определенную форму и ничто не может существовать абстрактно, само по себе, или, в порядке исключения, только во мне.

Сегодняшняя ночь — недоразумение. Так падает в речку камешек и несет вода кругами разбегающуюся рябь. Пройдет немного времени — все по-прежнему. Исчезли круги. Бежит река. И то, что происходит сейчас, и то, что было ночью, не более как мгновенный всплеск. Ведь что такое «сейчас»? Вот я повторяю это слово, и начало его уже в прошлом. «Есть только миг, — скрипит транзистор, — за него и держись...» Слышал. Популярно. Но хотел бы посмотреть, как это выглядит в натуре.

— Ладно, хватит рассиживаться. Идем...

Я подождал, пока водитель скроется за дверью. Выключил свет и сказал, обернувшись, в темноту комнаты:

— Постараюсь до завтрака... Ты слышишь, Вер-р?

Но так и не дождался ответа и вышел, захлопнув дверь...

Ни обогрев, ни освещение кабины не работали — ясно, хорошего шофера на сторону не пошлют. Изо всех щелей дуло так, что сесть поудобней было невозможно, да и лень — тяжелый пузырь сна еще ворочался во мне. Трясло неимоверно — дороги в поселке были грунтовые, галечные, разбитые донельзя. Клапана в машине стучали, как у трактора, и скорость временами тоже к тому приближалась. Желтоголубой в тумане свет фар вырывал из мглы качающиеся полосы пыльного снега по обочинам, беленые стены и холодные темные окна. Редко где горел свет. Когда я учился на заочном, мне нравилось ду-

мать, что свет ночами горит в окнах заочников или оторванных от мира сего бытописателей Пименов.

На повороте мой рулевой прозевал всем известную колдобину, и меня бросило вверх затылком о крышу кабины, а потом вперед — лбом в ветровое стекло.

— И за что тебя только держат? — вырвалось у меня. — Семья большая, или заметки в стенгазету больше писать некому?

— Слишком много начальников развелось, — спокойно, как будто так и надо, отвечал он.

— А тебе кто мешает стать начальником?

— Без меня хватает... — блеснув зрачками, он пробубнил что-то скорее всего по моему адресу, но, что именно, не разобрать. Похоже, приятеля я себе свежего с утра пораньше нажил.

Я начальник складских групп. Назвался груздем — полезай в кузов. Или, как сказал Маяковский: «Если тебе корова имя, у тебя должно быть молоко и вымя». Будь он хорошим шофером, мы бы познакомились, и разговор бы нашелся не о домашнем приключении. А коль он водовоз, так мой долг не мямлить о трудностях, а ставить вопрос прямо. Может, он в другом деле гений — веревки вить или стихи печатать. И пусть идет, борется за свое место в жизни, а под ногами не болтается. Пусть хоть голову сложит, по крайней мере, трагедия будет — несоответствие личности призванию. Себе и людям урок. Но скорей всего в конце-то концов толк и из него выйдет, уважать себя научится.

Конечно, диспуты о правильном и неправильном выборе профессии нужны. Но почему-то они трогают лишь восьмиклассников да разве еще мою жену. На трезвую голову — сплошной примитивный карьеризм. Стать тем-то и тем-то. А дальше? Стал начальником почты — и разводи гусей. Вот тут-то и трещинка. У каждого человека между тем, что он думает о себе, и тем, что он есть на самом деле, нет полного совпадения. Дело, на мой взгляд, в том, что, прежде чем стать кем-то, нужно уже чем-то быть. Узко говоря, на любом месте. А в идеале — везде. И все это понимают, и дело этого требует — оттого-то так и напряжены наши будни. Да и для того чтобы идти к высшим, не дающим уснуть целям, мало лишь одной мечты, нужно быть упорным, чего ни один диплом не даст.

Машина выскоцила к портовским воротам. Заскрипели тормоза. Вышла сторожиха, соснувшая ровно настолько, чтобы не казаться сонной, и откинула цепь. По сторонам потянулись черные прямоугольники складов. В кубике весовой горел свет, и на платформе весов под лампочкой стоял самосвал с углем. Морозы на носу, и влажный уголь скоро станет сплошной скалой. Взять его можно будет разве что взрывом. Вот и приходится развозить круглосуточно.

— Давай по пирсу, — сказал я шоферу.

Он свернулся. На ковше пирса два крана — «Форельки», — перекрытая причал ползающими тенями, разгружали кирпич. Неуклюжие, круглые от одежд фигурки грузчиков появлялись из-за ящиков, отцепляли крючья, отмахивали «виру». Гак, нагнувшись, устремлялся вверх и в сторону. Тут груз разбросан по пирсу, не развозится. Но так и было согласовано. Кирпич — дефицит, и прямо с утра его начнут вывозить своей техникой покупатели. Видно, кто-то из начальства не в курсе и, нагрянув, решил поучить нас уму-разуму. Навряд ли. Пока дела у нас идут нормально, и незачем посреди ночи срываться.

Ближе к диспетчерской на «ручке» ковша паровой кран разгружал тяжеловесы — железобетонные перекрытия. У стопки их, застегнув крючком воротник шубы и переступая с ноги на ногу, стояла Роза

Павловна — завскладом открытого хранения. Тем более, если она здесь, значит, никого подгонять не нужно и с начальством все улажено. Выходит, все-таки опять что-нибудь на ГСМе — складе горючесмазочных материалов.

Я хлопнул дверцей и не стал подниматься наверх к диспетчеру, а пошел сразу на склад. В проходной у ворот мирно спали, сидя на лавке и развесив головы в разные стороны, два грузчика. Я потряс их за плечи и сел на табуретку перед столом. Они таращили на меня красноватые глаза и, мотая головами, сопели недовольно.

— Ну как, — спросил я, — на повременке спится? Какие сны снятся с почасовой оплатой? Панорамные со стереозвучанием? И как мне платить вам прикажете?

— Только присели, Олег Петрович. Два танкерка откачали, и перекурить некогда было...

— Ну, это вы кому другому пойте. Вас послушать, так не насосы качали, а вы сами танкера, что бочки, в гору катили.

Один из них — бригадир Егорович. Серьезный мужик, неторопливый. С первого взгляда видно — этот человек цену себе знает. Встал, закурил, с достоинством подал руку.

— Привет, Олег Петрович! Давай сначала поздороваемся. Да скажи нам, как там наши сыграли. Хоть бы радио сюда провел, а то сидим, как в склепе.

— Проиграли. Три — один. А патефон здесь не нужен?

Второй пошустрие. Он уже успел выскочить с опережающим мысль словом и сейчас мнется, подавая мне руку. При одинаковых возможностях между ними определилось четкое различие: первый — человек, у которого все есть, второй — у которого ничего нет. То есть, буквально, ничего, кроме койки в общежитии. И это при наличии четырехкомнатной секции и «Москвича» на материке у Егоровича. Постоянная необходимость перехватить до получки лишает его уверенности. Он суетится, порывается сказать что-то и смолкает при первых звуках своего голоса. Наконец садится облегченно, словно решив целиком доверить себя дипломатии бригадира.

Егорович сел по другую сторону стола.

— Ну, что я говорил? Накладут нашим, как миленьким...

Я тоже присел на табурет, протянул ноги к раскаленному докрасна электрическому «коzлу» и машинально достал сигарету. Курить на территории самого склада, разумеется, нельзя, и на эту избушку у меня выработалось нечто вроде условного рефлекса — при одном ее виде хочется накуриться впрок.

Повертел сигарету в руках, поднялся и сунул ее в карман.

— А там что?.. — спрашиваю я про соседний участок.

— Зря вы шумите. Там у Кузнецова команда на берег с полулучки смылась, так он вашему Афошину разгон дает. Каша заварилась... Мы ни при чем.

— Ладно. Разберемся. Перекурите — и на пирс.

Грузчики, они и есть грузчики, знают свое дело: «майна-вира». Часто интересуются одним вопросом: сколько? Вот так. И получают они раза в два больше меня. У нас коренное население оленей пасет да охотится, а приезжают на Север нередко люди за копейкой. Иные еще и с раскрытым ртом, в который за самоотверженность должна манна небесная сыпаться. Романтики, что гуси, до первого снега на юг подаются, а эти знают, что без них тут не обойтись, их ждет работа. Свое здесь можно взять. Со временем все усложняется — квартира, ясли, пионерлагерь... Да и привычка много значит. Интерес к дедам порта становится неизбежным.

Меня задело спокойствие Егоровича. Порядки у него в бригаде твердые: филюнит кто или запил — собирают собрание, объясняют, что на свои трудовые накладно чужую глотку вином щекотать и гонят в шею на все четыре стороны. Мог бы вмешаться сейчас, так ведь нет...

За дверью остроносый песик подпрыгнул и лизнул мне руку. Странный — одно ухо торчком, а второе лежит чуть ли не на глазу. И шерсть разная: черная, густая и гладкая, а серые пятна жестки, почти без подшерстка. Лизнул, отскочил и побежал впереди меня. «Бич», по морским понятиям. Отстал от парохода и перешел на общественные хлеба. Пирс за воротами был неровно освещен и пуст. Только капроновые и гофрированные рукава валялись скрюченные, словно замерзшие черви на снегу. Я подошел к самому краю причальной стенки. Метра на два ниже его виднелась палуба плашкоута с насосами. Рассеянный свет прожекторов не проникал туда. Тускло светился и двигался переносной фонарь, во тьме слышны были топот и чья-то ругань. К плашкоуту не боком, как положено, а не разберешь — поймешь как приткнулось два танкерка. Танкерки, тоже мне, — одно название, нечто вроде жестяной галоши с крышкой — без катера ни с места. Вот и таскают их к танкеру на рейд. Зальют — и назад. Здесь уже наше дело — выкачивать.

Бортом к плашкоуту, прижав кормой танкерки, высилась ННБ-500 — пятисоттонная самоходная нефтеналивная баржа с освещенной рубкой и высокой красивой трубой. Снизу донесся новый взрыв ругани. Сколько в конце концов можно орать? Мегафон я или живой человек? Тут я увидел высокую фигуру Кузнецова с его патрицианскими жестами и скатился по трапу навстречу ему:

— А ты что здесь делаешь?

— Как что?

— Где ты сейчас должен быть?

— Где есть — там и должен, — вскрикнул он. — А тебе я, вообще, ничего не должен.

— Ты должен быть сейчас на рейде. А не базлать тут.

— У меня еще сто пятьдесят тонн горючки.

— В десять вечера сто пятьдесят и в шесть утра сто пятьдесят. Что ты восемь часов делал? Целый рабочий день.

— Я что делал?! А ты что делал?.. Я на палубе с насосом пуп надрывал. Поорешь — да и на сторону. Перевидал я здесь за десять лет вашего брата.

— Ладно! — Я махнул рукой, мол, разговор окончен.

— Да ты что, вообще, — он, судя по пафосу, уже к небу обращался: — Тебе же русским языком говорят: насос не работает. Откачать надо по-быстрому вашими, чем с этой мелюзгой возиться.

— То-то... Два насоса, и оба не работают. Доброго молодца по соплям видать.

Люди, стоявшие поблизости, засмеялись. Похоже, в точку попал.

— Заткнулся бы ты, Кузнецов, — угрюмо проговорил шкипер с танкерка, — а то враз кислород перекрою.

Я взял у него фонарь и шагнул вперед. Кузнецов, видимо, не так меня понял. Мотнулся, как тень, впереди нас, запричитал: «Ну нет, этого я так не оставлю». Перелез через танкерок на свою баржу, решил, что дома и стены помогают, встал, как на трибуне, загораживаясь от ветра, и айда выкрикивать декларацию протеста. Но на танкерке уже темень, не до него. Вода по бортам хлюпает. Шаги гудят по раскаленной от мороза палубе. Зябко — сквозняк с моря крепкий

тянет. Я заглянул в один танк — полнехонек, только рукав вставлен.

Спрашиваю у шкипера:

— Ты сделал?

— Я, не ждать же их, — сказал шкипер.

Пошли на корму. Кузнецов идет параллельно с нами, не сходя, однако, со своей баржи. Кормовой отсек тоже полон.

— А сюда, что, рукава не хватило?

— Конечно. Стоим-то как.

Возвращаюсь назад на плашкоут.

— Какого, дьявола, собственно, — спрашиваю у Афошина, — бензин не откачивашь?

— Да вот, они говорят...

— Кто они? Немцы? Наши? Марья Ивановна?

— Да вот Кузнецов...

— Кто здесь начальник?

— Да вот они с диспетчером... Оперативно, говорят, надо.

— Ты здесь начальник. Ты! Москва за тебя думать не будет. Заруби себе это на носу. С тебя и спросится.

— Я же говорил, — встревает Тятошкин.

— Вот, вот... быстро присоединяй рукава и включай насосы.

По трапу навстречу ему спустились грузчики.

— Разобрался, — с усмешкой в голосе проговорил Егорович.

Я кивнул ему и продолжал:

— Так вот, мой уважаемый завскладом, за два часа будьте любезны уплатить грузчикам из своего кармана. Наряд на повременку выпиши отдельный. Я уже дооформлю его как следует.

— Ладно. Напугали, — сказал Афошин тихо.

— Со всеми их надбавками рублей пять получится. Для начала. Вот так. Премиальные свои тоже, считай, в уме получишь. Понял, товарищ бригадир, к чему я веду?

— Да вроде чую, — замялся Егорович.

Еще бы, ему не понять. Сейчас портофлот вину за задержку будет на нас валить, и грузчикам это на руку — они хотели работать, им не дали, они не виноваты. Но, пока порт платит деньги, они вроде бы ничьи. Получить же за добрый сон из кармана знакомого — совсем иное дело.

— Черт те что, — протянул Афошин и ляпнул с неожиданной решимостью: — Я виноват, что Тятошкин пьян был?

— Дурак, — уверенно перебил его Егорович, — твой же рабочий. Под себя копаешь. Зачем до работы допускал? А допускал, так, значит, в рабочее время вместе с ним выпил. Вот ведь как на это дело взглянут. Народ тут битый. Ты лучше скажи, что с баржи вся команда на берегу. Не торопится никто. На танкер неделю дают, а в нем дизельного осталось тонн пятьсот, если не меньше. Впереди еще два дня. Решили, мол, дневной водой выйти и захватить все разом. За скорость ведь не доплачивают. Спешить некуда. А то насос! Что насос? У него на триста пятьдесят тонн свободной емкости. Плыви да заливайся, коль надо.

«Вот этого, — подумал я, — этого от тебя, Егорович, я и ждал все время...» И спросил:

— А что с Тятошкиным?

— У него лучший друг умер...

Большой левый насос вздрогнул, обрубив все звуки. Захватывающий шланг, схватив бензину, изогнулся половчей, напрягся. Кашляющий звук стал мощнее, чаще, перешел в частое на грани завывания стаккато. Отдающий, вздохнув несколько раз, начал пульсировать пол-

но и ровно. Афошин с бронзовым молотком в руке зачем-то перелез на танкерок и задумчиво посмотрел сначала в носовой люк, а потом в кормовой.

— Зачем вы его держите? — спросил Егорович.

— А что же нам здесь Эйнштейна держать или Капицу? Научится. Ты ведь не пойдешь.

— Еще чего?

— Ну вот. Отдай-ка лучше Кузнецова конец.

Нефтеналивная баржа была пришвартована за нос и корму. Стоит отдать кормовой конец, и баржу течением отлива развернет на сто восемьдесят градусов и поставит как раз там, где ей положено быть. Я посмотрел, как Кузнецов стал вытаскивать конец, как между ним и грузчиками медленно и неотвратимо ширилась полоса воды, крикнул:

— Кузнецов! Не забудь потом на берег аппендицит с паром бросить!

И поднялся наверх. По ту сторону пирса вдаль и вправо возвышались ровные ряды серебристых цилиндров цистерн. Под ближней из них, между раскрытыми дверками пускового щитка, стоял Тятошкин. Он не торопился уходить и даже нагнулся к щитку, словно не замечает меня и занят.

— Пойдемте перекурим, — сказал я Тятошкину.

— Да ведь качать надо, — он повернулся ко мне и поманипулировал ладонью у рта, словно у него не то нос засялся, не то щека.

— Без тебя некому, что ли?

— Есть-то есть, — согласился он и зачастил, оправдываясь. — Я им сразу все как есть сказал. Да разве Афошина с места сдвинешь? Уперся, как баран. Говорит, баржа ответственней. Министр нашелся... А что ответственней? Систему бы всю загадили соляркой, вот и вся ответственность. Промывай ее потом. А то вообще заморозить недолго... Говорю, не буду пересоединять и точка. Хоть Олега Петровича зовите. Я знаю, чем все эти штучки кончаются.

За воротами мы на ходу закуриваем и проходим в кабинку. Я сел за стол, а Тятошкин боком ко мне проместился на лавку, вытянув руки и ноги к «козлу».

— Что ты не в полушибке? Ведь выдавали.

— А его на выход решил оставить.

Выглядит он хуже некуда.

— Ну, рассказывайте, в какие цистерны и сколько залили?

Он, загибая пальцы, рассказывает, постепенно возбуждаясь. На ГСМ двое таких орлов — слесарей — он и Попов. Но Попов тот живет при семье, как и положено старику. А Тятошкин одиночка — независимый. Жена умерла. Сыновья и дочки затерялись в необъятных просторах нашей страны. Иногда от кого-нибудь из них приходит письмо, и все заставляют Тятошкина читать и перечитывать отроческий привет вслух. Тятошкин горячится, собирается ехать в отпуск, выписывает за наличный расчет со склада портофлота мичманку с крабом. Начистит краба мелом и ходит в парадном костюме — гордый, седой, в меру тощий. Облазит за неделю все суда. Все его знают, везде он принят. Лет двадцать проплавал он неплохим механиком в те баснословные времена, когда двигатель жил лишь колдовством и энтузиазмом механика. Но с переводом дизелей на более научную основу а механиков на короткие и длинные дипломы Тятошкин сдал, перешел в крановщики. А тут, поспешая за нынешними темпами, он расколотил о пирс парашют с маринованными в трехлитровых банках огурцами.

Огурцов он с той поры в рот не берет, а работает незаменимым человеком у нас. Незаменимым... По пословице «Сапожник без сапог». Техника у нас самая что ни на есть дедовская.

Есть такое словечко «неликвиды», от которого не одному мне скучно. В переводе на разговорный язык это то, что давным-давно никому не нужно, а на складах в избытке. О причинах можно талмуд написать. Факт, что они есть. Сверху за это, хоть сами иногда без заявок присылают, по головке не гладят, а покупатели, хоть сами иногда по близорукости да бестолковости справочников и не заказывают, увидев все в натуре и прозрев, брать их наотрез отказываются. Вот и стоят у нас на плашкоуте не насосы, а куча неликвидов. Но даже идеальный насос, он только в школьном учебнике физики по-писаному работает, а на практике — куда ни двинь, везде клин, и каждый раз что-то новое. Да вдобавок горючка с водой. Конечно, согласно ГОСТу. В танкере она не схватывается, а в насосах и особенно в системе ледок дает себя знать. Порой перехватывает пробкой длиной в метр и побольше. Кувалдой не врежешь — искра, и огнем нельзя — взрывоопасно. Остается пар да солдатская смекалка, а вокруг начальство кружит, платой за простой грозит, да танкер на рейде, как бельмо на глазу, маячит.

Я подсчитал свободные емкости. Получилось не ахти сколько. Дизельное топливо все войдет. А бензин — даже если танкерки оставить на плаву — тонн сто хоть в море выливай.

— Ну, а как ваши дела? — спросил я, отложив бумаги.

Он посмотрел на меня и захлопал красноватыми без ресниц веками, пытаясь понять: просто так мне захотелось поговорить или я веду к тому, чего он побаивается.

С полгода назад мы проводили его на пенсию. Сбросились, как водится, на подарок, местком помог. Поспрашивали сторонкой, нет ли у него мечты небольшой. Возжалел ящик местного вина «Мансандровки» и позволения выпить «с кем хошь». Все-таки сорок лет работал. Достали всеми правдами и неправдами и подарили ему палас на пол, чтобы ноги не зябли. Северная пенсия сто двадцать рублей. Стревал бы себе и не горевал. Так нет ведь, через два дня приперся в новой мичманке — соскучился. Пришел душой отдохнуть да так и остался.

Он похлопал немного веками, широко открыл рот, выдвинул вперед десны и, следя глазами за рукой, показал пальцем в нижнюю челюсть справа. Резцы вообще отсутствовали, а на месте коренных блестела не коронка, а целая корона. Он приподнял ее двумя пальцами на сантиметр от десны и поводил туда-сюда — от холодного острого звука мне даже неловко сделалось.

— Вот зубы опять разболелись. Надуло, что ли? — шепеляво проговорил Тятошкин.

Я не нашелся с ответом. Спохватившись, он оставил руку застенчиво у рта, задержал ее, пока другой не поднес папирус и не затянулся.

— Ладно, — сказал я, — надевайте свою шубу.

Он помолчал, обреченно и печально глядя на огненно-красные витки «козла». Затем решительно снял с головы треух, обнажив седые, разглаживаемые только банной водой волосы.

— Эх, Олег Петрович, а Витька-то помер... Хоть плачь...

И действительно заплакал. Я растерялся.

— Что с вами, Николай Квинтилианович?.. Успокойтесь, Николай Квинтилианович.

— Третьего дня еще живой был, — поминутно срываясь на фаль-

дет, запричитал он. — Я как раз пол вымыл. Он пенсию получил, зашел ко мне, «Мансандровки» взял. Сковородку еще купил и восемь стаканов. Одну-то бутылку мы выпили, а вторую он мне оставил. Он не раз помереть мог, да все проносило. Мы с ним такие корефаны были. А тут два дня к нему не заходил... Сердце-то совсем старое, нечуткое стало. Вчера прихожу — закрыто. Сосед говорит: «Помер твой друг, увезли в анатомку, и тебе пора», — говорит...

Я накинул ему прямо на засаленную телогрейку шубу, насиливо вытащил за руку из кабинки, довел до дежурной машины и открыл перед ним дверцу. Он замолк, неуклюже взбираясь и усаживаясь.

— Так ты ту самую бутылку и выпил? — примирительно спросил я.

— Ту, а какую же? Свои-то копейки я дочке послал. Она гарнитур покупает. Оставил себе на прожитку. А с ним у нас завсегда все общее было.

Ощущая наигранность и неестественность своего жеста и голоса, я похлопал его по плечу:

— Ничего. Все обойдется. Сейчас люди долго живут. У него, наверное, что-нибудь с сердцем было, а вы у нас еще живчик.

— Я-то ничо, — он доверительно наклонился ко мне. — Вот вы этому Афошину скажите, что он дурак. Мне он не верит. Только под ногами путаться умеет. Одно слово — «сено-солома»...

— Ладно, — я встал на подножку и, перегнувшись, сказал шоферу, чтоб он отвез Тятошкина, а на обратном пути заехал за Поповым. Тот даже не повернулся.

— Послушай, тебе, что, пряник дать, чтоб ты рот раскрыл?

— Знать надо, — пробурчал он, — я только диспетчеру подчиняюсь. Мало ли кому куда съездить захочется. Тут не частная лавочка.

Я плотно положил ему руку на плечо:

— А ведь ты, наверное, даже не сообщил о приезде. — Он быстро взглянул на меня. — Два часа дурака провалял. Еще и на других тень наводить будешь, оправдываться перед диспетчером. Мол, дома не был, старался, искал.

— Правильно, поезжай, — сказал Тятошkin, — видишь, не отвертишься.

— А диспетчеру я сам доложу. — Захлопнув дверцу, я подождал, пока он включит фары. Машина тронулась, открыв взгляду весь сухогрузный пирс. Перед глазами возникли аккуратные серые стопки железобетонных перекрытий, стрелы кранов, желтовато освещенные внизу и расплывчатые выше в небе, уже по-утреннему сумеречно-мглистом. Холодный ветер дополнил картину звуками: скрипом такелажа и голосами мегафонов. Не хватало только далеких гудков.

Роза Павловна вышла из-за стопки тяжеловесов и, узнав меня, высвободила лицо из воротника, приветливо так помахала рукой. Я ответил тем же и пошел к диспетчеру.

Диспетчерская помещалась в небольшом доме, построенном с флотским колоритом, — почти правильный куб, обитый крашенной в голубой цвет палубной рейкой. Первый этаж занимал погрузрайон — одна большая комната для грузчиков и кабинка для прораба. На второй вела крутая, на манер бортового трапа, наружная лестница, заканчивающаяся небольшой открытой площадкой. Отсюда были видны суда на рейде. Сейчас, в утренних сумерках, многоэтажные огни их, казалось, поднимались далеко выше моря.

Я прошел узким коридором мимо дверей в клетушки вспомогательных служб и толкнул дверь диспетчерской. В комнате, прямо по

ходу, была открыта дверь на балкончик, с которого тоже как на ладони можно было увидеть весь пирс и причальную стенку. Направо — закрытая дверь кабинета старшего диспетчера, налево, вдоль стены, — стол с двумя радиостанциями, буквой «Г» к нему приставлен был еще один, все как полагается: телефоны, бумажки под стеклом. На стене подробный — метр на два — месячный график чередования уровней приливов и отливов. Посреди комнаты на стуле сидел человек с продолговатым лицом, увенчанным русой челкой, с длинными руками и длинными, заброшенными одна на другую ногами. Он читал сложенную вчетверо газету.

— Привет, — улыбаясь и протягивая руку, сказал он.

Я поинтересовался, чем его так дернуло, что он меня посреди ночи из постели вытащил.

Он засмеялся:

— Сам не знаю. Посмотрел — там вече. Думаю, сколько они еще будут заседать — неизвестно. А влетит нам обоим — это факт.

Я поблагодарил его за находчивость и за то, что он так лихо весь наш наливной флот к плашкоуту приткнул.

— То ли еще бывает, — флегматично отвечал он. — Все бывает, и тут ничего не попишешь.

Я включил передатчик и вызвал «Алтайр». Танкер ответил не сразу, мне пришлось дважды повторить свой призыв прежде, чем через треск и шорох эфира донеслось:

— «Ранет!» «Ранет!» «Алтайр» слушает, — и смолкло.

Я попросил позвать стивидора (на банальном языке землян — прораба). Дождался его и спросил, как там обстоят наши дела. Он был полон оптимизма и точности.

— Здорово, Олег, — весело кричал он. — Значит так. Семьдесят второго тонн двести сорок. Записал? Семьдесят шестого тонн сто. Не больше. Дизельного — триста двадцать. К обеду раскрутимся. На худой конец — к вечеру.

Я сверил его цифры со своими расчетами. Разница была невелика. В конце концов без нее не обойтись. Мы черпаем из тысячетонных запасов танкера пятидесятитонными танкерками. Танкерки до конца не откачиваем и тем более не зачищаем. Кое-что остается. Зимой вода, смерзаясь в лед на дне танка, угрожает вдобавок забить льдинками насосы и систему и заставляет невольно увеличивать остаток от рейса к рейсу, оставлять зачистку «на потом». Стивидор, отписывая бензин шкиперам, старается учитывать это. Завскладом и кладовщик на бегу тоже. Но все это чисто условно, «по душе». Есть, правда, счетчики, но не для наших температурных условий. Для них нужно строить отдельный домик и, вообще, строить теплую насосную станцию. Что, судя по всему, наступит лет через пять, не раньше. Можно подсчитывать по емкостям наших береговых цистерн, но в них ведь тоже остаток, тем более, принимая, мы еще должны «делать план». А потому кое-что продали. Иначе, если сложить все грузы, которые поступают в порт за год, весь порт покроется ровным слоем метров в двадцать.

Так что пока у нас единственная единица измерения — пятидесятитонный танкерок. Хотя они и наматывают порой всем гужом рейсов за двадцать из остатка «по душе» такие головоломки, что с месяцем половина порта из объяснительных не вылезает.

Закончив расчеты, я почувствовал себя веселее. Хоть сто тонн бензина и осталось на моей совести, но об этом пока, чур, молчок — сам разберусь. А вот вина за ночное происшествие, кажется, обошла меня стороной. Я не преминул сообщить об этом диспетчеру, который

и сам все отлично слышал и у которого тоже свой арифмометр в голове.

— Что ж вы не вывели ННБ на рейд? У него всего сто пятьдесят тонн. Взял бы остальное...

— Говорю, не разобрался, — недовольно оборвал он.

Я не стал настаивать. Он вел к тому, что он моряк чистой воды и для него все эти тонны, рубли и копейки низменны и не интересны. Все моряки нигде так не моряки, как на суше. На море они все купцы. Все именитые мореплаватели были купцами. Романтично стоять за штурвалом, прокладывать курс, гордиться работой дизеля, одеваться с шиком, а капитану — тяжело поднимать веки. Всегда важно, как и что везешь, чем и какую рыбку ловишь.

Я посмотрел расписание выгрузки сухогрузов и подумал: приемлемо. Трудоемкие грузы на день, цемент — на ночь, одного человека на приемку хватит, если, конечно, успеем танкер откачать и море сюрпризом свежий пароход не подбросит. И вышел на балкончик.

Течение уже развернуло баржу. Ее красавая труба изредка вздыхала мягким паром. Грузчики крепили швартовы. Поземка переметала все неровными сумерками. Серебристо стыли на ветру огромные бока цистерн. Воображение рисовало за ними даль намытой речной косы, служащей естественным молом. Коса уходит в море под воду. Малые катера таскают над ней плашкоуты и танкерки, а вот такая «махина», как ННБ-500, только по приливу пролезет. Раньше, говорят, устье было глубже. Но какой-то рационализатор задумал еще подуглубить его землечерпалкой. Заодно, мол, и берег подукрепим. Подуглубил и подукрепил. Но потревожил вековое дно. Косу само собой снова намыло, да еще подвижную. Носят шторма ее хвост куда им заблагорассудится — успевай створы переставлять. Берег ползет в море. Потекут на нем бульдозеры, и тихоходная установка бьет тяжелой «бабой» сваи. Новое время — новые заботы. Но углублять рано или поздно все равно придется.

Направо отчетливо видна вся геометрия порта. Ковш рыбного причала пуст. Недвижно замерли краны. Под ними отдыхают скальвающиеся по реке лед катера «Блок» и «Тургенев». Тяжелые чайки-мартыны, как утки, глубоко сидят на воде. Ближе жмутся к причалу коренастые плашкоуты, в сущности, — обычные понтоны. Шеи кранов умно гнутся к ним, клюют гаком и плавно выносят на пирс ящики с кирпичом. Внизу почти прямо подо мной разгружают СП — самоходные плашкоуты. Хорошая штука — эти СП. Грузоподъемны и вполне приспособлены к самостоятельному плаванию в прибрежных водах. На будущий год обещают подбросить еще десяток. А пока сами клепаем свои понтоны.

До первого класса только и было — овраги, сараи да деревянные автоматы. Потом фильм о Победе: наши солдаты в полной парадной форме маршировали по Красной площади, сваливали в кучу у Мавзолея фашистские знамена. Гремела музыка, и ты ликовал вслух. Сестра, сидевшая рядом, успокаивала тебя: «Тише ты!» — и со всех сторон шикали: «Не мешайте смотреть».

Пленные немцы уходили из города. Поздняя весна. Заморозки уже прихватывали землю. Немцы шли в потрепанной форме, весело топали по камням мостовой, махали: «Прощай, рус!» Один снял с тебя шапку, расстремал волосики, повернул лицом к себе: «Ну, что, Ванюшенька-веснушенька, до свиданья». Ты удивился, что немец так ласково заговорил с тобой. А немец большим пальцем больно провел против

корней волос, «накормил салом» — так это называется. Потом схватил твою правую руку, вскинул вверх, шепнул: «Хайль, Иван!» — и пошел, загарцевал, похочатывая. Серьезно, без улыбки смотрели вслед ему пацаны.

Осенью тебя записали в школу. Пришел ты босиком, плохо тогда было с обувью, и перевели тебя в другую школу, начальную. Вечером сидели с сестрой у дома на лавочке. Она держала в руках твои ступни, слушала, как во тьме заливалась гармошка... Соседская Эмма подошла и присела рядом, стала хвастаться: купила себе на толкучке германскую комбинацию и сделала из нее летнее платье. Она брезгливо курила длинную папиросу и шептала: «Не умеют все-таки немцы шить». Сестра смотрит прямо. Глаза у нее сухие, такие сухие, что любую слезу высушат. Четвертый год уборщицей работает. Ей уже двадцать, а сама — кожа да кости, сплошная талия от пят до шеи. Вот у нее ты за все спрашивал ответа, за весь мир взрослых — и за еду, и за обутки, и даже за то, что папы с мамой нет.

Уроки ты делал на сундуке. Зашел раз на огонек дядя Леня. Большой, чистый, только из парикмахерской. Сдвинул учебники, уселился. Сестра захлопотала у солдатской тумбочки с примусом. «Ах, извините, у нас не прибрано», — сказала она. Дядя Леня умел развлекать. Сначала он подступил к тебе с козой-дерезой... Идет коза рогатая. Но ты только лоб морщил, сердился, что мешают. Тогда дядя Леня положил в рот монету и достал из уха две. Тут ты и рот раскрыл. Дядя засмеялся и стал вынимать из рукава носовые платки, много их вынул, целый водопад, а один подарил тебе. Потом ужинали, и дядя показывал тенями на стене фокусы из пальцев. Постелили тебе на сундуке. Ты уснул, положив голову на засаленную фуфайку, прикрытую прохладным и душистым носовым платком. Утром сквозь сон услышал: «Вы, дядя Леня, не сердитесь, но Ваня у меня уже большой. Все понимает...» — «И какой я тебе, дурашка, дядя? Никакой я не дядя...»

Сестра достала тебе кирзовые сапоги, точь-в-точь солдатские только маленькие, но такие же крепкие, износу им нет, и командирскую планшетку для книг. Дали вам квартиру — комнату с кухней в кирпичном доме. Переезжали, складывали на тачку скарб: тумбочку, керосинку, сундук и кровать. Эмма вышла в коридор в своем летнем германском платье. Встукнула в бок руку, опять была с папиросой и шипела: «Как ей не противно, он же женатый». Ты нес два стакана и запустил одним прямо в нее: «Сама ты противная и дура!» Ты не видел, как сестра сцепилась с ней, испугался, убежал, плакал под лестницей. И сестра ничего не сказала тебе, только на ночь дольше обычного задумчиво гладила волосы.

А на Новый год дед Мороз подарил тебе пальто из шинели с мягким воротником. Сестра угостила мороза стопочкой. Дед приподнял белые усы, и ты увидел под ними бородавку точь-в-точь, как у дяди Лени. Вошла женщина, сказала: «Ты еще здесь?», — и увела деда Мороза. Сестра смотрела в окно. Падал снег. Женщина тянула по сугробам деда Мороза. «Нин, а Нин, — прошептал ты, — а у него на щеке». «Да, — рассеянно и тоже шепотом отвечала сестра, — у деда Мороза бородавка, — и улыбнулась, чмокнув тебя в лоб. — С Новым годом!» Так и ушел навсегда в ночь неродной человек, которого ты ждал каждый раз, как чуда, как еще не ждал никого в жизни...

Междуд тем солнце уже бросило вдоль моря свои первые лучи и розовато осветило передо мной снежные вершины гор, окаймлявших,

широкую и необжитую долину противоположного берега. Диспетчерская наполнялась народом. Я услышал довольный, с морозцу, голос старшего диспетчера Клюева:

— Ну, как вы тут?..

Не оборачиваясь, увидел его невысокую, пухленькую фигурку с аккуратными ручками, которые он любит при разговоре нетерпеливо потирать одна о другую, превесело заглядывая при этом в глаза собеседника.

— Да вот, — ответил диспетчер, — вроде все нормально. Только опять на ГСМ черт те что творится. Тятошкин нажрался... До сих пор разбираемся.

Я повернулся и вошел к ним. Человек шесть шкиперов расселись на корточках вдоль стен и курят, дожидаясь своей информации. Старший, весело, уютно и дробно смеясь, пожал мне руку:

— Здорово. Что, опять «сено-солома» выступает?

Я кивнул и сказал всем: «Здравствуйте». Мне ответили (не скандировать же хором) коротким молчанием.

— А ты бы выгнал его, — продолжал Клюев, — или поставил бы на его место эту гром-бабу кладовщицу, а его — туда. Поменяй их местами.

— Еще хуже будет.

— Эт точно. Она уж поцарствует.

Я не ухожу, хотя мне здесь собственно нечего делать, а закуриваю, прислонившись к стене.

— Мужик там у него напился, — повторил свое диспетчер.

И опять пошло, загомонили.

— Да. Ты этому своему шоферу, — сказал я, — часок из путевого листа вычи. Спрятался и нос не кажет.

— У Тятошкина друг умер, — неожиданно вмешался пожилой шкипер: — а вы... Нечего здесь паясничать. Помочь надо...

— А кто против, — мягко оборвал его старший, — кто против?

Тут дела давние. Как говорится, на чужой роток не накинешь платок. До меня на моей должности человек пять за год перебывало. Дело, конечно, с трудом, на грани психопатства, но двигалось. Шеф крутился, как заведенный, и завескладами во вкус входили. Но, что бы где ни случилось, во всем, пусть самыми фантастическими путями, виноватой оказывалась база снабжения. Только ведь скучно без конца повторять «база снабжения». Нужны жертвы, живые герои виновности. Вот Тятошкин с Афошиным по своей беззащитности и стали таековыми. Поначалу я на планерках готов был, как гвоздь, в стул уйти, не знал, куда и голову с открытым ртом поворачивать. Решил разобраться. И сегодня почти каждый в порту успеет сказать или услышать, что Тятошкин опять «выступает», и я его покрываю. Для меня так вопрос не ставится.

Человек не знает, когда он думает. Физически ему самому это непонятно. Вот камень поднять — это понятно. А заявить, что брызнул свет — мысль, едва ли. Скорей всего мысль попросту нашла искомый приют, была принята, а не изобретена «от лампочки». Разумеется, есть озарения — мышление в чистом виде. Если верить Эйнштейну, подобное раз в жизни произошло с ним. Но объявить, что мозг пре-бывает в постоянном искации сущей правды и смысла жизни — не-лепо.

Мыслит человек, как известно, словами. Сколько уж наговорено по этому поводу. Жаль только — слова, как груз, бывают тяжелые, необязательные. Ну, хороший человек, не пьет, работник хороший, семьянин, не жадный — и себе и людям, а дальше?.. И остается не-

мым, невысказанным словом то, что не всегда увидишь. Ведь это со-кровенное — человек в своей тяге к добру душевному, в непрерывном любопытстве к нему, в поисках его, даже в неверии и в радости своей, иногда осознанной, может быть в невероятной для других ситуации.

— Так-так, — повторил старший, — кто же за простой отвечать будет?

— Стрелочник! — вспылил я. — Разве не ясно, что стрелочник?

— Да я, собственно, не против руки пожать и разойтись. Но Лягунов...

— Тогда вот, — я кивнул на диспетчера, — кто организовал, тот пусть и отвечает.

— Я-то при чем тут?

— Возьми бумажку и сам своими словами опиши.

— Во дают! — восхитился Клюев. — Зачем вам бумажки? Стянем баржу по большой воде — само собой все утрясется, а не стянем — видно будет.

— Да? Ну, хорошо. Согласовано, — сказал я. Поднял трубку, набрал погрузрайон и спросил у дежурного прораба, сколько человек он мне может дать на сегодня.

— Десять.

— Мало. Давай пятнадцать.

— Не могу. «Углегорск» на подходе. Я людей домой отдыхать отпустил.

— А чтоб его... Тогда двоих пошли на ГСМ и по четверо на третий и пятый склады. Распорядишься?

— Ладно. Сиди кури.

— Бывай, — я положил трубку. — Тоже мне диспетчер, называется, не мог предупредить, что «Углегорск» на подходе.

И вышел, хлопнув дверью, с острым чувством недоверия к флегматичному диспетчеру, которому не хватает одного — быть багроволицым и багровоносым, и к прекрасным глазам и пухлым ручкам Клюева, недоверия, посевенного, вероятно, всеми капризами так нелепо начавшегося дня.

В кабинете по всем отделам суетятся женщины, те, что не успели или не пожелали привести себя в порядок перед трюмо в фойе. Лестничные площадки повисли, как ковры-самолеты в сизом сигаретном тумане, населенном степенными мужами и их способными разговорчивыми подмастерьями. Тут, знай, успевай здороваться. Все недовольны Петрухиным — ему такой пас выдали, а он мимо ворот... замастерился. Хоккей называется. Заелись. Раньше еще хоть катались, а теперь спят себе на поле. Наши водолазы в своих тридцативухилограммовых ботинках быстрой шныряют.

Мой шеф Христофоров — курносый, плотный — смотрит, ухмыляясь в сторону, на плоскую коленкоровую книжечку — турнирную таблицу на этот год.

— Н-да, — говорит он, — вешь! И в заднем кармане не помнется. В Москве вышла, тираж всего две тысячи. Где их только достают?

— А вы берите, — торопливо кивает Гера, его новый зам, снисходительно доставленный чьей-то рукой с неведомой стороны, — я еще принесу.

— Да уж нет. Благодарю вас.

Отовсюду к книжечке тянутся руки — надо же посмотреть и позавидовать. А Гера, голубоглазый брюнет, пряча в ресницах лукавую

усмешку, рассказывает последний анекдот про часовщика, написавшего мемуары. Говор и негромкий смешок плывут в табачном дыму.

— Что с Тятошкиным? — спросил шеф.

— Потом, — ответил я.

Он кивнул. Волной прошлись старые байки о Тятошкине. Будто было у него три поросенка непутевых — пища им не впрок шла, животы к позвоночнику подтянуло. Вырвутся сворой, через забор — и айда к помойкам. Все носы о консервные банки раскровянили. Будто, телка у него была. Крупная телка, справная, да ветеринар сглазил — пустая оказалась. Как сказал — так и вышло. Бывало, февраль, мороз, идешь мимо... А у него в сарае над дверью квадрат незаделанный. Она морду высунет, паром дышит, мычит... Заморозил дед буренку в девушкиах.

Моя жена подошла неожиданно, спросила с беглой усмешкой:

— Хоть в буфете-то перекусил? — и сунула мне пачку сигарет.

Я мотнул машинально головой. Ее негустые, русые волосы были собраны на затылке в хвостик, оставляя на виду уши — небольшие, но какой-то странной торчащей формы. Я проводил ее глазами. И что она носит такую прическу? Вроде не в деревне живем.

В отделе всех женщин стянулся к себе дальний угол. Прохаживаясь между столиками, кружась и разведя руки в стороны, стройная Люба Войтова демонстрировала новое платье. Там же за столиком и предмет ревности моей жены — Галка Смирнова, — цветущая девятнадцатилетняя деваха, загримированная «под моду». Войтова, увидев меня, не отказалась себе в удовольствии, прежде чем смутиться еще раз, смеясь и вильнув спинкой, пройтись до своего места. Я поприветствовал одним выражением лица и, отвернувшись, прошел в свою каморку — угловую комнатку, отгороженную от всех десятислойной фанерой. Разделился, включил «коzла» и сел за стол, с удовольствием чувствуя, как приятно отходят после ходьбы поясница и колени. Каморка маленькая, в одно окно, но на зимний муссон — весь холод в ней. Зато стол серъезный, старый, высокий и просторный, обтянутый зеленым сукном. В отделе пестрит обычный лакированный ширпотреб, на поверхности которого едва поместятся две-три бумажки. Про эти столы говорят шутливо, что выдумал их некий гениальный конструктор, не переносящий скопления бумаг.

Фанера — преграда чисто визуальная. Слышишь, как рядом стояишь. У меня даже вошло в привычку, отвлекаясь, никак не реагировать на женские голоса. Они могут преспокойно и моей благоверной косточки перемывать — все одно до меня не дойдет. Разве замолчат все враз — значит, поссорились. Тогда нужно выходить.

Сейчас, перекрывая все звуки и, видимо, прикладывая хрупкие пальчики к вискам, щебечет Татьяна Николаевна:

— ...Ой, у меня в субботу так голова разболелась. И все из-за Сережки. Сыночки пошли. Не знаю, что у них там произошло. Собака, говорят, в подвале ощенилась. Такая здоровая, и щенков штук пятнадцать у нее. Вся детвора там. Мой-то, конечно, самый добрый. Прибежал ко мне. «Возьмем, — говорит, — их». — «Возьмем-то возьмем, а где жить будут?» — «А на кухне. Вот здесь, в уголочке». Он уже и тряпку туда положил... Ты представляешь, говорю, Сереженька, ведь она же большая собака — ее кормить надо. А эти вырастут — шестнадцать больших собак будет. Их кормить надо, а они еще лаять начнут, кусаться. А он встал вот так: «Ты, что, — говорит, — мама, против пограничников?» — «Ну что ты, говорю, Сереженька?» «Да, ты против, ты собак для них растить не хочешь. Мухтар-то уже старый стал. Пусть шпионы лазят, да?!» Что Мухтар, какой Мухтар? Тут

у меня в голове, вообще, все разболелось, пошла я и легла на диван. Плачет он, жалко мне его... Посуду он вымыл. Стал полы мыть. В слезах весь. Пришлось дать ему на трехлитровую банку молока, так он весь день со щенками в подвале провозился. Теперь места себе не нахожу — не иначе всю свору домой привез. Какая тут работа в голову пойдет? Ах, — остановилась она, — куда это Валюша с Марьей Даниловной пошли? Никто не слышал, может, в гастрономе что выбросили?..

— Померанцевую...

— Да нет. Я серьезно...

— Куда уж серьезней.

— Да ну вас...

— Работать пошли. Разве не ясно?

— Роза Павловна, вечно у вас какие-то намеки. Как будто вы одна работаете. Все мы работаем.

— Стала бы я намекать.

— А вы знаете, — вмешался неприятный с капризным прононсом голос Галки, — я вчера Фолькнера читала. У нас, говорят, все перемешалось, а там-то, там-то что творится! Вы только послушайте, что он пишет. У них ведь все печатают... Я тут подчеркнула...

В проходах, видимо, еще стояли, перебрасывались фразами. Но лязгнул «Феликс», прозвенел первый телефонный звонок, послышалась: «Да бросьте вы, сороки, дайте поговорить...»

Ко мне зашел Гера. Он положил на стол пачку товарных накладных, прибывших с капитанской почтой «Углегорска», и сел на подоконник. Затем воткнул карандаш в линейку и крутнул ее на манер пропеллера.

— А у тебя ничего... Девочки, как в польском «Экране». Войтова эта... очень даже...

Со мной он не церемонится. Ничего не попишешь — друг детства. На одной танцплощадке буги-вуги плясали. Не пуд соли съели вместе, так бочку пива точно выпили. Когда я впервые после десяти лет разлуки увидел его в кресле зама, то за минуту, как парашютист, килограммов пять, не меньше, живого веса потерял. С той поры так и смотрю на него — «не могу вместить» и все тут.

— Очень даже ничего... На уровне мировых стандартов, можно сказать, — он помолчал, положил линейку на колени. — Только я не умею романы заводить там, где работаю. Да и разговаривать-то разучился. Все напрямик...

— Учись.

— Эх-ха! Понял. — Так же, пряча усмешку в ресницы, заговорил он: — Не один я снабженец без диплома. Тысячи. Да и в дипломе, сам знаешь, корочки главное. Кому нужны твои шесть лет? Нет, я уж лучше вместе с портом расти буду. Я не гордый. На курсы буду ездить. Квалификацию подымать. А?

Он засмеялся, рывком выпрямился, оставил подоконник и подсел к столу:

— Ну, давай о делах. Что у тебя там на ГСМ стряслось?

— Да-а, — придвинув бумаги, неловко протянул я, — ты действительно становишься незаменимым человеком.

— А что? Помнишь, как ловко я разделался с деловой древесиной?

Было. Лес пришел с трухлявой сердцевиной. Попадались бревна и совсем полые, больше похожие на трубы. Мы по запарке да по доверию к отправителю приняли и, без завоза в порт, прямо с рейда развезли по периферии. Там само собой отказались оприходовать.

Пароход ушел, и лес повис на нас. Дело запахло судом. И тут Гера исчез «на пару месяцев». Не знаю где, кого и чем он умасливал, но отделались мы все — от начальника порта до меня — одноразовым вычетом в тридцать процентов месячной зарплаты.

Теперь он вспомнил об этом, но я сказал:

— Не хвались. Им-то от этого не легче.

— Легче. Всем легче. Им с нами ругаться тоже неохота.

— С кем с нами?

— Ну, не мне тебя учить. Сам отлично понимаешь.

— Вот этого-то как раз и не понимаю.

Я достал из стола журнал регистрации грузов. Пролистал исписанные страницы и написал в верхнем углу чистой: «Углегорск». Все товары должны быть поочередно переписаны, соответственно каждому номеру накладных и счет-фактур. Позже еще правее по графе появятся цифры акта оприходования. Сбор в одну строчку данных различных стадий обработки грузов сразу обнажает неувязку: недосыл, утечку или, наоборот, излишки того или иного товара. Параллельно со мной подобную работу проводят товароведы. Подстраховка просто необходима, когда имеешь дело с тысячами наименований. Любое недоразумение может стать настолько многолетним, что и разбираться не с кем будет.

— Знаешь, — сказал я, уводя его в сторону от ГСМ, — тут у меня одна задумка появилась. Ты бы передал шефу. Геологам бочки нужны. Горючее по трассе развозить. Они бочки на материке закупают, а мы свои на материк собираемся отправлять. Безработицы, конечно, не предвидится, но не грех было бы и с ними столковаться.

— Но ты же знаешь...

— Вот и съезди к ним, раз такой ловкий.

— А ты?

— Хватит с меня идеи.

— Ладно, я скажу шефу, пусть он решает.

Я чувствую, что со своей миной безусловной деловитости становлюсь иногда похожим на ворчуна печника, который не любит, когда ему говорят «под руку», и начинаю видеть в себе вола, которому дано одно — тянуть свою лямку. Странно, на первый взгляд, ни веса, ни бытового авторитета Гера не имеет, но при всей своей забывчивости он удивительно целенаправлен. Так что и забывчивость порой можно принять за рассеянность. Держат его «толкачом» для командировок в порты-отправители. Ничего. Справляется. У нас он гостит. Но бессознательное доверие к его интуиции и деловой хватке сказывается на отношении окружающих к Гере как баловню судьбы.

Я встал, открыл дверь и сказал в притихшую комнату:

— РПСу, летчикам и СМУ никаких грузов не отпускать, пока не пришлют бензовозы.

По проходу ко мне приближались Егорович и энергетик порта Мартынов. Он, покачиваясь на длинных, ступнями внутрь ногах, сунул мне руку:

— Привет, — сказал и угрюмо осмотрелся. — А, и ты здесь, отец Герасим? Как там на нашей фабрике? — Неловко опустил на стул свое массивное, крупносуставное тело. Вздохнул и выдохнул: — Дела-а... — Помолчал и вдруг: — А я чо-то знаю, — многозначительно сказал он Гере и усмехнулся.

Гера пригладил свою челочку и, кивая на Мартынова, подмигнул мне. Похоже, предстоял разговорчик, у которого вся соль в том, что

он состоялся. Егорович положил мне на стол наряды. Первый я сразу отодвинул:

— Пока своих данных о тачковке не будет, никакого разговора быть не может, Иван Егорович.

— Но там у меня Фомич. Ему-то можно доверять.

— Доверять всем можно. Доверяй — никому не жалко. Но для меня твой Фомич не авторитет.

Я пробежал второй наряд:

— Егорович, взгляни, у меня уши краснеют.

— Чего опять? — недоверчиво замялся он.

— Да вот... Перепиши местечко.

— Ну, тут уж все по-честному.

Можно, конечно, прикрыть глаза и так на дело взглянуть: грунт пятой категории и так далее. Но ямы для забора они рыли вдоль дороги, а там вся галька разворочена гусеницами тракторов.

— Выбрось рыхление грунта.

— Вычеркните тогда сами, и дело с концом.

— Да нет, перепиши. Чтоб без поправок. Денежный документ все-таки. Достоинством в полторы сотни.

— Ну и жлоб вы, Олег Петрович.

— Твоя школа, Иван Егорович.

— Моя. Верно. Я и сам иногда психану и думаю: почему я тебя из бригады не выгнал, пока ты у меня работал?

— Сам виноват — сам и расхлебывай.

Стоя, нагнувшись над столом, Егорович переписал документ, подсчитал, шевеля губами.

— Молочишко-то детишкам водичкой придется разбавлять.

— Занять могу, а так нет. Объясните ему, Георгий Оскарович, в каком качестве выступают сейчас деньги.

— И зачем тебе деньги? — спросил Гера. — У тебя ведь и так все есть.

— А на всякий случай. Ты вот забежишь ко мне перед получкой: не дай — обидишься.

— Деньги есть условное мерило труда, — сказал Мартынов. — По Марксу. Труда, а не запросов.

— Понял, — принужденно засмеялся Егорович. — Без цитат ясно, что спелись и не выгорит. Не выгорит так не выгорит. Меня агитировать нечего. Я тоже не для себя одного стараюсь. У меня в бригаде есть такие, что пузом думают. Поллитры им снятся. Пережитки чертобы. Все нажраться не могут.

— Сегодняшние наряды еще не готовы?

— Когда б я успел?..

— Ну, хорошо, — я поднял трубку и позвонил сначала на ГСМ; оттуда ответили, что новая смена заступила, двадцать шестой танкерок уже откачен, двадцатый только пришвартовали, ННБ все еще возится с насосами; потом — в СМУ. Попросил «Два Ф», то есть Федора Федоровича. В трубке послышался женский голосок:

— Его нет. Есть Владимир Иванович.

— А кто он такой?

— Он вместо Двух Ф.

— А куда Два Ф делись?

— В управление забрали. В гору пошел.

— Давно?

— С неделю. Уже и пыль улеглась, — голосок в трубке засмеялся. — Нехорошо, Олег Петрович, лучших друзей не узнавать.

— Здравствуйте, Ксения Ивановна. Извините, сразу не узнал.

— Говори уж, что тебе нужно. Как-никак, я главный инженер.

— Бензовозы бы ваши на денек.

— РПС возить будет? РПСу бы не дала — им за ворота лень из конторы выйти. А тебе уж так и быть. У тебя, говорят, перчатки меховые с «Углегорском» прибыли. Неужели опять лучших друзей по-забудешь?

— Какие перчатки? Я ничего не знаю.

— Меховые. По тринадцать пятьдесят.

— Есть такие, — вставил Гера, — десять ящиков.

— Но, Ксения Ивановна, вы же знаете: я с государством в азартные игры не играю.

— Господи. Ну и времена. Мужчина не хочет помочь женщине тряпку достать. Наивный вы человек. С вас только и требуется, чтобы меня в курс разнарядки ввести. Дальше я сама докопаюсь. Это же не военная тайна?

— Не военная.

— Только и всего. Я уж за вас позовню в РПС — пусть письмо на оплату бензовозов готовят. Ну, пока.

Я положил трубку.

— Прибыли перчатки, — повторил Гера, — на цигейковом меху. Свитера индийские и шубы дамские. После обеда поеду в трест разнарядку составлять.

— Ты какой институт кончал? — перебил его, обращаясь ко мне, Мартынов.

— Народного хозяйства.

— А ты?

Гера отвернулся и посмотрел в окно.

— А я чо-то знаю, — вновь играво произнес Мартынов. Фразу эту он периодически повторял при любом разговоре с Герой. Нужно отдать должное — Гера встречал ее довольно равнодушно и делал вид, что сказанное его никак не касается и есть ничто иное, как следствие непонятной дурачливости Мартынова.

— Несерьезный вы человек, — отвечал он, — нереальный.

— Разумеется, разумеется. Спасибо, сынок, надоумил. Только ведь, как взглянуть. Это вон Егорович, если разобраться, так за серьезность, хозяйственность да разговор по душе прибавки требует. Ну и у тебя тоже черты... А мне, как Суворову, под старость лет хоть петухом кукарекай, — он достал из кармана брюк блокнот, вырвал страницу. — Взгляни-ка, Петрович. Решил вот раздать всем, кто потолковей, по такой листовке. Ротор у меня на «Форельке» с рыбного сгорел. Перемотали — поставили — опять сгорел. Сейчас опять перемотал, а ставить боюсь. Так ты на досуге, Олег Петрович, мозгами покраскинь. Может, во что ткнешься — звякнешь.

— Что ж вы, Лев Михайлович, — сказал Егорович, — меня-то не замечаете? Может, в монтаже где закорючка. Сгодился бы по старой памяти.

— Да у меня средств нет, чтобы тебя оплачивать. У тебя на вольных хлебах подметка выросла — шире некуда.

— Что ж я, по-вашему, не знаю, где помочь надо? Сколько я у тебя электриком работал. Того и гляди, опять на работу проситься приду.

— Чего так? Зажимать крепко стали?

— Зажимать-то зажимают. Да не в том дело. Сам знаешь, на мыло скоро нас, если не будем шевелить мозгами. Лектор вон говорил, как в Америке сделано все. Учиться надо. Иначе одно остается — ходить мне в двухтысячном году седому в музее по клетке с мешком

на плечах. Мы ведь и не рабочие даже, а вроде подсобников при рабочем. Вот я... У рабочего специальность, а у меня? Глотку надо иметь бригадиру. Так выходит?

— Эт есть. Но зачем прибедняться? Искания у нас сейчас, — возразил Мартынов. — Разве можно надеяться, что кто-то за горами, за долами о нас подумает? Завязываем помаленьку с провинциализмом, а то все твердили: главное, мол, не здесь, а там где-то. Всезд главное.

— Ну, братцы, расфилософствовались, — засмеялся Гера.

— И то дело, — Мартынов опять насмешливо оглядел Геру. — Кто там помер-то?

— Да тот, которого в баню не пускали, — начал Гера и, видя, что все недоуменно смотрят на него, быстро договорил: — в парилке он до одури напарился и выскочил голый в фойе. В буфет к пиву его не пустили, так он на улицу и в снег.

— Ну и ну, — только и нашелся Мартынов.

А я не смог усидеть на месте, поднялся и сказал:

— По боку, всех вас по боку. Вас за день не переслушаешь...

Есть в диалектике понятие равновесия или относительного покоя, предусмотрительно определенное как временное. В производственной практике оно охарактеризовано функциональными обязанностями. Берешь на себя обязательство делать то-то и то-то. По крайней мере никто тебя не заставит тянуть на веревке дирижабль откуда-нибудь из Средней Азии. Не положено. В качестве вознаграждения за все — зарплата. Я переписывал по порядку перчатки, и шубы, и трактора, и ...стоп! Два новых автобуса. Звякнул в автохозяйство, обрадовал. И так далее, и тому подобное по порядку и без исключений — все, что вместили в себя тысячетонные трюмы «Углегорска». Торопился и смутно надеялся, что мне удастся закончить «законную» работу до планерки, что меня не оторвут и не придется оставаться еще после шести.

Доступность и простота занятия успокаивали, отвлекали. Они не трогали за живое, не касались главного, все делалось как бы само собой, помимо моей воли. Я начинал видеть себя со стороны: сидит функциональный «нач. склад. группы». Сосредоточен. Быстр. Деловит. Ясен. Не нужно усложнять, и многое становится понятным со стороны.

Так брел некогда первый, влажный от росы трамвай. Собирал своих трампарковских кондукторов и водителей. Подолгу задерживался, поджиная какую-нибудь Зойку с шестого маршрута. А она, подпрыгивая на шпильках, бежит, стараясь не нагибаться и кокетливо держа прямые руки на отлете от бедер. «Ой, девочки, — шепчет, — ой, девочки... кое-как успела». Успела она приготовить завтрак мужу, сложить у детской кровати все, что нужно для садика, чтобы «сам-то» не очень психовал — да и не найдет он ничего, только переворошит все. И влетает она в трамвай в свежей, пахнущей утюгом кофточке, белой юбке и смеется, поправляя влажные волосы. Поодаль, на задних сиденьях, прикорнули люди случайные: рыбак, который неизвестно когда доберется до клева, но все-таки встал и вышел из дома со всеми своими удочками; смиренная торговка с двумя новыми, полными пучков сочного лука корзинами и сладкой мыслью о сэкономленных трех копейках; просто некто пожилой и мятый — изредка он шевелится недовольно и бухтит — мол, знал бы, что так будет, пешком быстрой бы дошел. Рядом с ним клюет носом элегантный молодой человек, узколицый, с красноватыми белками серых глаз. Озирается. Ему не-

ловко, он думает, кому бы отдать за билет, чтобы чувствовать себя поуверенней?

Сидел я прошлой ночью на подоконнике, разглядывал сдвинутые в лунном свете параллелепипеды домов, слушал ветер и думал о том, что луна делает видимой ночь — убери ее и все исчезнет во тьме. Слушал жену и не слышал ее. Мучительно хотел одного — почитать что-нибудь хорошее, нечитанное. Но парень в трамвае то же был я. Со своим узким бесцветным лицом и носом картофелиной.

Запомнился мне мультфильм, который я видел однажды в кино. Идут, шагают два таких бодрых человечка, превесело идут по дороге, и вдруг — стена. Толстая, вроде китайской. Один сел на камень и взял голову в руки — задумался. А второй посидел, попереживал, сорвался с места и... в стену. Коленом, лбом, висками стал биться. И пробился: стена рухнула, завалила его. Потом кое-как он поднялся, почесал затылок и пошел себе через пролом дальше. Идет и напевает песенку. А тот, как сел на камень, так и сидит, наверное, до сих пор. Думает... Вот вам дилемма...

В дверь заскреблись, и на пороге появилась Галка. Если позволительно брючной ремень назвать шароварами, то и ее фиговый листик можно назвать юбкой. Она не присела, осталась стоять, потупившись, в дверях, заставляя обозревать сей шедевр моды. Я улыбнулся, вспомнив: «Я вчера Фолькнера читала». Моя улыбка не смущила ее. Скорей, наоборот, — она пошевелила коленями так, что ноги выше их с тугим нейлоновым звуком потерлись друг о друга. Затем шагнула к столу и положила передо мной бумажку. Это был подписьной лист. Я подписался. Она отступила к двери и пошевелила коленями еще раз. Я вспомнил о двадцатиградусном морозе с ветром и спросил:

— Почему вы не на пирсе?

— Там Роза Павловна.

— Вы что, пожилой человек провел всю ночь на морозе. Впереди еще такая же ночь. А вы?! Что без вас по коридорам с бумажкой бегать некому? Ведь она вам в матери годится.

Лицо ее пошло пятнами.

— А что мне мать? — вскрикнула она так, что и я удивился. — Я сама скоро мать буду. Вы знаете, что я беременна?

— Я не врач. Зачем вы мне это говорите? Помочь ничем не могу...

В штате тридцать шесть женщин. Треть из них (раз в три года) каждое лето (а навигация летом) — в полугодовом северном отпуске. Нет-нет да и кто-нибудь еще уйдет в декрет. А штатная единица занята — нового человека не возьмешь.

— Я все-таки, — продолжала она, — мужчина жена. Что ж тут удивительного?

Месяца четыре назад она вышла замуж за боцмана с сейнера. Положенные три дня ходили в обнимку по улицам и пели под гитару песни. Выглядел боцман как подгулявший Ноздрев. Затем он уплыл ловить сельдь и слушать те же песни по заявкам. А ее мне не раз приходилось встречать в ресторане. Дилемма — думать о жизни или жить — была ею решена именно так. Победно и празднично восседала она среди шницелей, бокалов и местных битлов с усами, висящими как у сомов. Парни с ней были, не я один видел... Сейчас в тоне ее было нечто вызывающее по отношению ко мне. Может, она знает о ревности жены?.. Но откуда Галке знать, что у нас дома? Возможно, я сам виноват, начал говорить с Галкой неофициально. Она почувствовала слабинку и перешла в атаку. Для нее я «толстокожий» человек, которому нет дела до чужих переживаний. Такие говорят то,

что давным-давно известно. У них все по полочкам разложено. Таким мало живого слова — им нужна справка, «без бумажки ты букашка».

И сейчас она, глядя в угол, сводит со мной счеты за все свои обиды от «таких». Возможно. Только гнев ее не по адресу.

— Нет, — перебил я, — ничего у вас с отговорками не выйдет. Не для работы вы сегодня принарядились. Сейчас же, и немедленно, на пирс...

Она сникла, потопталась молча и заговорила, но без прежнего воодушевления:

— Вы знаете, Олег Петрович, я вам всю правду скажу. Я хочу помочь Тятиошину, ну, в уходе за этим... который помер. Сосед мой...

— Хорошо... — я взглянул на список работников под стеклом, прочитал против ее фамилии: Галина Васильевна, и назвал ее так: — я вам тоже всю правду скажу. Вы вот сейчас ступайте на пирс и подумайте: где остальные люди? Я Войтову только сегодня в коридоре увидел. И то благодаря новому платю. Принесет она свои акты. Здесь я или нет — положит на стол. Под вечер зайдет и возьмет. Нужен погрузчик — разыщет. И так все. Не видно их. Работают. А у вас прыщ вскочит — вы к начальству. И врете на каждом шагу. И подписьной лист не вы написали. А выклянчили и спекулируете, даже не понимая чем. А ведь, если вдуматься — ужас...

— Врете, — передразнила она. — А сами-то. Говорить-то вы научились. Вот и думаете, что самый умный... Чем вы других-то лучше? Я вру? Ишь ты!.. Вру, да не притворяюсь. Вот так!

И вышла, скандально громко хлопнув дверью:

— У него, видно, в роду еще никто не помирал, вот он и горазд бабам морали читать,—донесла она до всех общий итог разговора.

Некому было у меня помирать. Некому. Деды с бабками под немцем...

...Учился ты с тройки на четверку. «Он у меня середняк», — говорила сестра. Мечтала отдать после семилетки в техникум. Ты уже подрабатывал вечерами — ходил по дворам пилить дрова, когда пришло письмо о пропавшем без вести отце. На фотографии марлевый кокон, без рук, без ног, с безухой, обезображенными разводьями ожогом головой. Глаза странно улыбались тебе. Катер «Смелый» был обстрелян, сожжен. Отца нашли на песчаной дунайской косе. Пузыри ожогов, обугленные пальцы рук и ног — он еще дышал, пытаясь ползти. Сердце билось еще восемь лет. Не писал, не хотел жалости. В день Победы приходили незнакомые мужчины, молча сняв шапки, сидели вокруг стола с фотографией, курили, забывая подносить папиросы ко рту. Соседки охали, расспрашивали, топили за сестру печь. Сестра окаменела. Она верила: жив, вернется хоть какой-нибудь. А тут... диагноз страшный и подпись. Папка! Ну, что ж ты не сообщил, папка?

И сестра сорвалась — захотелось ей с горя пожить в свое удовольствие. Когда она успокоилась, то увидела, что ты уже полгода работаешь истопником. Жизнь налаживалась, и годы шли быстрее. На стол набросили скатерть, на кровать покрывало и настинники, на стену повесили коврик тряпичный. На лампочку — абажур с кисточками, и все покрылось розовым светом. Сестра приглашала всех в гости: «Заходите, присаживайтесь». Ты смущенно вертел головой, уходил куда-нибудь, чтобы не мешать — пусть поболтают; в доме все есть: и радиоприемник «Звезда», и круглый стол. В журнале мод рекламировали мужскую одежду: оранжевые брюки и салатного цвета пиджак. Объясняли, что костюм-двойка из однотипной ткани разных рас-

цветок очень моден в этом сезоне. У сестры появилось две кофты: зеленая и бордовая, с плечиками в два пальца высотой, шестимесячная завивка, пальто с каракулем и китайские замшевые туфли, отделанные золотой каемкой, с каблуками высокими и толстыми. На последней гулянке она так ударила каблуком, что он отскочил вместе с подметкой...

Позвонил шеф.

— А вам не кажется, Олег Петрович, что пора бы и ко мне зайти поговорить?

— Сейчас буду. Только страницу допишу.

— ...А что с этой красоты? — донеслось из-за стенки. — Мой-то сами видели, какой красавец. Под старость лет еще поприличнел. А тогда... ой, да что там! Мы с подругой сразу после войны из деревни с голодухи сюда приехали. Гостиница тогда была где сейчас сарай под такелажем. Спали все вповалку. Кто где. Мужики всю ночь ходят, в лицо спичками чиркают. Мы дорогой-то всякого наслушались, а тут вообще... лежим, прижались друг к дружке ни живы ни мертвые. Утром стол у двери поставили — стали нас распределять. Вы, говорят, пойдете кокшами. Я, как взглянула на своего капитана, так и обомлела: ну, думаю, этот точно насильник. Такой как двинет — шапка на месте, а самого нет. У него еще нос с ушами были отморожены, руки длиннющие, торчат из фуфайки, как клешни у краба. А назад не поедешь, не на что.

Ну, и вот... Вызовет он меня в рубку, пошлет за чаем. Спущусь я к себе и не помню, зачем пришла — стою и думаю. Потом заварю покрепче, принесу ему, а он говорит: смотри, вон огни — это Морской, а там вон Новый Пролив. Стою и ничего не вижу: где пролив, какой пролив? Только откашиваюсь, понять даю, что я в своем уме — трепаться трепись, а рукам волю не давай.

А потом мы конец навигации праздновали. Смотрю, он с англичанкой, была такая училка, Нэлли Абрамовна, пляшет. Я в обносках, а у той вся спина задеколтирована, на одном плече бант, а на другом гусиная кожа. Ах, думаю, у тебя голова и гипертония, и ты еще с этой баядерой...

— А сейчас, — настырно перебила, видимо, желавшая до конца высказаться Галка, — говорят, новая мода пошла: мужья с женами порознь спят — он на полу, она, как барыня, на кровати.

Это прозвучало специально для меня — слишком громко. Я почувствовал, как густо краснеют у меня щеки и уши. Встал и резко открыл дверь.

— Хватит! Прекратите болтовню. А вы, Смирнова, все еще не ушли на пирс?

— Так... это... я же собиралась. Видите? — И она хихикнула.

Я молча вышел, спустился на пролет ниже и встал у подоконника. Было очень тихо — слышно, как шумит кровь в висках. Затем, немного погодя, этажом выше раздались насмешливый мужской тенорок и следом всплеск женского смеха. Потом внизу торопливо пропустукали по лестнице каблушки, скрипнула дверь, приоткрыв стук пивших машинок, и часы в фойе лениво пробили одиннадцать. За окном — россыпь домиков частного сектора, дальше — десятка два пятиэтажек — весь наш поселок. Даже отсюда чувствуется холод и ветер на вершинах сопок. Мне захотелось прикоснуться к прохладному стеклу, но смущала неловкость — увидят. И старался дышать ровнее и глубже.

Пока я шел меж столов и по коридору, я нес какой-то невыразимо тяжелый ком и, подобно знаменитому пешеходу с бочкой, сам зависел от этого груза. Сейчас ком разлетался на обрывки фраз, острот и упреков. Ком разлетался, и внутри него, в центре, беспокойно, как сердце, бились странные мысли: «А что же такое большая любовь, для кого она? И радость жизни разве не для тебя? Надо шлифовать свой характер, иначе может наступить крах. Неужто ты будешь подсчитывать, сколько денег положить на книжку, и стоит ли доставать очередь на трикотин?» Я знал и был уверен, что все эти случаи, вообще, жизнь, в которой каждый момент вроде логичен, а в общем не составляет главного, что все это — чешуя, цвет будней на истинной сущи. А истинная сущь никак не может пострадать от сплетен глупой бабы. Пусть думают, что знать — это и называется эрудицией. Такие любители возьмут приемник, поймают станцию: «Ага, «Полонез Огинского», Хабаровск передает, хорошая музыка» — и дальше: — «Якутск?.. Узнаем: Майя Кристалинская поет «Спасибо, аист», — ногой в такт потопают, и дальше... Слышал звон, называется. Хотя знать — это уже кое-что. Это, как минимум, возможность представить себя в ином качестве. Да, что ни говори, а мало приятного сознавать, что ты мог быть лучше, да не выпекся.

Кабинет шефа формой и пыльной сухостью походил на пенал. Я вошел. За ближним столом, удрученно нагнув голову, трудился Гера. Он рассеянно взглянул на меня. Ничего особенного на его столе я не заметил. Он не то читал, не то просто перекладывал бумаги в папке. Дальше, у окна, за таким же допотопным, как у меня, столом восседал Христофоров, и... оказывается, начальник порта Чупров тоже был здесь. Для подобной компании мне нужно было предварительно обойти все склады и пирс. Раньше, перед тем как зайти к шефу, я так и делал. Затем убедился — с полдесятого до обеда подгонять некого. Никогда порт не работает так налаженно и быстро. С самого утра начинается раскачка, после обеда время идет упруго, ритмично, но без красивой утренней легкости. Мое присутствие требует от рабочих отвлекающих их от дела объяснений, а с моей стороны — панибратских шуточек. Если что случилось, мне звонили. Сегодня звонков не было.

Выражение лиц Христофорова и Чупрова я не могу разглядеть из-за слепящих лучей солнца. Собственно говоря, мне и незачем на них смотреть, я и без того вижу их одинаковые плотные фигуры. Вижу, как Христофоров сплел ноги под столом и как плотно прилипли к полу «платформы» ботинок Чупрова, как уверенно лежат на раздвинутых коленях его руки.

Я пододвинул кресло к стене, в тень, сел и закрыл глаза, пережидая, пока проплынет перед взором фантастический тюль из золотого света и синей тени.

— Вот и явился наш именинничек. — Чупров улыбнулся. Все знали — у него нервы. Они могут вытянуть его в струнку и набросить на лоб бледность, но, когда он улыбнулся, это забывалось. — Что-то я под старость лет становлюсь публицистичным, — сказал он Христофорову.

Непонятно, о чем это он? Как будто я все еще шагал по коридору, расслабленный, в тяжком раздумье и был уверен: все, что ни случится, может только раздражать. Мне хотелось быть сейчас на пирсе рабочим, или даже, поскольку я никакой техникой профессионально не владею, «подсобником при рабочем» — орать «вира», носить

в склад тюки или сортировать трубы и вести неторопливую беседу. К примеру, о Гере:

«...Не-а... Не быть ему большим начальником. Так и сгинет в замахах.

«Тебя, что ли, на его место?»

«Не будет он большим начальником. Пружины в нем нет. Чего уж там говорить...»

Всего два года назад я был грузчиком, и все для меня настолько зrimо, что даже мышцы мои приятно напряглись, словно ощущив тяжесть мешка и то, как он удобно лег на спину.

А Чупров между тем продолжал:

— Ну, Воротилин, вы, как газировка у нас — месяц нет, а потом брызнет так, что не остановишь. Целых две жалобы...

Христофоров снял очки, подышал на них, неторопливо достал платок, протер и принял вертеть их за дужку, поглядывая на меня маленькими красноватыми глазами. Раз десять за час он проделывает передо мной этот номер.

— Вот тут лектор на вас жалуется, что вы его не отблагодарили. В глаза, говорит, вас не видел.

Мне вспомнился лектор: его модные штиблеты, студенческое, короткое «семисезонное», как здесь говорят, пальто, меховая, похожая на французское кепи, шапочка и огромный «столичный» портфель.

— Неужели на это можно жаловаться? — я посмотрел в лицо Чупрову.

Особых, честно говоря, вспышек его характера за семь лет моей работы здесь мне наблюдать не приходилось. Может, они были раньше, когда на нем, как на Левинсоне отряд, порт держался, но тогда и обстановка в порту была иная, потруднее. Сейчас он улыбнулся многозначительно, кашнул подбородком, улыбнулся еще раз и засмеялся громко:

— Резонно, — и Христофорову: — Вот поговори ты с ними.

— Как его еще благодарить, — меня, что называется, подмывало высказаться. — Хватит и того, что я его представил, а женщины отблагодарили. Я был занят — с пожарником разбирался. Вы же знаете, — обратился я к Христофорову. Он надел очки, задумчиво посмотрел на меня и закивал в ответ только тогда, когда начальник порта вопросительно взглянул на него.

— А что такое? — спросил Чупров.

— Склады... Строились они при царе Горохе, а ГОСТы по технике безопасности новые. Не перестраивать же их все. Пора бы и забыть за давностью лет.

— Ну, и что пожарник? Он к вам повадился?

— Да он, собственно, и не к нам. К нам бы, так составили постоянный документ и дело в шляпе. Он на первый склад. Ширпотреб его волнует. Как что не по нему, так на дыбы.

— Ну и чем дело кончилось? — допытывался Чупров.

— Оштрафовал меня на пятнадцать колов. Можно сказать, побожески.

— Так, — он достал записную книжку и чиркнул в ней, — обговорим вопрос в иных инстанциях. Иначе будет он вас штрафовать, когда ему вздумается.

— Да вроде пока утряслось.

— Через гастроном?

— Почти. Только что не выпили.

— Что за моду взяли? А вот лектор-то попался... Говорят, у нас плохо было организовано. В райком пожаловался. Добро бы самому,

а то Ильюшенковой. Та и взъярилась. Придется Васильеву звякнуть.

— Пусть он прославится сначала, — сверкнув голубизной глаз, свежо вставил Гера, — тогда мы всем управлением к нему на лекции ломиться будем.

— Ну, это слишком, — возразил Чупров, — а о чём хоть лекция была?

— Об устройстве портовых складов в Америке.

— Не грех вообще-то и послушать.

— А что слушать? Журналы я и без него читаю. Информация у нас общая. Ничего секретного в ней нет. Были бы средства да техника — оборудуем все получше американцев. А то, сами знаете, к складу на погрузчике, а от склада — на горбу. И в трюмах все вручную. Без малой механизации и думать нечего...

— Все сами, сами. Чешков вам покоя не дает.

— Это из «Человека со стороны»? Да? — быстро переспросил Гера, — В пятницу по телевизору показывали.

Меня как будто кто в бок толкнул:

— Что Чешков? Чешков — теоретик?..

— Чешков теоретик?

— Теоретик практики. Такого одного на весь Союз хватит. И пусть он лучше бы там, у себя на стороне и оставался. Куда его? Разве что на место Афошина. Так он заломит столько, что порт в кредит влетит.

— Да, Афошин... Тут вот на вас Лягунов докладную написал.

— А что он на меня в ООН не написал? Катал бы заодно, раз уж смешить собрался. Попутно бы объяснил, где его люди с ННБ ногами шляются. Я ему, кажется, не подчиняюсь. Мы в одном ранге.

— Команда у него на борту. А вот баржа на косе. Проболтались ночь, поторопились, хотели наверстать, не дождались полного прилива. Ну и засели. Короче, влип Лягунов.

— Буксир надо послать. Мне дизельное сливать некуда. Я хотел баржу залить и на плаву оставить.

— Пошлем. Влип Лягунов и говорит: не могу молчать, — Чупров зашевелился, оглянулся всех и спросил неожиданно весело: — Кузнецова кто за борт чуть не выкинул?

— Ну уж и выкинул. Так... обменялись слегка жизненным опытом.

— Да он и не потонет, — поддержал Гера, — он как пробка...

— Обменялись... А Тятошкина кто покрывает? Ведь факт — пьян был.

Тут я почувствовал, что все взгляды уставились на меня, и после краткого молчания сам пошел в атаку.

— Думает ли местком хоронить его друга?

— Думает. Не беспокойтесь. И родня понесяхала — вспомнили. Да вы лучше за себя отвечайте, — покрываете Тятошкина?

— Ну, покрываю. А что делать?

— Рефлексия — сказал Гера, — это называется рефлексией.

— Угадал, чистая правда. Но не все ли равно, как это называется? Тятошкина вы все не хуже меня знаете. Ну, лишим его месячных премиальных процентов на двадцать...

— И вас заодно, раз не хотите докладной писать. Но не в этом дело. Я собирался вас вызывать, да вот зашел по делам к Христофорову, а тут и вы.

Я поднял глаза, и его взгляд заставил меня вспоминать нечто такое, что никак не приходило на ум.

— Разговор о Лягунове все равно будет, — продолжал он. — И о

других в связи с ним. И о вас, соответственно. Как вы думаете оправдываться?

— Так же как сейчас. Что еще изобретать?..

— Только меньше петушитесь. Благодаря Лягунову весь порт втянут в бесконечные дрязги и разбирательства. С этим надо кончать... Вы меня поняли?

— Я понял.

— ...Он нам не очень-то нужен. Так я могу не вызывать вас к себе специально?

— Как хотите, — сказал я, не поднимая глаз.

— Вот и отлично, — Чупров коротко кивнул всем своим седоватым бобриком, сказал: — Ну, до диспетчерской, — одним движением поднялся и выпрямился. Вразвалочку, но крепко обкатывая свои «платформы», от пятки до носка, вышел — невысокий, плотный, уже несколько рыхловатый человек в темно-сером спортивном костюме.

— Лихо, — сказал Гера, — по-нашему.

— Присаживайтесь-ка поближе, — Христофоров кивнул мне на кресло, оставленное Чупровым. Посмотрел в окно, послушал скрип тормозов у проходной и повторил свои манипуляции с очками. Потом достал из стола небольшую бумажку. — Я тут набросал кое-что. Взгляните, Олег Петрович. Вообще-то говоря, идея не моя, а вот его. Георгий Оскарович у нас осваивается помаленьку. Но, кажется, придется вам к геологам съездить. Предложить им бочкотару.

Я взглянул на Геру. Он тоже взглянул в мою сторону и как-то неопределенно шевельнул губами.

— А сепарацию вам Георгий Оскарович не предложил продавать?

— Кому?

— Как кому? СМУ. У нас ее с каждым пароходом горы приходят. Отличной необразной доски. На леса пойдет, на сарайчики, мало ли на что может пригодиться. Лес-то материковский, сухой. Предложи, Гера, осваивайся уж до конца. Чего там!..

Христофоров тем же клетчатым платком вытер шею и лысину.

— Ну и солнышко сегодня. Летом такого не бывает. А как шторы в стирке, всегда такое, — он подмигнул мне, и я невольно улыбнулся в ответ. Дальше-то он все правильно рассудил: — Тысяч шесть нам это дело даст. Как раз за план перевалим. Иначе вся база без премиальных может оказаться. Тебя же наши женщины живьем съедят.

— Не пойдет, — сказал я. — Для такого дела моя кандидатура не самая лучшая. Гера вот ездил по деловой древесине — у него опыт есть по этой части. А тут вы же знаете...

Он знал. Порт не брал с экспедиции за хранение горючего и техники, пользуясь за это ее бензовозами. Но экспедиция перегнула и запрудила техникой весь пирс. Тогда мы предъявили счет, то есть взяли, не пострадав сами, в тот момент, когда бензовозы уже были не нужны.

— Знать-то знаю. Но не век же нам на мертвой точке торчать. Соглася — не соглася, за этим вас и посыпаем. Геру туда нельзя — народ больно язвительный и любят человека в лицо знать. А вы с ними вроде друзья — охотитесь, рыбачите вместе. Так что выбирайте — по зимнику будете добираться или катером?

— А кто за меня «Углегорск» зарегистрирует?

— Вернетесь и зарегистрируете. Домой возьмите на худой случай!

К геологам мне хотелось. Куражился я больше для порядка. Мне всегда к ним хотелось. Есть места и люди, встречи с которыми долго ждешь, но встреча произошла, и можно думать о другом. А есть ме-

ста, которые всегда с тобой, хотя они далеко, но тянет туда, где сугробы на крышах и пихтах — мягкие, ровные, а снежные сопки вокруг чистенькие, словно сахарные, где дым из тонких железных труб струится почти прямо в небо, где мороз как раз такой, какой нужен, чтобы лучше чувствовалось тепло комнат. Там тишина, и вороны по берегу разгуливают, как домашняя птица. Это как мелодия, которую любишь, зазвучат первые аккорды и, чувствуешь: вот оно то, чего ждал, с чем, собственно, никогда и не разлучался.

— Только вот как ехать? — спросил шеф, — по зимнику или катером?

— Туда лучше всего вертолетом. У них сейчас борт регулярно ходит. А назад — видно будет.

— Ладно, — он поднялся и протянул мне руку. — Телефон мой домашний знаете. Звоните в любое время. Все равно сегодня ночью хоккей.

Затрещал телефон, Христофоров взял трубку. Я встал и подал знак Гере — мотнул головой на дверь. Гера вышел следом за мной и сунул мне в руку бумажку — разнарядку на перчатки и шубы.

— По телефону созвонились и составили.

— Ну, что ж... Вот еще одно доказательство твоей незаменимости.

— Да ладно. Брось ты. А правда, что Галка беременная?

— Не знаю.

— Эх, старость не радость... А жаль. Заглядеться на нее, конечно, вряд ли кто заглядится, но...

— Тебе-то что за дело?

— Не психуй. Что ты как маленький? Просто я сказал шефу про бочки, он ухватился, и я не успел сказать, что это твоя идея.

— Иди, еще что-нибудь изобретай.

— Брось ты... Ну, ни пуха тебе, в общем...

— К черту, сам понимаешь, к черту. И советую тебе объединиться с Лягуновым.

— Ты что, меня вообще за дурака считаешь?

— Нет, просто думаю, что в компании вас тяжелей одолеть будет.

Он засмеялся. Легко так, даже весело.

— Ну, это мы еще посмотрим.

— Да что смотреть...

Еще в кабинете при разговоре о Лягунове в блеске солнца и фиолетовых пятен я увидел взгляд Чупрова, затем услышал: «Вы меня поняли?» — но только теперь вспомнил то, что врасплох тогда никак не приходило на ум... Шоссе, осеннее небо... Грузовики бешено рвут асфальт и воздух. За редкими вдоль кювета тополями прямоугольники уже убранных огородов. Среди них в беспорядке, но красиво рассыпаны спичечные коробки дач. Трава жухнет вдоль пыльной улочки, а поперек дороги, вслед за собачонкой бежит, перебегает через дорогу некто в одеждах Плюшкина — не то мужик, не то баба — сам хозяин, теперь он в сторожках. Когда ради приличия дачники приглашают его на рюмочку, он степенно повторяет, обращаясь к молодежи: «Вы хозяина слушайте. Вот что я вам скажу...» Он — хозяин! И начинает говорить о чудесах растительного и животного мира.

Такая метаморфоза кое-кого поджидает.

Гера заглянул мне в глаза:

— А ты, что, разве что-нибудь уже слышал?

Он напряженно ловил каждый звук, замирал и раздражался. Его, как акустика на подводной лодке, всерьез интересовало одно — шум винтов сторожевого катера. На миг ослабло, стерлось восторженное

выражение на его лице. Предчувствие оттеснило все его «дневные сны»: видение ножек, юбочек, собственного уютного кабинета и своей фамилии перед солидной суммой в платежной ведомости, — оставил пустой мутно-серый экран, настораживающий, как осеннеё небо без птиц и облаков.

Вокруг могли метаться огни реклам и стартовать ракеты, выситься дома, заводы и портальные краны — ничто не могло сдвинуть Геру. Он пошевелил губами, попытался улыбнуться, и я подумал, что, может, и нет между нами особой разницы, а просто мы по-разному развиваемся, но где-то, в перспективе, идем к одному. И Гера тотчас заметил мою перемену:

— Сочиняешь! Никто ничего не мог сказать.

При чем уж тут разное развитие? Обычное, бытовое «жалко стало».

— Нет, Гера, ты объединяйся с Лягуновым. Порознь о вас на-вряд ли есть смысл говорить, хотя и раздражаете сверх меры. А вместе-то вы...

— Плюнь, — перебивая меня, сказал он, — не бери в голову. Вспомни, как мы дружили раньше. Парень ты вроде неплохой, а наплещешь вечно. И ведь такой же, как я, из трудяг. — Он хлопнул меня по плечу и процитировал: — «Живи не так, как хочется, а так, как бог велит». Мало ли чего иногда захочется, — он сморщился, словно пораженный нелепостью представшей перед ним сцены, засмеялся, дробненько так: — Кха-кха-кха! — просиял, довольный собой, и бросился навстречу неторопливо и степенно поднимавшемуся по лестнице председателю рыбкоопа.

В одном, бестолочь, прав — прошлое всегда с нами.

Уже новая штучка — магнитофон лил с пятого этажа в небо Сибири негритянскую грусть Луи Армстронга. Ты красил себе на кухне носки, зачесывал сахарным раствором кок, высыхая, он становится твердым. Приобрел ты брюки дудочкой, туфли на микропоре, рубашку в петухах и друга Геру, прозванного «империалистом» за пристрастие к цилиндром и галстукам бабочкой. Работал ты уже опрессовщиком на агрегате непрерывной вулканизации, денежки водились. Сестра на все смотрела сквозь пальцы. Выпивали, вечерами бренчали во дворе гитары. Ты сидел улыбался, почесывал голову — портил прическу. В армию тебя не взяли: кормилица — сестра бегала со спрavками к военкому — болезней у нее накопилось достаточно. Окончив при ДОСААФ курсы, ты получил права шофера. На заводе приняли тебя в комсомол. Увидел в газете бундесвер, неистовых молодчиков, вспомнилось неотомщенное: холод пальцев и фашистское «сало». Надо хоть следить за газетами. Дома купили телевизор с линзой. Ты пошел в вечернюю школу. Гера звал: «Пойдем кернем, Верка будет». «Нужна мне твоя Верка». Верка была хохотушка, хихикала мелко: «хи-хи-хи», словно ее щекотали. При ней ты обычно отворачивался, чтобы не смотреть. Но, увидев, как после выпивки в темном переулке Гера положил ей на талию руку, ты по-хозяйски убрал руку друга и положил свою. Верка затихла и прыснула, взглянув на твой нос. Гера шел рядом, молчал, смотрел вдаль повыше плетней и домов. Что он там увидел, неизвестно, только засвистел непонятный мотив и молвил: «Свято место пусто не бывает. Ну, я пойду», — «Куда?» — спросил было ты, но Верка сказала сердито: «Не бойся — этот найдет...» — захочотала, обвила тебя руками.

И потом на рыбалке, когда вы остались одни на ночь, она все хи-

хикала в палатке, а утром, когда ты проснулся, она сидела на берегу и плакала. «Что с тобой?» — спросил ты. Она не ответила. Ты взял удочки и пошел рыбачить на озеро. Ночью пала обильная роса, и ты весь измок в высокой траве, пока добирался. Но место выбрал хорошее, тихое, где кочка с осокой круто уходит в воду, — оно самое карасиное. Она подошла через час, тихонько встала шагах в десяти, долго смотрела молча, затем отломила сухую веточку, бросила тебе в спину. Ты повернулся к ней. Она подалась вперед: «Ну, как клюет? — засмеялась. — Да ты бы хоть обсущился, рыбак. Давай-ка, снимай все...»

Ее родители и слушать не хотели: безродный и образования никакого. Ты не стал уговаривать, встал: «Пойдем, — сказал, — или ты тут думаешь рассиживаться». Она поднялась. «Свитер-то сымы, он не твой! — закричала мать. — Заработай сначала, а потом уже задом крутись». Верка снянула свитер, бросила его в угол.

Сестра обрадовалась, захала, увела Верку на кухню. Все пропищала, восхищалась: «И когда это у вас началось?..» Пригубила с вами рюмочку, объяснила, где лежит плащ: вдруг завтра дождь пойдет, — засмеялась и убежала ночевать к подруге. Потом вы сидели вдвоем у телевизора. Верка улыбалась и целовала тебя в нос. А ты говорил нежно: «Ну ладно, ладно, хватит... Не мешай смотреть». На следующий вечер пришли ее родители: они не против, только надо похорошему договориться. Ты молча пил. Гости разглядывали тебя. Сестра болтала без умолку. Договаривались до полуночи. Разошлись с песнями, разбудив весь подъезд.

На свадьбе Гера сидел справа от тебя «дружска» и, пока пили шампанское, держался корректно, памятуя о галстуке бабочкой и джентльменстве, но перед третьей стопкой сорвался, закричал: «Тише, тише, я буду пить первый...» Теща допрашивала сестру, почему она не выходит замуж. Сестра прыснула и пустилась в пляс с криком: «А вот и выйду, за кого хошь выйду. Брата выдам и выйду...» Родня качала головами. Девчата плясали твист. Парни в конце стола кричали весело: «Горько». Молодым пить не давали — жизни не будет. Потом били посуду и бросали на пол деньги. Невеста мела, а остальные пока проветривали головы. Ты тайком выпил на кухне стакан водки, прижал Верку к печке: «Не могу больше, надоело».

Верка оказалась и стряпухой, и чистюлей, и сплетницей. На мебельной работала — зарплату несла. Из книг читала «Гигиену молодой женщины» — стеснялась до поры ходить к врачу. Ты сначала и внимания не обращал, но, когда бабы на работе подарили «папаше» пакет с пеленками, распаюнками, чепчиками, заглянул по старой памяти к Гере распрощаться с молодостью. Долго прощались, до самых звезд. Гера положил свою бабочку в карман и подтрунивал! «Ну как, папочка, сына ждешь, а налево не хочешь?» — «Не, я в этом деле самый что ни на есть мужичок...» — «Деловой ты парень. В местком тебя выбрали... В каком классе-то учишься?» — «В девятом, а что?» — «Вот видишь, в девятом... а у нее ведь вся жизнь под платьем. А вдруг того... духовно вырастешь?» — «Вырасту, так зачем от почвы отрываться?» — «Дурак ты, Олег веящий. Не! Молодец! Завидую!» — кричал Гера...

Дочь в честь сестры назвали Ниной. «Но зато она вся в тебе, — оправдывались сестра с женой. — И ножки, и глазки, и носик твой». Ты и с носиком согласился. Сестра, действительно, «вышла» за веселого, одногоногого человека с фамилией Пушкин. И тогда же вы смотрели фильм. Помнишь, вертолет гнал по степи стаю волков? И с каждым выстрелом убывала стая. И понял вожак, встал, оцерился в стой-

ке, задрали в небо клыки, лязгнул: «Эй ты, выходи один на один!» — пригнулся, повел глазом. И ты вспомнил: площадь, бегут люди, синие трамвайчики... Мать на kortochkaх, задрав сухие зубы, ловит взглядом в ясном небе черный крест «мессершмитта»... Сестра ответила: было. Бежали люди и синие трамвайчики... Отец лежал в госпитале с мелким ранением, мать ехала к нему, и тебя достали из-под мертвотой матери.

С аэродрома геологов я позвонил жене. В глубине души я знал, что все будет нормально. Но есть слова, на которые можно отвечать только в их плане — или вообще не отвечать, на что не всегда хватает выдержки и культуры. И тогда начинается цепная реакция, угнетающая и бессмысленная, из одних и тех же повторяемых фраз, вместе с которыми приходит головная боль и агрессивная зависть ко всему живому и ясному.

Поводом всегда было мое нежелание сменить работу, а темой — то, что я не люблю ее, а просто привык и, вообще, заселся и уверен, что она меня никогда не бросит. Тут я ее не понимаю. Любовь в ее глазах вдруг начинает выглядеть вполне определенной ситуацией, в которой я должен быть героем-любовником и говорить языком цыган от цивилизации. К чему эти упражнения?.. Любовь — чувство вполне самостоятельное и конкретное. Она дает жизнь поэзии, идеалам, фактам, мечтам и средствам. Она их может создать, а не они ее. И никто в мире — ни поэты, ни ученые — не в силах ни освободить человека от любви, ни внушил ее.

А в наших отношениях всегда было нечто неизменное и ровное, позволяющее нам в любых ситуациях не сомневаться в главном. И всегда приятно было убедиться в этом. Я с удовольствием слушал спокойный, слегка чужой, «телефонный» голос жены, объяснявшей, что она все понимает. Ничего тут не поделаешь и, тем более, меня-то совсем не переделаешь. Какие-то нотки в ее голосе так и вызывали желание сказать о Галке, о шофере, о моей вспышке и ее вине, но они же и сдерживали меня. Скажи только — и сразу же последует «то самое...»

Буфетчица — длинноволосая, плотная девушка в торбасах и толстом свитере курила сигарету и, улыбаясь, смотрела прямо в трубку. Мне было неловко от ее взгляда и не хотелось прерывать разговора с женой. Я шутливо растолковывал, что действительно ничего тут не попишишь: искать сбыта — моя прямая обязанность и, вообще, человечество должно неустанно трудиться. Ее мягкий, порой неожиданный смех будил и теплые интимные воспоминания, и радостное чувство свободы, позволяющей уверенно и без оглядки делать свое дело.

Затем я мерз в скоростном Ми-8 на ящиках с тушкой. Щуплый паренек, одетый элегантно, даже празднично, но не по-северному легко, никак не мог устроиться, везде ему не нравилось. Наконец он подсел ко мне, придвигнулся поплотнее и, воткнув руки, как в муфту, в рукава плаща, спросил:

— Ты что к нам? — Голос у него, как сухой стебелек — тонкий, ломкий. Грохот двигателей дробит, рвет его. Паренек улыбнулся не-обязательно, рассеянно. Мелкие, хрупкие черты лица и уши в стороны. Офицанткам не нравятся такие лица. Я уже заметил, всякий раз, когда «такой», краснея, заказывает для солидности что-нибудь подороже, они смотрят в сторону и оскорбительно переминаются, не вынося жалости к жертве неосознанного сравнения со своим идеалом — спортсменами и военными. — По какому делу?

— Да так, — я потеснился. — Бочкотару хочу геологам сплавить. Я снабженец.

— Аа-а-а... — растерянно протянул он. И встрепенулся. — Серьезно, что ли?

— Куда уж серьезней.

Он стал вспоминать чьи-то шутливые слова, что интендантов нужно увольнять всех подряд после трех лет службы. Кричал мне на ухо:

— А я геолог. С отчетом вот возвращаюсь... Защищался... Застрял там в плаще...

— Поздравляю.

Он сказал: «Спасибо», — счел, что так и должно быть.

— Да-а. У нас головой надо работать.

— Поздравляю, — еще раз сказал я.

— Душа у нас нужна. Нюх. Интуиция... — отрывисто и настойчиво повторял он.

— А у нас-то она, выходит, ни к чему, душа? Брось ты...

Он замолчал, пораженный моей грубостью, — он, геолог, в вертолете у себя дома, и ему неловко говорить гостю о главном, о том, что тот лишил себя счастья, не нашел себе дела, в котором творчество, интуиция и талант абсолютны. Я для него букварь, арифметика, дебет и кредит, а не новые тракторы, спецодежда и самолеты.

— Устал ведь, отдохни, — сказал я.

— Нет, ну, а все-таки, — он уловил иронию и пошевелился, видимо, решив, что я увиливаю. — Все-таки...

— Вздремнем, — еще жестче сказал я.

Он натянул двумя руками на уши шляпу-тирольку, достал из портфеля свитер, обмотал им ноги и... тяжело вздохнул.

Любопытный паренек. Самое забавное, что я сразу стал для него человеком, нуждающимся в проповедях. Нередко ведь так бывает: профессию путают с личностью...

«Ничего, — думал я, — когда он повзрослеет, мы с ним договоримся. К тому времени у него своих забот прибавится, да, кстати, он и чужие научится уважать. Поймет, что сама по себе должность еще не определяет вклад в дело, смысл которого — всегда человек».

А вертолет меж тем с ревом несся все дальше и дальше в тайгу. Мне приходилось летать на лайнерах и видеть космические снимки планеты, но ни с какой высоты меня так не волнует земля, как с этой — обжитой высоты птичьего полета. Тень летящей машины неуловимо быстро скользит по тайге, там, внизу, — снег, ручьи, поляны... Ни разу не виданные, но неуловимо знакомые. Есть в этом постороннем узнавании какая-то мысль — не то мелодия, не то иные невнятные звуки, разобрать которые я не в силах, но они есть, и суть их ясна — доверие. Вера. Вера в человека. Земля — живая связь между людьми, любым уголком своим она непрестанно говорит нам об этом. Да, прошлое всегда с нами. Но будущее — оно может быть маленьким или огромным — то же в нас и вокруг нас.



Чертова дюжина

РАССКАЗ

Как ни хотели они приехать на место засветло, ничего не получилось. Прособирались долго дома да ждали еще некоторых. И вот темной ночью, когда луна лишь изредка выглядывала из-за туч, давая слабую возможность осмотреться вокруг, старенький, видавший виды трехосный ЗИЛок с черным каркасом в половину кузова остановился возле одной из избушек на берегу реки. Они сонно вылезли из машины и без лишних слов, недовольные дорогой и ночью, принялись носить дрова на костер. В непроглядной темноте на ощупь ломали сухостой в лесочке, сразу за домиком, и таскали тяжелые бревна из-за сухого ручья.

Когда-то здесь велись лесозаготовки. Домики лесорубов развалились без присмотра, которые были покрепче, те вывезли дорожники, остальные разобрали на дрова. Осталась одна баня, приют рыбаков и охотников, небольшой домик с прокопченными внутри бревнами. Время от времени рыбаки привозили доски и ремонтировали то нары, то крышу.

Охотники давно приметили обилие белки, куропаток, глухарей, богатство рыбы в этих местах и стали наезжать сюда. Дед Тарас, выйдя на пенсию, не уехал на «материк», а каждое лето приезжал на Баню, так теперь называлось это место на реке. Косил траву, ловил рыбу, охотился, привечал редких рыбаков и охотников, короче, до глубокого снега жил хозяином урочища.

Дед крепенький, не каждый медведь ему холку сломит, русая борода, глаза, видящие ночью так же, как и днем, морщинистое лицо и гладкий затылок с двумя-тремя глубокими морщинами поперек незагорелой шеи. Недалеко от бани, под веткой, он срубил себе избушку с покатой крышей, завел собаку. Так и жил дикарем, отшельником.

Когда машина, прогудев мимо, остановилась, он не поднялся с топчана и не вышел — зайдут, если нужно. И собака голоса не подала — привыкла. Он лежал на топчане, она — у порога, и каждый слушал и определял по звукам, что делают приезжие.

Костер вспыхнул сразу, как спичка. Володя, молодой, здоровый парень с простецкой физиономией, хлопотавший около костра, плеснул туда еще бензина из банки.

Высокая ветла выступила из темноты задумчиво и тихо. Она тоже была рада человеческим голосам и теплу. Шершавая кора ее засеребрилась, а неопавшие листья, кружась от потока теплого воздуха, весело заскользили вниз. У костра стало по-домашнему уютно.

Из кузова начали выгружать рюкзаки и сумки.

— Уху варить будем? — Спрашивали уже бодро. — У деда в ставке, наверное, рыба есть. Не обидим.

— Да нет, — отвечал кто-то. — На скорую руку — чай.

Леха, веселенький мужичок в зимнем треухе, засеменил с пропонченным эмалированным ведром к поблескивающей во тьме реке. Петух закурил и пошел к деду в избушку. Переступив через порог и собаку, поздоровался хриплым голосом. Дед Тарас опустил с топчаны ноги и сел.

— Здорово, сынок, — сказал он бесстрастно в ответ.

Петух постоял, привыкая к полусвету, откашлялся.

— Как живешь, дед? Я тебе толи рулон привез. Заберешь, в кузове.

— Вот это дело, — оживился старик. — А то крыша проходила. Течет. И дожди скоро, затопят.

Помолчав и осмотревшись получше, Петух сказал:

— Пошли чай пить.

— Погорячей бы чего, — дед хмыкнул.

— Будет и погорячей. На реке-то кто есть?

— Есть. Народу много. Но на второй Каменушке. Все там, внизу.

— Ну, пошли-пошли к костру, нечего время тянуть.

Петух так и не присел, стоял, смотрел в темный угол на старика и на маленький огонек в печурке. Ему неудобно было в этой тесноте, но он не стеснялся ее. Будучи молодым, он был здесь десятником на лесозаготовке и исходил пешком всю эту таежную дорогу до самой основной трассы. Элекчанские озера и река Яма были ему родным домом. Не считая себя временным жителем, он и разговор вел по-хозяйски.

— Значит, на первую лучше ехать? А устье как?.. Ну, порядок, дед.

У костра уже расположились на войлоке, закусывали. Шумно приветствовали деда, звали к столу, освобождая для него место.

Дед Тарас выпил, понюхал с удовольствием тыльную сторону ладони и засел колбасой.

— Забыл, дед, вкус-то цивилизации? — спросил Харитон, и все засмеялись.

— С вами забудешь, — дед блеснул крепкими зубами.

Хохот поднялся невообразимый.

Дед снова потянулся к бутылке.

— Не пошла сразу-то, — поморщился он. — Хотя на ночь нужно бы. Холодно будет спать. Давай по граммушке.

— Это один просится на рыбалку, молодой. А рыбак ему и говорит: «Что ты понимаешь в рыбалке?» — отговаривает его. А он отвечает: «Что там понимать-то?! Наливай да пей!»

Все засмеялись. Засмеялся и Жора, до сих пор все устраивавшийся поудобнее. Сел на коленки плотный, подслеповатый мужчина с приятными чертами смуглого лица, с патронташем на поясе.

— Это хорошо, что мы отгулы взяли, — сказал он. — Три дня на реке. Поймаем не поймаем — дело пятое, но отдохнем на славу. Ушицы поедим. Зря, что ли, в выходные работали.

— Да-а, хорошо! — протянул Пашка. — Вот брюки ватные не взял. Раззыва!

— У меня есть, — успокоил его Жора.

— А ты как?

— Я в спальном мешке.

Разговор в кругу был шумный и постороннему не совсем понятный. Друг друга они знали не один год по работе и по соседству, подслушивали друг над другом, вспоминая курьезы. Леха рассказывал фронтовые небылицы. Ему уже за пятьдесят, но чудит он, как мальчишка. Все слушают его, раскрыв рты, и тут же смеются над собой.

и над ним. А он все рассказывает и рассказывает, потом уходит, усталый, в баню, ложится на нары и крепко засыпает.

Остальные же расходятся не скоро. Ночь наградила их бессонным весельем, забыто бездорожье пути и весь прошедший день. Теперь дело за следующим днем, и его тут никто не боится — если уж вселилась надежда в сердце, то жить она там будет долго.

Володя спал у костра и, чуть забрезжило над сопками утро, поднял Петуха. Тот вышел недовольный, с заплывшей ото сна мешковатой фигурой, в шапке, ватных брюках и бушлате.

— Чего орешь? Рано еще. Замерз, что ли?

— Околел у костра-то, — окая, осклабился Володька. — Буди остальных. Поехали.

Петух сел к костру, закурил и закашлял.

— Хоть чай поставил бы, — сказал он уже миролюбиво.

— Сейчас, — с готовностью отозвался Володя, кинул в тлеющий костер сухих веток и пошел за водой к реке.

Утро серое одело долину и сопки в туман. Сквозь рванину облаков видны рыжие пятна лиственниц по склонам и каменные залысины вершин. Берег, где стоит баня, крут, он скрыт туманом, а другая сторона реки пестра, как сарафан. Там и багряный тальник, и темно-зеленый стланик, и оранжевые яркие сполохи лиственниц.

Подморозило. Протоку и лужи схватило ледком, покрылась инеем жухлая трава. Тихо, эхо громкое. Речка шумит на перекате натруженно и свободно. Дым от костра уходит прямо в небо и теряется в тумане. Солнце еще не поднялось из-за сопки, но посветлело по-дневному. И бодро на душе.

— День жаркий будет, — сказал Петух.

Все поднялись и уже пили чай.

Лешка, шофер, подошел к Пашке с кружкой чая и сказал:

— Помнишь, Купку? В это же время там были.

Пашка сидел на земле, расставив ноги, и смотрел на темную реку, выбегающую из-за острова. Ответил, не оборачиваясь:

— Да-а. Тополями пахло, — вздохнул. — Но и здесь не хуже. Даже как-то таинственней, словно на шестой день создания земли. Тихо и дико.

— Хорошее место, — кивнул Лешка, намекая все же на современный мир, он не любитель забираться в библейские дебри.

Засобирались сразу, как только попили чай. В кузове сделали загородку в одну доску высотой, на вторую четверть сложили рюкзаки и сумки, а к заднему борту аккуратно сложили бредень. Все переборолись, ватники покидали сверху на рюкзаки, остались налегке. С обувью не ладилось — двое были в кирзовых сапогах, двое в коротких резиновых, и у одного тек левый сапог.

Петух презрительно и насмешливо осмотрел разношерстное войско и ничего не сказал. Благо, были при сапогах и то хорошо.

Не понравилось ему и то, как они расселись. Двое с ружьями зачем-то выперлись наверх, сидят сзади над кабиной, перепоясанные патронташами, с ружьями на изготовку. Он снова ничего не сказал, только зло подумал — «Ну, компания!..» Забрался в кабину, и машина взревела, как танк, и полетели рыжие лиственницы им на встречу.

Прохладный воздух стал холодным, каскад брызг, летевших из-под колес, проникал через одежду к телу. Но никто не обращал вни-

мания на эти мелочи: легкое возбуждение овладело всеми в предвкушении запретного удовольствия.

Пашка стоял и держался одной рукой за каркас, а другой указывал путь вперед. Он смеялся и орал, стараясь перекричать рев машины.

— Вперед! Вперед, браконьеры!..

Браконьерами они себя не считали и делали вид, что не понимают его издевательского клича. Забот и разговоров достаточно и без этого. Более знающие и опытные рассказывали, как надо солить или вялить рыбу, как делать «пятиминутку».

Машина остановилась чуть выше устья первой Каменушки. Река изгибалась влево, к сопке, оттолкнувшись от обрывистого берега со свесившимся к воде ивняком. Чистая, глубокая вода. Для незнакомого с рекой человека ничем не примечательное место, для знающего эти места — кладовая.

Ни всплесков, ни мечущихся теней — одни буруны от переката до плеса темной воды.

Петух, приказав не шуметь, осторожно прошел вдоль ямы по-за деревьями, останавливаясь и заглядывая вниз, вернулся с осмотром довольный.

— Есть, но мало. Поехали, к вечеру поднимется.

Развернулись, свернули от реки вправо и пошли вверх по притоку. Каменушка разбилась на несколько рукавов и неслась к Яме, звени многочисленными перекатами. Рукава маленькие и мелкие, но поток стремительный, напористый и холодный. На серых камнях и вода стала сероватой, светлой и блестящей на солнечных дорожках. Солнце медленно расправлялось с туманом, поднимаясь над сопками белым и ярким шаром. Место дикое, не тронутое человеческой рукой.

Проехали наледь, голубеющую трещинами и разрывами. Наледь огромна и не кажется странной в этом цветущем осеню месте, так и должно быть.

Каменушка, поднырнув под наледь, глухо урчала сзади, а впереди ее рукава соединялись в три, два и, наконец, в одно русло. Речушка урчала и гремела на всю долину, и была тиха и задумчива на ямах. Вдоль реки серые камни, светлые каменистые косы и поваленные большой водой коряги и сухостой, кое-где трава, кусты и жидкие деревца.

— Куда завезли-заехали? Может, лучше подняться выше? А есть ли здесь что-нибудь?.. А может быть, на вторую Каменушку лучше будет?

Петух осадил всех, его поддержали Жора и шофер. Рыба здесь есть, раз приехали, значит, это верное место. А на второй Каменушке сейчас ночь в Помпее, рыбнадзор весь там, сезон.

— Это первая яма, — показал Петух на омуток с темной водой. — Выше есть еще три, но там только ноги зря бить. Здесь всегда мальма была. Есть и сейчас. Ходит стайка. — Он помолчал. — Кто костюм оденет?

— Давай я, — крикнул Пашка, копавшийся в кузове.

— А ходил?

— Приходилось.

— Смотри, в случае чего, сменю. Сам пойду.

— Будьте спокойны, граждане! — Порыв веселья у Пашки еще не прошел, и он дурачился. — Рыбнадзор все видит. — Он махнул на сопку. — Сидит вон на утесе и посматривает, когда же мы забредем, руки потирает.

— Не трепись, одевайся. Костюм в кабине.

Пашка осмотрел латаный-перелатаный легкий водолазный костюм и умело вывернул его. И на лицевой стороне латок оказалось не меньше.

— Не утонешь, опробованный. Подмокнуть можешь.

Пашка махнул рукой, мол, где наша не пропадала, и начал обличаться.

Когда на пояссе и груди было все завязано и увязано, он резиновой рукой привычным жестом натянул свой красный полосатый берет. Все заулыбались, глядя на него, неуклюжего, посыпались реплики. А он, как и все утро, болтал:

— Спокойно, товарищи! Рыбы не обещаю, но морока будет.

Бредень разложили на камнях, привязали держаки из дорожных вешек, поправили грузила и поплавки, подняли его на руки и: пошли к воде. Забредать начали с переката. Петух не пустил всех к яме, нечего рыбу пугать, и некоторые остались сзади бредня.

Пашка повел бредень в глубину. На перекате течение сбивало с ног, камни были скользкие, и он нет-нет да и опирался на вешки бредня, когда вода особенно сильно тянула вниз. Когда воды стала по колено, идти сделалось труднее, но не так разъезжались ноги.

Со вторым концом бредня пошел Володька. Петух держался рядом с ним. Они шли почти по берегу. Пашка сперва посматривал на них, но глубина увеличилась, и он, занятый мыслью, как бы не утонуть и не запутаться в бредне, цеплялся теперь руками за бредень и береговые кусты. Стравил вовремя воздух из комбинезона, поджав живот, почувствовал около ушей теплую струю и шипение. Могло ведь и перевернуть.

— Слабинку дай, — крикнул он им. — Сейчас яма будет.

Он натянул зубами ворот костюма, чтобы тот плотнее прилегал к шее и не захлестнуло водой через верх.

— Он знает, что делает, — заметил Петух. — Сейчас плыть будет, там глубоко.

Как Пашка ни старался подтянуть бредень к самому берегу, ничего из этого не вышло, не дала коряга, и он бултыхнул ногами, но обрел равновесие, опять нащупал носками дно. Идти стало свободнее. Бредень выходил из ямы.

— Спокойнее, Володя, не давай натяга. Пусть по дну идет... Начинай подрезать.

Володька кивнул и завел низ бредня вперед.

— Максимов, помоги Пашке, — суетился на берегу Петух. — Спокойно... Уйдет сейчас вся рыба к чертовой бабушке!

Воды уже было меньше чем по колено, яма осталась позади. В бредне металась стайка рыб, и еще три штуки с красными животами запутались в очках дели.

Натянули низ, стали подбирать верх, но низ все равно волочился позади и заворачивался, натыкаясь на камни. Петух страшно заругался — рыба уйдет.

И правда, большая часть рыбы ушла под бреднем. Остались только три запутавшихся да еще с десяток штук.

Все, как зачарованные, смотрели на рыбу. Мальма заколдовала красотой, формой, расцветкой. Бросались в глаза красные брюшины самцов и серебристых самок. Самцы поджарые, как голодные волки, у самок же брюшки тугие, словно коровье вымя перед дойкой. Видны хищные пасти гольца с чуть загнутой вверх нижней челюстью над верхней губой, острые зубы, зеленые плавники с белой фаянсовой оторочкой. Брюшина от красного цвета резко переходит в белую полосу по всему боку, затем начинается прозелень с красными точка-

ми симметричных пятен вдоль боков. Выше к хребту окраска густеет.

Верх — темно-зеленый, почти черный к голове.

Самки более строги к своему наряду. Черная маленькая и свирепая головка, зеленый свитер и серебристая юбка, на серо-зеленом боку красные пятна с синей каемкой, рот поменьше, чем у самца, туловище овальное.

Сентябрь основное время нереста малмы и лососевых. Скатаются малыма в море с верховий горных рек, с мест своих нерестилищ, с первым снегом, некоторые же подо льдом.

Пашка стоял и удивленно смотрел, как вертелись рыбы на камнях, ползая на красных брюках, держась плавниками, как падали они со шлепком на бок и долго били хвостами.

Леха брал рыб за жабры и швырял в мешок, они и там продолжали вертеться, и мешок ходил ходуном, словно живое существо.

Второй раз забредать здесь не решились, рыба разбежалась — накричали они, набаламутили. Бредень опять разложили на камнях, увязали низ, прибавили грузил.

Его нужно короче сделать, чтобы мешком выводить, — сказал Пашка.

— Пойдет, махнул рукой Петух. — Хватит говорить. Пошли.

Пашка как «глубинник» шел в стороне и улыбался своим мыслям, мешающим ему быть серьезным в эти минуты.

Они шли гуськом, нога в ногу, как заправские рыбаки. Бредень свисал с плеч, грузила тянули низ, поплавки болтались из стороны в сторону, задевая то камни, то хвост.

Следующая яма оказалась удачливее, попались самки. У всех заблестели глаза, а Пашка сказал, что костюм промокает, левая нога у него мокрая, но его не слушали. Собрали рыбу в мешок и двинулись дальше.

Русло сузилось до того, что можно было перепрыгнуть его. Но Пашка шел по грудь в воде и тянул за собой бредень, спотыкаясь о камни и коряги. Выволокли три десятка одних самок Полмешка рыбы.

День был в разгаре. Сентябрь горел лучшими красками земли. Яркое солнце, голубое небо, зеленоватая темная вода, по-над берегом прозрачная до самого дна. Желтые камни на отмели радужно блестели и искрились. Чистый теплый воздух!

Леху отправили с машиной готовить обед, а сами вновь побрали вдоль реки.

Процедили еще две ямы, косяка не было, но по десятку штук вытаскивали и были довольны. Да и как не быть им в хорошем настроении, когда все ладилось. Володька уже приловчился вовремя подрезать, ему помогали двое.

Пашка знал дело не хуже Петуха, хоть и был молод. Максимов встречал его на мели, перехватывал бредень, тянул низ, не отрывая грузил от дна, а Пашка подбирал верх. Вырывали бредень мешком из воды — и рыба не уходила.

Костер Леха развел под сухим корневищем. Хлопотное это занятие уху варить. Главное, чтобы не переборщить: все должно быть в норме — и соль, и перец, и должно соответствовать вкусу всех. Но одни любят соленое, другие пресное. Вот и угоди тут.

Леха варила на свой вкус, как придется, чтобы следующий раз не заставляли. Но уха вышла на славу. Рыбу Леха выложил отдельно на бумагу, и она лежала непечатой горкой, аппетитная и дымящаяся.

Пока Пашка разоблачался из своих доспехов, выливал воду из сапога и выжимал брюки, развернули брезент, расположились вокруг костра, кто с кружкой, кто с миской.

— Ну, завхоз, давай свою баланду. Корми артель.

И Леха начал кружкой разливать уху. Рыбу брали руками и ели аппетитно, по-рыбацки.

Чудесный отъезд это: два-три дня провести на реке, ночевать под открытым небом у костра, в избушке, пить крепкий чай, говорить и слушать, сколько заблагорассудится, немного попотеть, помокнуть и спать крепко под шум перекатов. Нет, здоровый человек никогда не откажется от этого, он любит работу, свежий воздух и солнце.

Из послеобеденной меланхолии Пашку вернули к действительности Петух и гагара, летающая над ними низко и лениво.

Володька было схватил ружье, но ему стрелять не дали. Гагара будто поняла это, отлетела немного в сторону и плавно опустилась на воду, посматривая на людей без всякого страха.

Когда расселись в кузове и поехали к Яме, трясясь на камнях, рыба в загородке несколько потускнела, но все равно была ярче всего, находящегося в кузове. Даже Пашкин берет выглядел по сравнению с нею блекло и кощунственно-неправдоподобно. Жора говорил, что лет десять назад вывозили отсюда мешков по шесть-девять на брата мальмы, теперь же рыбаков стало больше, а рыбы меньше.

Остановились перед ямой, где стояли утром. Прикинули, что двадцатиметровым бреднем делать нечего, вытащили из кузова второй бредень, поменьше, и сшили их вместе. Пашка снова оделся в комбинезон, просохший за это время на солнце.

Зашли на перекат. Сразу почувствовалось, что это не Каменушка и ухо тут нужно держать востро. Течение мощное, напористое. Нужно было успевать за водой, не зевать, подгребать одной рукой, чтобы не утянуло на середину. Нагибаясь под свесившейся к воде ивой, Пашка поскользнулся, быстро натянул зубами ворот костюма, воды через край не набрал, но почувствовал, что нога снова стала мокрой. «Чертово колесо!» — заругался он, но тут же забыл обо всем. Перед бреднем метнулись три темные тени.

Внизу перед перекатом дружно бутили воду бутовщики, растянувшись поперек реки, они, не давая рыбе уйти вниз, бросали в воду камни, били палками по воде.

Бредень подрезали и начали выводить. Рыбу в нем увидели только у самого берега — засуетились, загаддели. Четыре желтобрюхих самца и штук семь самок — весь улов.

— Желторотики, — сказал, смеясь, Петух Володьке. — Как ты, салага, желторотик еще.

— Это топь, — сказал всезнающий Жора. — Подделываются под цвет камней. Вот взять икроеда. Где камни светлые, там и у него окраска светлая, а бывают прямо аж черные.

Стали выходить на другой перекат, подгоняемые азартом. Пашка по мели переката прошел на другую сторону, волоча за собой бредень.

Слева по-над сопкой стремительная протока врывалась в русло реки и еще больше углубляла яму. Пашка вошел в яму. Воды сразу стало по грудь, течение несет, только успевай подгребать, несет в глубину.

— Паша, — кричит на отмели Максимов. — Я здесь. Не промахнись.

За лиственницей яма кончалась, но глубина по пояс. Идти пришлось почти поперек течения.

Максимов подхватил бредень и потянул к берегу, подоспел Васи-

лий, взялся за низ. Перебирая низ и верх и ориентируясь по другому концу, который выбирали Харитон с Генкой, они ловко выбросили бредень на берег.

Всего пять штук билось о камни. Разочарование было великим, затраты не оправдывали себя.

— Течение большое, — изрек Жора. — В устье будет, — он махнул вниз, где река широко разливалась. — Должна быть.

Там Каменушка прямо вваливалась в Яму, образовав в устье дельту из семи маленьких и одного центрального рукавов. Вода бурлила и пенилась на перекатах, потом спокойно разливалась по Яме. Ниже Яма раздаваивалась и ломилась к сопке левым рукавом, а правым спокойно выходила на перекат и опять соединялась в одно русло. В этом месте образовался маленький сухой островок с коряжистым деревом на мысу.

Забрели и опять неудачно. Помешали два валуна на середине, коряга и железный шкворень, забитый, видимо, для загородки. Загородку предыдущий браконьер снял, шкворни вытянул, а один не нашел, оставил его в воде. Пока Пашка освобождал бредень, внизу бутили реку, потопали, но разве разбежишился, когда по пояс воды. Пашка переваливался с боку на бок, разгребая воду руками, брел от одного камня к другому, от коряги к шкворню. Шкворень он вытянул и бросил к берегу.

— По сдельной наряды закроем, — кричал Пашке Харитон.

Ноги у Пашки были мокрые, замерзли, он шевелил пальцами и чувствовал воду, холодно ему не было, но было мерзко от этой мокроты, и зло брало.

Завели второй раз и третий. Каждый раз выбирали из бредня по десять-пятнадцать самок. У некоторых икринки не держались в брюшке и выходили наружу, красные и прозрачные, словно стекло.

Леха развел костер, готовил чай. От костра приятно несло дымом. Солнце село за сопки, и с реки потянуло прохладой. Подступали сумерки.

Чай пили, обжигаясь, торопясь. Не терпелось поскорее добраться до Бани, к большому костру. Кто-то предложил забрести еще раз в полночь, на него посмотрели снисходительно, мол, у тебя не все дома.

Когда подъехали к Бане, гурьбой вывалились из кузова и сразу разбрелись за дровами. Натаскали целую кучу полусгнивших бревен. Костер вспыхнул, и сразу стало темнее в долине от его огня и теплее под старой ветлой.

Сушились и варили уху при звездах. Луну над сопками закрывали облака, и она лишь изредка выглядывала, огромная и желтая, освещала вокруг все ленивым светом серебра и вновь уходила за черные облака. В центре неба безмятежно горели звезды. С их высоты было видно, пожалуй, все.

Пашка утром спал дольше всех. Его подняли, когда чай уже вскипел и все было готово к завтраку. Он вышел из бани, потягиваясь, проторя глаза, причесался и натянул берет.

— Утро доброе! — заулыбался он у костра.

— Спиши ты, — качнул головой Петух. — Пушки не разбудишь.

Пашка пожал плечами.

— Значит, живой.

— Ну, коли так, пей чай и вперед.

— Вперед, — сказал Пашка машинально, наливая чай в круж-

ку. — А если выпустить нашу рыбу в речку, оживив ее, сколько было на следующий год?

— Тебя раньше поднять нужно было, — серьезно сказал Харитон, отхлебывая чай и хмуясь от дыма.

— Я серьезно.

— Другие бы выловили, — бросил кто-то.

— Икроед, знаешь, сколько сожрет икры? — глохо сказал Жора. — Больше, чем ты...

— Но останется же что-нибудь?

— Конечно.

Замолчали, поглядывая в свои кружки, представляя, что было бы, если действительно выпустить бы эту массу рыбы в реку. Картина получилась впечатляющая — рыба бросилась вверх по реке, вода закипела, забурлила, вышла из берегов. А самки, найдя подходящее место в омутах, начали выпускать красную икру мутными струйками на дно, самцы завершали акт оплодотворения, пуская молоки, хватая крепкими зубами шныряющих вокруг наглецов икроедов, прекрасную северную форель. Икра оседала на дно и превращалась в быстрых мальков.

Пашка не вынес молчания и трагически произнес:

— Если больше тридцати штук принесу домой, жена из дома выгонит. Скажет, иди со своей рыбой и сам ее чисть, — он чмокнул губами и вздохнул. — Да-а...

Этот день собственно ничем не отличался от предыдущего. Так же остановились у топовой ямы, затем проехали на Каменушку мимо синеющей вечным холодом наледи.

После ночного дождя воздух стоял сырой, было тихо, безветренно и прохладно. Серые снежные облака густо закрывали вершины сопок, склоны их матово пестрели. В природе чувствовалось скорое приближение зимы.

Сказывался ли вчерашний день, но в глазах у людей исчезло любопытство к неожиданности и красоте рыбы. Ее появление и трепет на камнях не вызывали уже того бурного восторга, который был в первый день. Вырвав из воды бредень, все удивлялись одному: где же рыба? Почему не подошла? С ожесточением и злостью вновь забредали и опять чертыхались. Лишь изредка река откупалась от них самцами мальмы, и люди были довольны. Но, может быть, в следующей яме есть косяк, его хоть лопатой греби. И все начиналось с начала. Никто не знал, откуда это пришло такое страстное желание. Всем хотелось побольше поймать рыбы. Видно, зарождается где-то в самой глубине человека и не сразу выбирается наружу, а постепенно созревает, ворошится этот червяк — и лезет, лезет, лезет наружу в благоприятных для него условиях, подчиняя себе сознание, действие мышц и нервной системы. Все работает на него, весь организм, в котором существует этот червячок жадности. Знай, лезет и затуманивает мозг.

Природа не участвует в этой игре, она лишь иногда карает своих сынов за непослушание и самоуверенность. Человеческая природа прекрасна сама по себе, не знает равного ничего на свете, как первые лучи солнца, и ведает она о жизни гораздо больше, чем можно предположить.

После обеда «артель» остановилась у топовой ямы перекурить. Только вытащили из кузова бредень, как из-за поворота, словно утка, вынырнула красная резиновая лодка. В ней по реке спускался человек

в черном. Увидев их, он начал подгребать к берегу, приветливо улыбаясь.

Что-то насторожило их в нем, привело в замешательство. В следующую секунду, когда из-за поворота вырвалась другая лодка с высоким каркасом и красным с белой полосой на нем и стала набирать скорость, все опомнились и кинулись к машине, на ходу прыгая в кузов. Петух вскочил на подножку и крикнул в окошко кабины.

— Гари!

Машина, набирая скорость, понеслась по бездорожью от реки между кустами и деревьями, петляя, как заяц. Петух только громко покрикивал:

— Вправо... Прямо... Не выезжай на дорогу, там нам делать нечего. Держи на старое русло... Гари давай. Газу.

Лешка отчаянно крутил барабанку, он никогда в жизни не ездил так быстро, это было сверх его сил.

Максимов перегнулся через борт и закричал Петуху:

— Петух, чертова голова... От волка бежим, а на медведя напоремся. Слышишь?

Свернули в лесок, проломились через кусты и остановились за деревьями в сухой низине старого русла, заглушив двигатель. Заговорили шепотом, прислушиваясь к звукам и соображая, нет ли погони. Было тихо.

Разговаривая вполголоса, начали быстро отвязывать от бредня мешки и прятать рыбу.

— Да, может, это какие-нибудь отпускники. Путешественники. Родной край изучают,—с надеждой сказал Пашка.

— Лодка с каркасом. Где бы они ее взяли? — прошипел Леха.

— Мало ли. Прокатный пункт на что? Или ДОСААФ.

Снасти спрятали и сели покурить. Посоветовавшись, решили двух человек с ружьями отправить на разведку. Для убедительности разведчикам дали один рюкзак, положили туда булку хлеба, пару банок тушеники и бутылку водки. Они проверили свои охотничьи билеты и пошли.

Остальные расположились небольшим лагерем, перекусили всухомятку, без костра, и пустились философствовать о том, что лучше уж один раз быть зайцем...

Харитон и Пашка пошли на сопку за стланниковыми шишками. Пока они ходили, вернулись и разведчики.

Оказалось, что расстояние до Бани отсюда менее пяти километров. Разведчики были в бодром духе и сообщили, что те, в лодках, такие же «штурики». Поели у деда икры, расспросили, где ловится рыба и чем можно ее поймать. Все нормально, можно заводить машину и забредать в топовой яме.

Настроение, однако, не для рыбалки. Все же собрались и поехали.

Забрели в топовой яме, спустились ниже. И в устье Каменушки также нехотя вели бредень. Рыбы было мало, она уже и не радовала их. Грустно смотреть на нее и бросать в мешок противно.

Когда в сумерках сели на машину, решив ехать домой, настроение вернулось. Хватит мытарствовать. Лучше день отдохнуть дома и со свежей головой идти на работу. По крайней мере, не будет этой нервотрепки, не надо убегать и скрываться, не нужно лезть в холодную воду и мокнуть, и спать под открытым небом ради этой проклятой рыбы.

В голову каждому пришла и такая мысль: «А как же делить рыбку? Сколько нас? Всех тринадцать человек. По скольку же это вый-

дет?.. Самки, самцы... Лучше, конечно, побольше самок. Икра... А икра — ве́шь».

Ехали уже четвертый час. Ночь зажгла звезды, и луна поднялась над сопками, залив дремлющее пространство гор безмятежным светом.

В кузове тесно. Кто спал, кто дремал, кто просто смотрел на светлую долину, думая о своем. Машина натуженно гудела и неслась вперед. Проехали Элекчанские озера. Стало веселей, главное — выехать на основную трассу.

На втором километре машина плавно остановилась. Послышались голоса.

— Автоинспекция. Покажите права. Путевку... Что везете?..

Какой-то мужчина заглянул в кузов и произнес:

— Да тут народу полно.

Все в кузове завозились настороженно и нервно.

Подошли еще двое и осветили их фонариком.

— Что везете?

— Ничего...

— Как это ничего. Сейчас проверим.

— Какое вы имеете право?..

— Покажи документы...

— Эй, Лешка, заводи, поехали.

Но один из проверяющих пошарил рукой за бортом и возбужденно воскликнул: «Что это такое?» И потянул бредень.

Бредень сперва чуть не забыли на косе, а когда вспомнили, то бросили к заднему борту и забыли о нем. И вот теперь его тянет этот здоровый мужчина, призывая на помочь инспектора, который разговаривал с шофером.

— А ну-ко, дай его сюда! Проверим, как это у вас ничего нет...

Он бросил бредень к ногам...

— Орудие запрещенного лова... — и указал пальцем, констатируя факт, как врач дает диагноз больному. — Вылезайте. Областная инспекция рыбнадзора, — официально представился он.

После долгих препирательств, уговоров, споров, каждый из них по очереди залезал в кабину инспекторского газика и сообщал краткие данные о себе.

Инспектор был молодой, в форменной куртке с желтыми блестящими пуговицами и со стареньким револьвером на боку. Он писал при свете плафона торопливо и аккуратно на типографской разлинованной бумаге.

Потом инспектор развернул свою машину, а к ним в кузов и в кабину сели два его помощника — высокий парень и тот здоровяк — и колонна двинулась в поселок.

Они сидели, растерянные и беспомощные, кляня свою долю.

— На тринадцать человек рыба не делится. Чертова дюжина. Да и число сегодня уже тринадцатое, — невпопад сказал кто-то в глубине кузова.

Но было не до смеха. Все ехали молча, искоса посматривая на высокого парня, сопровождающего их. Он примостился сзади у бортика на коленках, лицом к ним, не смотрел на них, но видел каждое движение своими неулыбчивыми глазами.

Трасса была пустынной, хорошо накатанной и блестела, как асфальт после дождя. Над долиной низко висела луна. Сопки же хранили глубокомысленное молчание и далеко отталкивали эхо ревущих моторов.

СТИХИ О СЕРЕЖКЕ

1

К нам в детдом приехал новичок,
Улицей запущенный дичок.

С козырьком поломанным кепчонка,
Драный плащ — раздолье для ветров
С мирных дней не трогала гребенка
У мальчишки спутанных вихров.

А когда дымящуюся миску
Перед ним поставили на стол,
Он над нею наклонился низко
И овсянку раньше всех уплел.

Борис КОПАЛЫГИН



Нам он был, конечно, не в новинку,
И к нему иссяк бы интерес,
Если б вместо правого ботинка
Мы бы не увидели протез...

Как-то напросился к нам в команду,
Не игрок, а просто маэта,
Нам ему бы отказать бы надо,
Сжалились, поставив в ворота.

Помню я, что стадион в ладоши
Громко бил и «браво» голосил:
Наш вратарь, Сережка мой хороший,
Хоть ушибся, мяч не пропустил!

И тогда-то, грязь на лбу размазав
И больное почесав ребро,
Засмеялся черт голубоглазый,
Словно бы рассыпал серебро...

Детство, детство пасмурное наше,
К сколькому привыкло ты в войну!
Но теперь мне делается страшно,
Если я тебя вдруг вспомяну.

Гневом стал и болью, и протестом
Против войн, которых не хочу.
Мальчуган веснушчатый
протезом
Бьющий по футбольному мячу!

2

Разнесся слух среди ребят,
Что в детский дом пришел солдат.

А это значит — наконец
Счастливым станет кто-то:
На сто ребят один отец
Домой вернулся с фронта.

Он взбудоражил всех подряд,
Смешались в вихре мысли,
И ложки с кашей у ребят
На полпути повисли.

Егорка, кто уж год носил
В кармане похоронку,
И тот, я вижу, припустил
За всей гурьбой вдогонку!

Ахмет толкал кого-то в бок,
Застряв между столами,
И я в толпе, как только мог,
Торил проход локтями...

А он всего-то был один,
На сотню нас — счастливый сын.

К нам от ворот спешил солдат
Широкими шагами
И на ходу толпу ребят
Ощупывал глазами.

С какой тревогою тот взгляд
По ребятне метался!
По всем прошелся пацанам
И все ж не задержался!

Но вдруг застыл на ком-то взгляд,
И повернулись мы назад.

А там, сбегая по крыльцу
За дедом-хлеборезом,
Сережка Кравченко к отцу —
Стучал, стучал протезом.

И через столько злых годин,
Тревог, разлук, бомбежки
Впервые крикнул: «Папка!» —
сын,
А тот: «Сынок!» —
Сережке.

Солдат прошел огонь и дым,
Окопы и тревоги,

Солдат остался — невредим,
А вот сынишка перед ним,
Сережка
одноногий...

К глазам передник поднесла
Наш повар тетя Настя,
И почему-то назвала
Все это словом «СЧАСТЬЕ».

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ ЭКЗЮПЕРИ

1

Врачами отстраненный от полетов
(Ах, эти раны, черт их побери!)
Склонился над потрепанным блокнотом
Французский летчик Сент-Экзюпери.

Тень от крыла сползает со страницы,
Полоска света ширится, растет,
Как будто солнце прочитать стремится
Все то, что в сердце выносил пилот.

Его Отчизна в бомбовых воронках,
Но поседевший в небе человек
Сумел улыбку ясную ребенка
Спасти в железный наш двадцатый век.

И пусть старуха-смерть не даст отсрочки,
Сегодня продолжается полет!
Не солнце, нет! Родившиеся строчки
Наполнят светом старенький блокнот...

2

Был генерал растроган книгой,
Всю ночь провел с ней до зари.
— Эй, адъютант, позвать-ка мигом
Майора Сент-Экзюпери!

И, встретив летчика у входа,
Промолвил по-французски так:
— О, ваша книга превосходна,
Как, впрочем, ваш, месье, коньянк.

Не возражаете, союзник?
Тогда две рюмки, адъютант.
Я пью, майор, за вашу музу,
За труд ваш, подвиг и талант!

Я вас позвал сюда недаром.
Врачей я знаю приговор,
И необычным гонораром
Я вас порадую, майор.

Уж если вы так небу рады,
Как медицина ни строга,
Дарю пять вылетов в награду
В расположение врага!

О, если б знал техасец старый,
Что с человеком натворил!
Таких высоких гонораров
Не получал Экзюпери.

Ему, кому уже в кабину
Не влезть без помощи друзей,
Вновь отдают его машину,
Вручают небо на пять дней...

Взмывая в солнечные дали,
Не мог он знать, что в этот час
Его за кружкой пива хвалит
Француженке фашистский ас:
— Прочел я «Маленького принца»,
Заворожен, черт побери!

...«Поклонник» этот стал убийцей
Майора Сент-Экзюпери.

—————

Семен ЛИВШИЦ



ТЫ НАДЕЙСЯ, РОССИЯ

Громыхнули колеса на рельсах,
Гул скатился к ногам и затих...
Ты надейся, Россия, надейся
На вихрастых мальчишек своих.

Говорят, что заласканы вроде,
Что обличьем
К девчонкам близки,
Но и то не скрывают в народе,
Как решают дела
По-мужски...
Развезут их по дальним заставам,
Где дозорные тропы круты,
И —
Во что бы то, значит, ни стало
Насмерть стать
У священной черты...
Ведь и наше закончилось детство.
Счастьем тем,
Что худым пацанам,
Революции нашей наследство
Ты, Россия, доверила — нам!
Положись, как тогда положилась,
Пожелай, как у нас повелось:
«Хорошо бы вам только
Служилось!
Хорошо бы вам только
Жилось!..»

НА СЕВЕРЕ

По-за черными домами,
Плотно сбившись
В табуны.
Ходят сытые туманы,
Ходят,
Заставят свет луны.
А смахнет ночные тени
Пароходика гудок, —
Чьи там голые колени?
Кто отставил локоток?
Трону словом:
«Голубица,
Чай наскучило в глухи,
Пробежимся до столицы,
Погуляем от души!»
Пара зрелых виноградин
Ворохнется на свету:
Мол, чего бы это ради
Стану мыкать масть?!

Торопливо шлепнут плицы.
Было — сгинуло в дыму...
Только памятлив на лица —
Понимаю
Что к чему.
То синит в озерной сини
Осень,
Добрая душа,
Облака со всей России —
Больно синька хороша!

ЗАБАЙКАЛЬЦЫ

РОМАН

Часть вторая

Глава I

После успешного боя в Дацане Макар выступил двумя полками в долину Калангуга, намереваясь выйти на Газимур и напасть на гарнизон белых в Александровском Заводе. Уже в пути получил приказ занять села в районе станиц Шелопугинской и Догынской, расположенные по сретенскому тракту, чтобы воспрепятствовать продвижению двух белоказачьих полков и роты пехоты с Газимура на Сретенск. Хотя в приказе ничего не говорилось о самом Сретенске, Макар догадывался, что там затевается какое-то большое дело. Отменив намеченный им план набега на Александровский Завод, Макар в ночь вывел свои полки на сретенский тракт, без боя занял два села и стал на тракте заслоном.

Расположив бойцов на посторонней и договорившись с поселковым атаманом об овсе лошадям, Макар послал писаря за Егором.

В пятистенной, срубленной из лиственничных бревен избе тепло, пахнет только что выпеченным хлебом и ржаной соломой, разбросанной на полу под ногами. Мужиков в избе нет, хозяин с двумя сыновьями-подростками на заимке заканчивает молотью. Дома одна хозяйка — располневшая женщина в ситцевом сарафане, она и принимала незванных гостей: хлеба им целую булку изрезала и полуведерную кастрюлю крепко посоленного чаю-сливана, забеленного сметаной, поставила да еще топленым маслом заправила его и два сырых яйца разбила. Макар налил себе большую эмалированную кружку и, отхлебнув, так и зажмурился от удовольствия.

— Вот это чаек, тетенька, дай бог тебе здоровья, давно такого не пивал! Где вы чай-то достаете, настоящий карымский?

— Спиртонос Афонька Ганшин привозил осенесь, выменяла у него, ведро муки отдала за одну плитку!

Когда Егор и писарь появились в избе, Макар допивал четвертую кружку; с разгоряченного лица его бисером сыпал пот.

— Чего звал? — спросил Егор, поздоровавшись с хозяйкой.

— Потом о делах, почаем сначала. Садитесь. — Зачерпнув ковшом из кастрюли, Макар налил стакан Егору, себе же пятую кружку. — Чай такой, что одно удовольствие!

— Это можно, я еще и не завтракал. — Освободившись от оружия, Егор присел к столу и, глядя, как Макар вытирает потное лицо платком, усмехнулся, подумав про себя: «Ай да Макар, сроду плат-

ков не имел, а тут прямо-таки совсем по-господски, вышколила его поповна-то!»

Покончив с чаепитием, Макар поблагодарил хозяйку, пожелав всякого добра ей и ее домочадцам, спросил:

— Семья-то у вас, тетенька, большая?

— Большая, два сына в отделе живут, а третий где-то вместе с вами воюет. — Поправив на голове коричневого цвета косынку, старуха села на скамью, опустив руки на колени.

— Это хорошо, молодец! В каком полку-то он?

— А бог его знает, в каком! Знаю, что у Макарки Якимова, ни дна бы ему ни покрышки!

— Это Макарке-то? — еле удержавшись, чтоб не расхохотаться, спросил Макар. — За что же вы его так?

— За дело, стало быть. Ишь охальник какой выискался, попадью отбил у попа! Да и самого-то батюшку плетью отхлестал!

— Врут, бабушка, я его и в глаза-то не видел!

— Кого? Макарку-то, что ли?

— Его самого, бабушка, Макарку, — поправился Макар, спохвавшись, что едва не выдал себя с головой. Хорошо еще, что бабка-то оказалась недогадливой.

— Вот и я его не видела, а то бы весь ухват об него обломала! Знай, паршивец, край, да не падай!

— О деле-то когда поговорим? — весь красный от натуги, чтоб не дать воли смеху, заговорил Егор, спеша вывести друга из неловкого положения.

— Сейчас, — отворачиваясь от бабки и пряча улыбку, сказал Макар. — Значит, так, на Шилку хочу турнуть тебя с эскадроном!

— Чего я там забыл?

— Седьмому полку помочь надо, — согнав с лица улыбку, уже серьезно заговорил Макар. — Полк-то вить нашей бригады, и командир его Федот Погадаев наш с тобой друг. Просит Федот подмоги. Там, по всему видать, на Сретенск жимануть собираются, а мне послать туда целый полк нельзя: оборону здесь держать надо, да и за самовольство Журавлев меня скоро съест. А твой эскадрон для того и выделен в отдельный — летучий, чтобы подмогу оказывать в случае надобности!

— Раз надо, какой разговор! А к Федотке-то я с удовольствием, с прошлого года его не видел. Где он с полком своим?

— Где-то в районе станицы Ломовской.

— Когда выступать?

— Сегодня же, чтобы завтра к вечеру влиться в Седьмой полк.

— Да ты что, Макар, люди-то у меня не железные, хоть одну-то ночь надо им отдохнуть, выпаться хорошенко, да и коней выкорчить! Давай с утра завтра, пораньше.

— Успеешь?

— Успею, лишь бы на остановках овес был коням!

— Ну смотри, Егор, дело сурьезное, спешное.

Как ни спешил Егор, на Шилку он вывел свой эскадрон уже на третий день, очень уж трудным оказался маршрут. Идти большую часть пути пришлось бездорожью, по глубокому снегу, ломая сугробы, ориентируясь в ночное время по звездам.

Во вторую ночь, уже незадолго до рассвета, наткнулись на конный разъезд. Удостоверившись, что это свои, съехались. К радости Егора, в разъезде оказались партизаны как раз Седьмого полка, ко-

торый вторые сутки уже находился в центральном селе Ломовской станицы.

— Ладно ли едем-то? — допытывался Егор у бородача, старшего разъезда.

— Ладно, та не совсем, — закуржавевшие, смерзшиеся борода и усы мешали старику говорить, он охлопал их рукавицей, оттаивая дыханием, оборвал с усов ледяшки, после чего заговорил внятнее: — Падь-то эта, ежели по ней ехать, уведет вас в сторону. Тут вот, не-далеко отсюда, отворот будет в отладок слева... Да мы вас проводим до него.

— Спасибо, дядя!

— Не стоит, держитесь за мной!

К восходу солнца поднялись на большой, лесистый перевал, остановились. Мороз к утру усилился, и потные крупы лошадей в момент покрылись куржаком; ледяные иголки замерзшего пота бахромой свисали с подседельников. Дохи и шапки партизан как снегом обсыпаны. В мглистом морозном мареве еле видно долину Шилки, заречные сопки, тайгу. Село Ломы не видно, оно лишь угадывается на берегу Шилки, под шапкой густой морозной копоти.

По команде Егора партизаны спешились, с конями в поводу бегом устремились под гору, в седла сели уже вблизи поскотины, в село въезжали строем. На площади, против станичного правления, Егор остановил эскадрон, подозвал к себе помощника.

— Я к Погадаеву сейчас. А ты договорись с поселковым атаманом, где людей наших разместить, да насчет овса.

Помощник Топорков, Чиндант из Борзинской станицы, кивнув головой, сказал:

— Где он поселит нас? Ума не приложу. Тут и без нас людей хоть отбавляй! В какую ограду ни глянь, везде партизанских коней полно!

— Ничего, потеснятся. Как управишься с делами, ко мне живой ногой! Я у командира полка буду, у Погадаева.

В горнице большого, старого дома, где квартировал командир полка, за столом в переднем углу сидели трое — сам Погадаев и два его эскадронных командира. Чисто выбритый, веселый, в ловко сидевшей на нем гимнастерке и стеганых на вате брюках, заправленных в гураны унты с голенищами выше колен, он с первого взгляда узнал Егора и, радостно улыбаясь, поспешил ему навстречу. После обычных в таком случае объятий, приветствий, Федот познакомил Егора с теми двумя, что сидели за столом — Иннокентием Пичуевым из Размахнинской станицы и Дмитрием Пешковым из Жидкинской.

— А это мой друг Ушаков, — пояснил им Федот, — всю действительную службу и германскую войну в одном полку были, да вот с Даурского фронта не виделись. Раздевайся, Егор, а я насчет самовара похлопочу.

— Давай, я вить и на фатере ишо не был, голодный как волк!

Раздевшись, Егор доху свою, полушубок и папаху кинул в угол, поставил туда же винтовку и шашку, присел к столу; из кухни появился Погадаев, все так же весело улыбаясь, хлопнул Егора по плечу:

— Все в порядке, накормим тебя, чаём напоим горячим и спать уложим. Рассказывай, откудова, с каким торгом прибыл?

— На помошь к тебе от комбрига нашего, товарища Макара Якимова. Я вить тоже в вашей бригаде службицу несу! Отдельным лётучим эскадроном командую у Макара!

— О-о! И сколько у тебя гавриков?
 — Сто восемьдесят сабель, как раньше говаривали.
 — Как это кстати, брат ты мой, — радостно потирая руки, ликовал Федот. — У нас здесь такие дела назревают в Сретенске, елки зеленые, — и Федот рассказал Егору о готовящемся в Сретенске перевороте и о том, что Седьмой полк должен помочь в этом деле солдатам-повстанцам.

— Связного я послал разузнать, что там и как, а после обеда командиров собираю на совет. Доведу до каждого боевую задачу, и сегодня же в ночь выступим, чтобы к утру жимануть на Сретенск! Друзья наши солдаты там уже ждут, наше дело начать!

— Ждать-то они ждут, а вдруг да какое-нибудь изменение? Нет, надо дождаться связного-то.

— Э-э, ждать да догонять — гиблое дело! Все там наготове, действовать надо, пока дело на ладу.

— Дело твое, Федот, только я свой эскадрон сегодня никуда не поведу, имей это в виду!

— Как не поведешь? — удивился Погадаев. — В мое распоряжение прибыл, а действовать хотишь по-своему! Вот это друг!

— Э-э нет, брат, дружба дружбой, а табачок врозь, — тоном, не допускающим возражения, отпаридал Егор. — А ты, прежде чем командовать, спросил, в каком состоянии люди-то мои? Три ночи напролет в седлах! Шуточное дело!

— Три ночи в седлах? — переспросил молчавший все время Пичуев. — Тогда, конечно, отдых нужен. Ты уж не возражай, Федот Абакумович!

— А чего возражать-то? Раз такое дело, пусть отдохнут. На один-то день отсрочим налет наш, тоже не беда.

Чуть не вспыхнувшая было ссора на этом и погасла. Погадаев по-прежнему дружелюбно и весело глянул на Егора, перевел взгляд на Пичуева, на Пешкова, тот, посмеиваясь, подкручивал кончики черных усов.

— Видали, каков? — подмигнул Федот командирам. — И вот всегда такой! Молодец, ей-богу, за это и люблю его! Этот, брат, никому не спустит. Значит, откладываем выступление наше до завтра! А сейчас чай пить пошли.

— Давно бы так, — рассмеялся Егор. — А после чаю я, пожалуй, и сосну здесь, у тебя. Смотри, как тут хорошо — тепло, чисто. Доху постелию, полушибок под голову и храпану за все недоспанные ночи.

За сутки конники Егора отоспались в тепле, поели вдоволь щей у хлебосольных хозяев и на следующий день готовились к ночному походу. К вечеру Егор отправился к Погадаеву, доложить о готовности эскадрона к выступлению.

Погадаев при помощи Пичуева седлал подтянутого веревкой к столбу одичавшего жеребца саврасой масти. Егор уже слышал, что жеребец девятый год от роду, а он еще и на узде не бывал у богача хозяина и таким свирепым характером обладал, что, оберегая табун своих кобылиц, как зверь, кидался на людей. Уже не одного хозяйственного коня он изувечил! По этой причине хозяин и решил избавиться от него, согласился на мену, — так и достался жеребец Федоту. Двух аршин ростом, широкий в кости, налитый могучей силой, он был копытами землю, храпел от злости и, дико вращая налитыми кровью глазами, хватал зубами за столб! Охваченный азартом лихого наездника, Федот в этот момент ничего не видел и не слышал, кроме саврасого: из-под папахи на красное, разгоряченное возней с жеребцом, лицо его обильно катился пот, под ногами валялись затоптанные в сне-

гу рукавицы. Как только удалось набросить на буяна седло и подтянуть подпруги, Федот закинул ему на шею поводья, крикнул Пичуев:

— Отпускай! — и ухватился левой рукой за гриву, правой за седло.

Почувствовав свободу, жеребец свечой взвился на дыбы и, прыгнув в сторону, пулей вылетел из ограды в улицу. Егор видел, как Федот саженей двадцать бежал с ним рядом, как ловко взметнулся в седло и словно расстаял вместе с жеребцом, только белый шлейф взбитой копытами снежной пыли повис над дорогой, медленно оседая.

— Вот это черт, ой-е-ёй! — глядя вслед другу, восхищался Егор. — Как он от столба-то рванул! Смотреть страшно. На эдаких дикарях только Федот и ездить. Он ить и в полку-то у нас первым джигитом был, на конных скачках, на джигитовках все призы за ним оставались. Теперь Савраска этот ему под стать.

— Дикарь, не создай господи, — отозвался Пичуев. — А Федота нашего хлебом не корми, только давай ему таких зверюгов! Сегодня утром, как увидел Савраску, и от ума отстал: давайте мне его, в обмен на моего буланого и только. Его-то конь захромал, должно, оступился где-то. Вот и сменяли, а обучать разве дозволит он кому-либо? Сроду нет, сам, ему такое дело — удовольствие.

— В наступление-то сегодня неужто на нем отправится?

— С него станется. Его теперь от Савраски на вожжах не оттациши! Ему бы цыганом родиться, коней любит неподобно, особенно таких диких, души в них не чает. Пойдем в избу, покурим, чего тут торчать на морозе! Федота скоро не жди, пока он душеньку свою не удоволит, не заявится.

Вернулся Погадаев уже на закате солнца, шагом заехал в ограду, от взмыленного коня валил пар. Федот привязал его к тому же столбу, ласково потрепал по мокрой от пота шее и только теперь увидел Егора.

— Вот конька достал, брат, огонь! — воскликнул он, кивнув на саврасого. — Злой, правда, обороны бог злой, ишь грива-то у него торчком стоит, как у дикого кабана щетина! Но ничего — он у меня через недельку шелковый будет.

Измученный, уставший от буйства и долгого, стремительного бега Савраска смиренхонько стоял у столба, шумно поводя крутыми боками, потный круп его курчавился, все более покрываясь инеем, схваченная морозом мыльная пена в пахах и на подпругах стала похожей на желтоватые хлопья ваты.

— Видал я, как седлал ты его, — сказал Егор, — и как джигитовал на нем. Диву даюсь, как он тебя об столб не захлестнул, в воротах-то? Что хочу сказать тебе, послушай: в наступленье сегодняшнее тебе на нем ехать нельзя! Возьми себе другого, смиренного.

— На котором воду возят?

— Ты не смейся, я тебе дело говорю. Случись такое, к примеру, окружили мы город, ты на какой-то высоте руководишь, и вдруг что-то там неладно, тебе надо на другую высоту, а саврасый твой отдохнул и взыграл так, что не подступишься к нему. А тут каждая минута дорога. Может так быть? Может, и очень даже просто.

— Ерунда, не таких диких объезжал!

— Это ты уж не говори, диче этого уж и быть не может!

— А насчет того, чтобы выступить сегодня придется отставить, связной наш прибыл, сообщил, какие-то там нелады, отставили на завтра.

— Это и к лучшему, хоть отдохнут и люди, и кони.

— Из Сретенска пишут, чтобы ждать ихнего сигнала к выступлению, так что, может быть, еще и не завтра. Ничего не поделаешь, будем ждать.

Глава II

Вечером после дежурства Настя, прия к себе, растопила печку и только поставила на нее чайник с водой, как в комнату вошла сильно чесноковая Куликова.

— Что с вами, Лизавета Митревна? — спросила Настя, по внешнему виду сестры поняв, случилось что-то неладное.

— Беда, Настенька, беда, — оглядываясь на окно, Куликова быстро достала из-под матраца сверток бумаг, кинула их в печку и лишь после этого пояснила, — провал у нас большой!

— Какой провал? — Настя, впервые слыша это слово, поняла его в буквальном смысле, — на Шилке, что ли?

— Да нет, заговор у нас провалился, человек девять из комитета нашего арестовали.

— За что же их?

— Потом, Настенька, потом! Ты вот что: я ухожу сейчас туда, в город, Ворьби уж там, тетя Ксения дежурит. Если сюда придут, будут про нас спрашивать, говори одно: не видела, не знаю.

— Как же я одна-то тут, боюсь, Лизавета Митревна.

— Чего бояться-то. Ложись да спи, а я пойду.

Страх напал на Настю; после ухода Куликовой, закрыв дверь на крючок, она долго не могла уснуть, лежа в постели, напряженно вслушиваясь — не идут ли? Но вокруг тишина, темень; лишь обледенелые окна смутно белеют в черном перекрестке одинарных рам. Ей показалось, будто бы она только что уснула и видит сон, как где-то вблизи бацнул выстрел, второй. А когда Настя окончательно проснулась, стрельба доносилась уже отовсюду, залпы, пулеметный грохот, отсветы стрельбы огненными бликами отражались на стеклах окон. Ужас охватил Настю смертным холодом; прижимаясь спиной к стене, сидела она ни жива ни мертва на койке, укрывшись одеялом и дрожа всем телом. Она так и замерла, сжимаясь в комок, когда в коридоре хлопнула дверь, послышались быстрые шаги, стук, знакомый голос:

— Настенька, открывай скорее!

У Нasti отлегло на сердце — свои. А с улицы все так же доносились раскаты стрельбы, кровавым пламенем отражаясь на окнах, в которые уже соился белесый рассвет.

— Собирайся... скорее, — взволнованная, тяжело дыша, Куликова опустилась на койку, опираясь на нее руками с трудом выговарила: — Уходим отсюда... совсем.

— Куда же мы? — всплеснула руками Настя. — Вон что на дворе-то деется, убьют!

— Никто не убьет... наши это.

Вбежавшая следом за Куликовой, статная красивая Ворьби, запыхавшись, ничком упала на кровать. Чуть передохнув, обе медсестры поднялись, начали собираться в дорогу. Укладывая в мешки свои пожитки, посуду, одна другую дополняя, они сообщили Насте, что едва не провалившийся было переворот все-таки свершился благодаря энергичным действиям бывшего унтер-офицера Неволина. Он сумел поднять на восстание полк в тот момент, когда белые караули уже начали арестовывать заговорщиков! Руководимые им солдаты

не только отбили арестованных, но и, перебив многих офицеров, завершили восстание. Теперь повстанцы ведут бой уже с японцами. Госпиталь Неволин приказал эвакуировать в станицу Ломовскую.

— Сейчас сюда обозников пригонят, надо нам все хозяйство госпиталя погрузить, вывезти, даже раненых, сколько сможем, увезти, — завязывая мешок, Куликова окинула взглядом комнату. — Живее, Настенька, ой да не то ты делаешь, постель-то сверни и в мешок ее вот так же.

Депешу от главаря повстанцев Неволина с просьбой о помощи Погадаев получил ночью, уже перед рассветом. Хотя сборы конников, поднятых по тревоге, были скорыми, но пока они подтянулись к станичной площади, выстроились, наступил рассвет. Мороз стоял все такой же крепкий, и такая же густая морозная копоть укутывала село.

Под Федотом горячился его Савраска, колесом выгибая могучую шею, он грыз удила, рвал из рук хозяина поводья и, мелко перебирая ногами, шел боком поперек улицы.

— Товарищи! В Сретенске идет бой, — начал командир, не сходя с коня, хотя саврасый мешал ему говорить и, словно танцуя, месил ногами взбитый снег. Немалых усилий требовалось Федоту, чтобы удержать его на месте. — Я имею донесение, что белые пехотинцы, — тут саврасый всхрапнул и в дыбы, Федот хватил его нагайкой, усмевшись, продолжал, напрягая голос: — Белые пехотинцы восстали против контрреволюции, переходят на нашу сторону. — Радостный гул голосов покрыл последние слова командира; он поднял руку, призываая к порядку. — Тихо! Восставшие товарищи ждут от нас помощи! Наша задача — спешно двинуться к ним на выручку. Боевую задачу обстановка укажет на месте! Ясно? Вопросы будут? Нет. Значит, выступаем, все по своим эскадронам, живо-о! — И, чуть помедлив, вновь поднял руку: — По-олк! Поэскадронно, рысью за мной ма-арш! — и дал саврасому волю.

После того как прошли долиной Шилки верст десять, стало слышно отдаленный гул боя. Шли переменным аллюром, время от времени переводя лошадей на шаг, чтобы дать им короткую передышку. Вскоре вернулся разъезд, высланный Погадаевым для связи с повстанцами. Старший разъезда, на ходу равняясь с Федотом, доложил о результате разведки:

— Наш теперича, весь полк пехотинский! Стрельба-то? Наседают на них японцы, да ишо полк дружины! Отходят пехотинцы наши, с боем отходят: один батальон отстреливается, другой отходит, займут оборону и тех отход прикрывают, по правилам действуют!

На виду поселка Фарково встретили длинный обоз: из Сретенска вывозили госпиталь, ящики с медикаментами, тюки белья, раненых, закутанных в одеяла и японские полуушубки, из захваченного повстанцами гарнизонного цейхгауза. На передней подводе, прикрепленный к передку саней на длинной палке, трепыхался белый флаг с красным крестом посередине. Партизаны, почтительно уступая обозникам дорогу, радостными возгласами приветствовали врачей, сестер милосердия и раненых. Поговорить с ними у красных конников не было времени, близость боя властно тянула их туда, на помошь восставшим. Лишь на короткое время сбили они ход, шагом проехали мимо обоза. Но уже снова звучит зычная команда Погадаева, и передний эскадрон машиной рысью уходит вперед, за ним устремились остальные.

В этот момент на одной из подвод Егору бросилась в глаза жен-

щина в такой же шубейке, с лисьим воротником, в какой он видел в последний раз Настю! Эскадрон Егора шел уже на рысях, оглянувшись, он еще раз увидел знакомую шубейку, лицо женщины рассмотреть не успел, только подумал: «По одежде-то вроде бы Настя! Да не-ет, откуда ей тут взяться!»

А мысли его уже заняты другим, досуг тут думать о Насте, когда подана команда спешиться, развертывать эскадрон цепью, занимать боевую позицию.

После жаркого боя с японцами повстанцы отступили, заняв одно из сел Ломовской станицы. Прикрывающие отход пехоты конники Седьмого полка к вечеру вернулись в Ломы, на прежние квартиры.

В бою под Сретенском партизаны потеряли двух человек убитыми и более десятка имели раненых, в числе которых оказался и помощник Егора Топорков.

После ужина — жирные, горячие щи показались Егору особенно вкусными — он спросил хозяина, куда поместили госпиталь и раненых, доставленных сюда из Сретенска..

— Госпиталь-то? — переспросил хозяин, пощипывая жиенькую, рыжеватую бороденку. — В школу, кажись. Ну да в школу, а найти ее очень даже просто, станичное правление видел? Как раз супротив крыша зеленая.

Егор, одевшись, нацепил шашку, вышел, и первое, что увидел, был тонюсенький серпик молодого месяца над заречной сопкой. Морозило крепко, дым из труб (топились железные печки), волнистыми столбами тянулся кверху. В улицах шум, скрип ворот, конский топот, мимо Егора проехал верховой с тремя конями в поводу, еще один... Партизаны вели лошадей на водопой.

— Обросимов! — окликнул одного из них Егор. — Моего Гнедка видел?

— Видел, Митька Банщиков поить его повел,

— Скажи Митьке, чтобы ноги подбил ему. Сено есть?

— Хватит.

Школу, временно занятую под госпиталь, Егор нашел быстро. В коридоре, слабо освещенном двумя фонарями «Летучая мышь», дорогу ему загородила женщина в белом халате, с красным крестом на груди:

— Сюда нельзя!

Голос показался ему знакомым, он глянул на нее и остолбенел — перед ним стояла Настя!

Она также узнала Егора, охнув, качнулась, хватаясь рукой за стену, и упала бы, если бы Егор не успел ее подхватить.

— Настюша, милая, — не помня себя от счастья, так неожиданно свалившегося на его голову, шептал Егор почти беззвучно, трясущимися руками прижимая к себе голову любимой. А Настя и слова сказать не могла, как ухватила его за плечи и уронила голову на грудь ему, так и залилась слезами.

Как сквозь сон видел Егор подошедшую к нему женщину, в таком же, как у Нasti, белом халате. Она отняла у него Настю, что-то говорила ей ласковое, глядя по голове. Потом помогла ей надеть шубейку, ту самую с лисьим воротником, и проводила обоих за дверь на крыльцо.

Морозный чистый воздух освежил Егора, вернул ему дар речи. Пришла в себя и Настя.

— Как же это получилось-то, Гоша? — придерживая его за рукав и заглядывая ему в лицо, заговорила Настя, останавливаясь посреди улицы, — Ведь ты же там был, когда казнили вас в Тарской-то?

— Был, Настюша, был, — он говорил отрывисто, клонясь к ней, то и дело целуя. — Был... да вот, как видишь, жив остался. Сбежали мы из-под расстрела... троє нас ушло. Потом об этом, потом. Ты-то как здесь оказалась?

— Долго рассказывать об этом, да и холодно здесь. Пойдем в избу к тебе, там и расскажу.

В доме хозяина, где квартировал Егор, вместе с ним жили еще троє партизан, свободного места для спанья была лишь одна скамья, и хозяин для ночлега Егору и Насте отвел зимовье, где у него зимой жили куры, ранние ягненки, телята и поросенки. Зимовье небольшое с земляным полом, нарами и русской печкой. Хозяин сам провел туда постояльцев, зажег пузырек-коптилку, пояснил:

— Второй-то лампы у нас нету, вот мы фитильком этим и обходимся. Да вить вам тут не жить.

— Ничего-о! — Егор обвел глазами новое пристанище: зимовье такое же, как у Саввы Саввича, только много меньше и оконце одно против печи, и стола нет, в кутней половине курятник с курами, слева от двери большая плетеная из тальника мордышка, с десяток белорозовых поросенок в ней на соломе. — Ничего-о, — повторил Егор, — нам это дело привычное, было бы тепло.

— Тепла хватит. Чушку вот угораздило опороситься, только что заводили ее, насосались поросенки-то, спать будут спокойно. Дух тут, правда, хуже чем в избе, а так ничего, жить можно. Лопоти¹ для спанья вам хватит, доха вон какая, полушибуки, да и сена можно привести из сенника, а сверх холстину постелите, вот оно и ладно будет.

— Устроимся, дядя, спасибо.

А у Нasti, помолодевшей, розовой от радости, так и просилось на язык: «Дорогой ты наш хозяин, нам эта избушка твоя дороже палат белокаменных».

Много ли надо человеку для полноты счастья? Вот и Насте казалось в эту ночь, что счастливее их с Егором нет никого на белом свете. Было чего вспомнить Насте и порассказать Егору, обо всем поведала она, и о жизни в доме Саввы Саввича, в последнее перед арестом время, про детей своих, и о том, как из тюрьмы совершенно нечаянно попала она в госпиталь и как молилась она «за упокой раба божья Егория! Слушает Егор, и воспоминания минувшего роем теснятся в голове, и думает, что очень уж скучая на радости, несправедливая до ужаса была к ним судьба! И кажется ему, что судьба их похожа на ураган, захвативший его с Настей в лесу! Ураган, сокрушающий все вокруг, ломающий деревья, грозящий гибелью им обоим! Но вот пронеслась эта буря, выглянуло солнце, все вокруг стихло, легко и радостно стало обоим, а длинная зимняя ночь эта показалась им короткой! До сна ли тут при такой радостной встрече. Течет над ними ночь, и уж до утра недалеко, а они все говорят и не могут наговориться. Одно огорчало обоих — дети.

Будь бы у меня крылья, так бы и улетела к ним, — сокрушилась Настя, и снова слезы.

— Нет, Настюша, — твердо заявил Егор, — рано об этом даже и думать и попасть туда трудно и нельзя, моя милая, нельзя. Будь бы у тебя документ об освобождении из тюрьмы, а без него — как ты заявишься? Прямо волку в пасть, сама себя погубишь, и больше ничего.

— А я в Антоновку-то и не поеду, а в Верх-Ключи, к матери твоей Платоновне, пожалуй, ребятишки-то наши у нее уж? Ермоха

¹ Лопоть — одежда.

мне не раз говоривал: «Ежели какая беда, увезу тебя с ребятишками к Платоновне». На него вся надежда.

— Все равно, Настюша, и к маме тебе нельзя. Потерпи, теперь уж недолго, закончим войну, тогда и поедем в избушку нашу старую. А пока самое для тебя безопасное — находись при госпитале, люди там, сама говоришь, хорошие, а маме как-нибудь сообщим.

Первым уснул Егор, уснул сразу, не дослушав, что говорила ему Настя. А она еще посидела, перебирая в памяти события минувшего дня, а когда уснула, положив голову Егору на грудь, то увидела сон: идет она одна в лесу и нет возле нее Егора. Но вот лес впереди поредел, видно широкую, зеленую лужайку, и на ней орава босоногих ребятишек, а среди них ее Егорка! Спешит к нему Настя, а ноги не идут, отяжелели, как приросли к земле, хочет крикнуть она и не может! А ребятишки увидели ее да как завизжат и наутек!

В ужасе проснулась Настя. В мордышке хором визжали пороссята. В зимовье нахолодало, в открытую дверь клубами врывался морозный пар, виднелось посветлевшее небо. Хозяин запустил в зимовье громадную белую свинью, перевернул мордышку с порослями. Только теперь замолкли они, ухватившись за розовые соски лежащей на боку, похрюкивающей матери.

Больше суток провели Егор вдвоем с Настей, а в следующую ночь снова в седле он, снова в составе Седьмого полка ведет свой эскадрон в набег на Сретенск. Вечером на коротком совещании в доме станичного правления, где присутствовал и командир нового пехотного полка Неволин, решили напасть на Сретенск, вышибить из него белых. Условия для захвата Сретенска были подходящими, пехота красных уже заняла ближайшее к городу село, на помощь пехоте и Седьмому полку Погадаева, подойдет с Куренги Второй кавполк Абрама Федорова, а со стороны Жидкинской станицы Пятый полк Чугуевского, поэтому сил будет у красных партизан достаточно, чтобы овладеть городом.

Ближние к Сретенску сопки с восточной стороны спешенные конники Седьмого полка заняли на рассвете. Однако снять без шума заставы белых не удалось партизанам, в городе подняли тревогу, началась стрельба, с левого привокзального берега загрохотали пушки казачьей батареи. Партизаны Погадаева, рассыпавшись цепью на гребнях сопки, били залпами из винтовок. С северной стороны, вперемежку с залпами, зарокотали пулеметы красных пехотинцев; молчание было лишь на южной стороне города, не подоспели там вовремя Второй и Пятый полки красных партизан, поэтому весь огонь белые артиллеристы сосредоточили против пехоты Неволина и конников Погадаева. Первые снаряды их рвались где-то далеко в тайге, не причиняя партизанам вреда, но к восходу солнца они накрыли цель, и бурые клубы земли от взрывов гранат начали вспыхивать на сопках. У партизан появились убитые, раненые, и в это время по цепи конников покатилась команда Погадаева: «На город, в конном строю, лавой ма-арш!»

И под гул канонады партизаны бегом, с конями в поводу и с криками «ура-а!» хлынули с сопок вниз, на город. С севера со штыками наперевес пошли в атаку пехотинцы. И белые не выдержали, отступили на левый берег, теряя убитых в торосистых льдах Шилки.

Преследуя отступающих, Егор с эскадроном наметом прошел город, в ближней к Шилке улице партизаны спешились и, оставив ло-

шадей под прикрытием домов, залегли вдоль берега и прицельным огнем стали расстреливать бегущих семеновцев. Правее по берегу залегли цепи красных пехотинцев, под прикрытием их огня, Погадаев сам повел один из эскадронов в атаку, подменив тяжело раненного эскадронного командира. Прискакал туда Федот в тот момент, когда эскадрон, лишившись командира, пришел в замешательство: конники, сбившись кучей, толклись на месте, и тут, разгоряченный боем, Погадаев допустил роковую ошибку, решив атаковать противника в лоб в конном строю.

— Эскадрон, слушать мою команду! К атаке, готовься! — громовым голосом перекрыл он грохот стрельбы. С трудом сдерживая танцующего под ним Савраску, Федот развернул эскадрон лавой, на спуске к реке выхватил из ножен шашку.

— В атаку, за мной, марш, марш! — и ослабил повод.

Конь сразу же вырвался далеко вперед, с левого берега хлестнули по атакующим из пулеметов. Не слыша за собой звонкого на льду топота копыт, Федот оглянулся и к ужасу своему увидел, что конники его повернули обратно, на льду чернели трупы людей и коней. Хотел и Федот повернуть саврасого и не мог! Осатаневший конь, закусив удила и вытянув голову вперед с плотно прижатыми к ней ушами, стрелой мчался навстречу смерти! Вихрем вынес он своего хозяина на левый берег. Впереди насыпь, вагоны, пулеметные гнезда, солдаты и офицеры в желтых японских шубах.

— Сдавайтесь! — успел крикнуть им Погадаев и, уже в последний миг, увидел, как один из солдат бросил винтовку наземь, а второй почти в упор выстрелил ему в грудь. Третий схватил саврасого, повис на поводьях, еще двое подбежали, стащили с седла уже мертвого храбреца-командира! С правого берега Шилки Егор и его партизаны видели, как враги окружили их вожака, били по нему залпами из винтовок, но Погадаева, даже трупа его, так и не нашли потом.

Гак и не дождавшись, подмоги со стороны Второго и Пятого полков, красные пехотинцы отступили на прежние позиции. Следом за ними покинул Сретенск и Седьмой кавполк, командование которым принял, а затем и утвержден был командующим фронта Иннокентий Пичуев.

Глава III

После неудачной попытки красных пехотинцев отбить у белых Сретенск, в этом районе на некоторое время наступило затишье. Вскоре в село, занятое пехотинцами Неволина, прибыл сам Журавлев в сопровождении адъютанта Фадеева и начальника политуправления фронта Бородина. Ехали верхно, зная, что в пути предстоит обезжать стороной, бездорожно занятые белыми села. Как ни торопились но, выехав из Богдади ранним утром, к Шилке добрались лишь на третий день и к обеду прибыли к месту назначения. По широкой улице села Журавлев проехал шагом, с удовольствием посматривая на расхаживающих группами и в одиночку пехотинцев, одетых в одинаковые овчинные полушубки, со штыками на поясе и в набойчатых серых папахах. По красному флагу у ворот дома определили, что здесь расположился штаб полка, и, поручив коней ординарцам, Павел Николаевич с Бородиным и адъютантом Фадеевым прошли в дом

в комнате, отведенной под штаб, находились трое — командир полка Неволин, молодой, стройный брюнет в форменной гимнастерке

с заплечными ремнями; рядом с ним за столом сидел начальник его штаба — рыжеусый, в очках, и тут же был черноглазый, бритоголовый командир одного из батальонов.

О Журавлеве Неволин слышал много, а видеть его ему еще не приходилось, но уже по внешнему облику, энергично-властному выражению лица и манере держаться, он безошибочно угадал, что это и есть командующий фронтом. Тут сказалась у Неволина многолетняя воинская выучка: узнав Журавлева, он мгновенно поднялся из-за стола: «Встать, смироно!» — и, хлопнув утами нога об ногу, вытянулся во фронт.

— Вольно! — приложив руку к папахе, Павел Николаевич приветствовал командиров еще непривычным для них:

— Здравствуйте, товарищи!

— Здравия желаем, товарищ командир! — в голос ответили все трое.

Журавлев представил им Бородина, Фадеева и после обмена рукопожатиями спросил Неволина:

— Вы, очевидно, командир полка?

— Так точно, товарищ командующий, командир революционного стрелкового полка Неволин! — И, следуя воинской субординации, отрапортовал: — В полку две тысячи сто восемьдесят штыков, пулеметная, учебная, нестроевая команды, госпиталь, духовой оркестр, а также команда связи, разведчиков и приданная полку полевая батарея двухорудийного состава!

— Чудесно, товарищ Неволин, чудесно! — сухие, лаконичные слова рапорта звучали в ушах Павла Николаевича приятнее всякой музыки. Радостно взъявленный, Журавлев обнял и расцеловал оторопевшего Неволина.

Пока в штабной комнате шли разговоры, начальник штаба, повинуясь еле заметному движению бровей Неволина, вышел на кухню договориться с хозяевами насчет обеда.

Хозяева почевали гостей горячими пельменями, Неволин достал из чемодана бутылку водки, но прежде чем поставить ее на стол, вопросительно глянул на Журавлева:

— Позвольте, товарищ командующий?

— Называйте меня просто по имени, а насчет того, чтобы выпить, — он, улыбаясь, развел руками, — думаю, по чарочке с морозу делу не повредит! Как вы полагаете, товарищи?

— Конечно, не повредит, скорее наоборот! — кивнул головой Фадеев, а Бородин даже усы энергично разгладил, предвкушая удовольствие.

— Такое пополнение к нам, как с неба свалилось, как тут с радости не выпить? Грех будет великий, да и копыто обмыть командирам новым тоже полагается!

Все засмеялись, Неволин наполнил водкой пузатые рюмки.

— За новые успехи! — поднял рюмку Журавлев. — За победу нашу полную и скорую, за власть Советскую!

Все встали, чокнувшись, выпили, принялись за пельмени.

От второй чарки Журавлев отказался, за обедом о многом поговорили и весь остаток дня употребили на ознакомление с новым полком, побывали на батарее, выступали на солдатских митингах, которые, за неимением подходящих помещений, провели прямо на улицах.

А двумя днями позже белые, гарнизон которых в Сретенске усилился двумя батальонами пехоты, подошедшими с верховьев Шилки, и казаками их 9-го полка, повели наступление на село, занятое крас-

ными пехотинцами. Но внезапного налета у них не получилось, у Журавлева отлично действовали разведка и связь с подпольной большевистской организацией Сретенска. Белые полковники еще только готовились к набегу, а Павел Николаевич уже знал об их планах и намерениях и надлежащим образом подготовился к обороне.

Бой начался на рассвете. Как и предполагал Журавлев, белые повели наступление на село с двух сторон. Но сопки, на которые пошли они приступом, уже были заняты красными пехотинцами, они дружными залпами ударили по своим бывшим соратникам и такрезанули по ним из пулеметов, что в момент обратили их в бегство! А у красных еще и не все их силы были приведены в действие, один батальон находился в резерве. Журавлев, опасаясь, что белые кружным обходом могут ударить на село с тылу, приказал резервному батальону занять оборонительную позицию. Промежутки между батальонами пехоты заняли партизаны Седьмого полка.

Журавлев в сопровождении четырех ординарцев выехал на позиции затемно. Когда захлопали выстрелы, он был уже у намеченной им высоты. Оставив ординарца с конями у подножия сопки, Журавлев легким охотничим шагом пошел вверх по косогору, за ним устремились сопровождавшие его три ординарца. Тяжелый на ногу Кочнев еле спасался за ними, оскальзываясь на кручах, шел, опираясь на винтовку. Снег, подтаявший от вчерашней оттепели, за ночь покрылся слоем наста, похрустывающего под ногами.

— Ох, не могу... — задыхаясь, с трудом выговорил Кочнев и, ухватив за рукав Распопова, остановился, — не могу... идите туда... за ним... а я отдохну чуть, — и жадно стал хватать зачерпнутый в пригоршню крупнозернистый заледенелый снег.

Рассвело, когда Кочнев поднялся на вершину горы, где на ровной открытой площадке стоял Журавлев. В полушубке с меховой оторочкой, в унтах и серой папахе, он то и дело поднимал бинокль, наблюдая за ходом боя. А Кочнев и невооруженным глазом увидел, как красноармейцы Неволина отбили первую атаку белых и как их пулеметчик, прикрывая отступление своей пехоты, золотистыми точками строчил из «гочкиса» в сумеречную темень наступающего утра. «Та-тата-тата-та» — доносился оттуда перестук вражеского пулемета.

К восходу солнца белые, очевидно, подготовляя новую атаку, начали бить по сопкам левобережья артиллерийским огнем. В бинокль Журавлев хорошо видел озаренные багрянцем первых лучей восходящего солнца позиции своих пехотинцев, видел, как там начали вздыматься сизо-бурые клубы земли от взрыва снарядов. В ответ заговорили пушки красных батарейцев, удачным попаданием они заставили замолчать одно из вражеских орудий, пальба их призатихла, но вскоре возобновилась с новой силой. Снаряды белых стали рваться и на сопках правобережья, и на той высоте, где на самом видном месте стоял Журавлев. Наводящий ужас, все нарастающийвой снарядов прижал пехотинцев к заснеженной земле. Снаряды рвались и близко, и далеко, один лопнул саженях в сорока от Журавлева, ошметками мокрого снега и песка обдав лежащих за гребнем сопки ординарцев. Когда копоть от взрыва улеглась, Кочнев поднял голову и увидел, что Журавлев стоит все там же, рукавицей охлопывая пыль с полушиубка.

— Бежимте в воронку, там лучше... второй-то раз не залетит туда... — прохрипел Кочнев, рывком поднимаясь с земли.

Глубокая, потому что взрыв произошел в сухом песке, воронка еще дымилась, когда в нее собрались ординарцы.

— Калган нам тут всем, — белый как полотно, от страха, гово-

рил молодой ординарец, пластом прижимаясь к задымленному грунту ямы.

— Не сепети, без тебя тошно!
 — Второй раз снаряд в воронку никогда...
 — Господи! Опять садануло!
 — Кочнев, ты позвал бы Журавлева-то сюда, убьют его там!

Кочнев выбрался из воронки и, пригибаясь за гребнем сопки, побежал к Журавлеву:

— Пал Миколаич, — зачастил он скороговоркой, подбежав к нему вплотную, — уйди ради бога, убьют! — и сжался в комочек под зловещим воем снаряда, который, как показалось ему, летел прямо на них. Затем вздохнул с облегчением: снаряд разорвался далеко левее.

А Журавлев как ни в чем не бывало, слегка склонившись и положив блокнот на колено, что-то торопливо писал.

— Пал Миколаич, уходи... — начал было Кочнев, но Журавлев и слушать не стал.

— Ерунда, товарищ Кочнев, в одного стрелять не будут!

«В тебя-то будут и в одного», — подумал Кочнев, принимая из рук Журавлева бумажку.

— На батарею, мигом, — приказал Журавлев и снова вскинул бинокль.

Сунув бумажку в рукавицу и слыша вой нового снаряда, Кочнев побежал под гору, но не успел он сделать и десятка шагов, как страшный взрыв звоном отозвался у него в ушах, тугой толчок воздуха в спину кинул его лицом и грудью об мерзлую землю, вышиб из сознания. Очнулся он тотчас же, чувствуя боль в груди и тяжесть во всем теле, лицо залито кровью, он вытер его концом матерчатого кушака, и левым глазом, — правый затянуло разбухшим веком, — увидел, как мимо него два санитара торопливо пронесли раненого, кровь просочилась сквозь полотняные носилки, алой черточкой пролегла на снегу. Лица раненого Кочнев не разглядел, но по знакомому полушибку с биноклем на груди угадал, что это несут Журавлева.

— Пал Миколаич! — напрягая голос, крикнул ординарец вслед санитарам, но те, даже не оглянувшись на крик, убыстроили ход. Чувствуя, что ноги у него недвижны, как в параличе, и он не в силах подняться, Кочнев на руках пополз вслед за санитарами.

Бой закончился после полудня, белые отступили. На сопках замаячили наблюдатели, да по одному взводу от каждой роты остались на прежних позициях. Эскадрон Егора уходил с позиции последним. Партизаны уже знали, что Журавлев тяжело ранен, поэтому и сумрачны были их лица, не радуют и успешно отбитые атаки противника. Очень уж велика была у них вера в полководческий талант Павла Николаевича, и в разговорах партизан между собою Егору часто приходилось слышать:

— Журавлев? Это, брат, сила!
 — Уж он-то как сказал, так и будет.
 — Одно слово, орел!

Егор и сам был о нем такого же мнения и тяжко переживал, что вдруг да не выживет он теперь. Кто его заменит? Нету у нас больше таких, да и не будет, наверное.

Обуреваемый такими мыслями, шагом вел свой эскадрон Егор по главной улице села.

К этому времени резко изменилась погода, уже второй день стоит оттепель, ярко светит февральское солнце, пропитанный талой водой снег грязными ошметками разлетался из-под копыт коней, капелью

стекал с крыш. Около большого дома с крыльцом в улицу грудятся люди, оседланные кони. Егор, догадываясь, что это квартира Журавлева и, очевидно, сюда привезли его с поля боя, подозревал к себе командинра первого взвода:

— Веди эскадрон дальше, напротив школы остановку сделай. Там меня и дожидай.

— Ночевать-то где будем?

— Узнаю у командинра нашего, он тоже здесь, видать, конь-то его вон у ворот привязанный!

Эскадрон двинулся дальше. Егор, привязывая коня к забору, подумал: «А я-то куда наладился? К Павлу Николаевичу меня не пустят, там небось большие чины собрались? — он еще уныло посмотрел на окрашенное охрой крыльцо, на дверь, обитую черной kleенкой, и, упрямо тряхнув головой, решился. — Пойду! Мне ить ишо и с Пичуевым поговорить надо, узнать, какой от него приказ нам будет».

В передней большого купеческого дома людей набралось более десятка: адъютанты, ординарцы, командинры, среди которых были Неволин и командинр Седьмого полка Пичуев. Никто из присутствующих не курил, не разговаривал, и такая напряженная стояла тишина, что сквозь филенчатую дверь был слышен сдержанный тихий стон Журавлева и мягкий воркующий баритон фельдшера Пешкова. Сильно пахло йодоформом и карболовой кислотой. Приосмелев, Егор тихонько пробрался к двери, которая вела в комнату больного. Как раз в этот момент, оттуда на цыпочках вышел Бородин, он поманил к себе пальцем ординарца, отошел с ним к окну. Этого Егору было достаточно, чтобы в щель неплотно прикрытой двери увидеть Журавлева: бледный, словно мукой припудренный от большой потери крови, Павел Николаевич лежал на спине и, полузакрыв глаза, часто, прерывисто дышал, сдерживая стоны. Склонившийся над ним фельдшер Пешков что-то говорил, кивал головой, у изголовья кровати, потупившись, стоял адъютант Фадеев, рядом на табуретке сидел комиссар Плясов. только вчера прибывший из Богдати к командинру фронтом.

Все это Егор успел рассмотреть, пока Бородин что-то говорил ординарцу, затем он передал ему свернутую вчетверо бумажку, а когда повернулся обратно, его остановил Пичуев:

— Как он там, — спросил, глазами показывая на дверь, — выживет?

— Худо дело, — жестом безнадежности махнул рукой Бородин. — Кость выше колена... раздробило, — еще что-то сказал Бородин, но Егор не слышал, отошел от двери.

Он постоял еще немного и следом за Пичуевым вышел из дома, с папахой в руке. Надевая ее уже на крыльце, спросил командинра:

— Куда мне прикажешь?

— В Ломы, — сказал тот и отвернулся. Навалившись грудью на перила, повторил: — В Ломы, туда, ушел полк.

По голосу его, по мрачному виду понял Егор, что у Журавлева дела плохи и не утерпел, с новым вопросом обратился к командинру полка:

— Бородин-то што тебе говорил?

— Операцию делать будут!

— Операцию! — охнул Егор. — А кто?

— В том-то и дело, кто? И чем? Э-э, да что там говорить, угробят, не жилец наш вожак! — и потупился, закрыл руками лицо. Боеевой командинр, всякого повидавший за две войны, не хотел, чтобы люди видели его слезы.

— А чего в Ломы не везут? Вить там госпиталь у нас!

— В Боты перевели его.

— В Боты-ы, — поникшим голосом протянул Егор, а про себя подумал, — «Значит, и госпиталь туда же перевезли, и с Настей проститься не довелось».

Глава IV

Печальное послание во все полки и отряды красных партизан Забайкалья рассыпал с конно-нарочными гонцами адъютант Журавлева Фадеев. В коротком, отпечатанном на машинке сообщении говорилось, что «двадцать третьего февраля 1920 года, в семь часов семь минут скончался от раны дорогой наш командующий фронтом Павел Николаевич Журавлев», что тело его будет предано земле в Зэрне Богдатской станицы. Сообщалось также, что, выполняя волю покойного, новым командующим фронтом назначен Яков Николаевич Коротаев.

В тот же день Егор получил приказ сопровождать со своим эсакроном гроб с телом командующего в Зэрн, к вечеру он уже был в Ботах.

И снова они вдвоем с Настей, хозяева отвели им для ночлега горенку, снова зимняя ночь показалась им короткой, столько было разговоров, воспоминаний. Рассказала Настя и о том, как в госпитале все жалели Павла Николаевича, и печальный рассказ этот закончился вздохом:

— Говорят, что теперь без Павла Николаевича гибель всем.
 — Кто это тебе напел такое?
 — Раненый один, скоро на выписку пойдет. Хозяйка наша то же самое говорит.

— Это которая нас чаем поила?
 — Она.
 — Какова ведьма! Радовалась небось?

— Да нет, она хорошая старушка, ты ее не ругай, Гоша. А разговоры-то всякие ходют, и мне любопытно знать, как оно дальше-то будет. Вот ты говоришь конец скоро войне этой, а вдруг да не получится что-нибудь? Ведь эдак-то уже бывало, помнишь?

— Э-э, теперь так не получится. На днях у нас в школе собрание было, Бородин рассказывал нам и по карте показывал, что Советская Россия на всю Сибирь распахнулась и армия красная, советская, уже по эту сторону Байкала на Читу движется. На Амуре тоже Советская власть, вот только в Чите белые закрепились да по железной дороге, где войска их находятся, только и всего. Теперь эту местность читинской пробкой называют, вышибем ее, и конец войне! Пойдем мы домой, хорошо бы угодить, чтобы вместе нам обоим. Приедем — и на второй же день в ревком, так называл Бородин новую-то власть. Заявимся к ним и потребуем, чтобы записали нас как положено и, хоть поздновато, мало-мальскую свадьбушку сыграем.

— А Семён, ведь я с ним венчана?
 — Теперь, Настюша, все пойдет по-новому.
 В таких вот разговорах, мечтах и надеждах провели они эту ночь, и никому из них в голову не пришло, что эта встреча их будет последней в этом году.

Утром, едва начало светать, партизаны Егорова эскадрона уже стояли в конном строю перед зданием госпиталя. Воинских частей в селе не было, у крыльца толпились местные жители, санитары, дру-

гие работники госпиталя. Бородач в добротной шубе еле сдерживал тройку лошадей, запряженных в сани-розвальни.

Когда гроб с покойником стали выносить из госпиталя, Егор скомандовал:

Эскадрон! Смирно-о! Равнение налево, слуша-ай, на кара-ул!

В сумеречном свете наступающего утра холодно сверкнули обнаженные шашки конников и замерли, отдавая воинскую почесть покойному. В розвальни сельчане наложили сена, поставленный на них гроб крепко привязали веревками: путь предстоит далекий, ехать придется не трактовой дорогой, а через таежные села ухабистыми, ма-лонаезженными проселками, а кое-где и вовсе без дороги. Потому и снарядили эту повозку так, чтобы в пути покойному Павлу Николаевичу было не слишком тряско, чтобы не кидало его из стороны в сторону на ухабах.

Среди провожающих стояла Настя, все в той же шубейке и пуховом платке, чудом сохранившимся во время ее скитаний по тюрьмам.

Вот и отправился провожаемый прощальными возгласами, плачем женщин, в далекий путь полководец забайкальских партизан. Доставят его лихие конники в Богдатскую станицу, откуда начал он, возглавив повстанческое движение, свой боевой победный путь, где под его руководством выстояли и победили партизаны в неравном богдатском бою. Теперь туда спешат проститься с ним эскадроны кавалеристов, пехотинцев, батарейцы, жители окрестных сел. Многолюдными будут эти проводы. Гроб с телом установят на пушечном лафете и под звуки похоронного марша проводят в последний путь того, кто жизнь свою отдал за свободу и счастье народа.

Глава V

Дружная весна наступила в Забайкалье в 1920 году. Травой порадовал хлебопашцев вешний Никола, а во второй половине мая, даже в северных районах области, сопки пламенили розовым цветом багульника. Как раз в это время по таежным дорогам в сторону буйной реки Витим двигался конный отряд в полсотни вооруженных всадников.

Ехали конники проселками мимо редких в этих местах деревушек, замоек, еланей, где чернели полоски свежей пахоты. На одной из пашен, недалеко от дороги, работали двое: за плугом шел пожилой бородач в сарпинковой рубахе и соломенной, почерневшей от времени шляпе, три пары быков погонял белобрысый, с облупившимся носом подросток лет пятнадцати.

— Цоб, Мишка, цо-о-об! — покрикивал он на быков осипшим от натуги голосом, крутя над головой ременным на длинном черне кнутом. — Цо-обэ!

Он первый увидел всадника, рысившего по дороге мимо их пашни, за ним еще трое, и вот уже целая колонна их показалась из-за мыска.

Дядя Плюха! встревожился погонщик и, приотстав от быков, поравнялся с пахарем. — Гляди-ка, казаки едут какие-то.

Пахарь глянул в ту сторону, куда показывал мальчик, остановил быков:

— Тпру, пусть отдохнут, посмотрим, что это за войско такое?

Уж не бароновцы ли это, каратели? — струхнул погонщик, опасливо глядя на конников. — Как бы они к нам не заявились?

Шибко мы им нужны! Чудак! — Бородач присел на градиль

плуга, достал из-за голенища ичига берестяную табакерку и, захватив из нее щепоть молотого табаку, положил его за губу.

А конники все ближе и ближе, вот они уже с пашней поровнялись, проезжают мимо.

— Да это же красные, большаки! — безошибочно определил пахарь. — Видишь, ни погоны у них на плечах, ни кокардов на фуражках, а вон у одного красный бант на груди. — И, провожая всадников взглядом, продолжил: — В далекий поход направились, видать!

— А как ты угадал, что в далекий? — удивился погонщик.

— Чего же не угадать-то! Видишь, кони завьючены по-походному, сумы седельные, саквы тую набиты, шинели, попоны в тороках, да и заводных коней вон сколько со выюками! В ящиках-то наверняка патроны, даже пулемет вижу зачехленный, к седлу притороченный. Я ведь и сам две войны отломал, что к чему понимаю.

Старый казак не ошибся, отряд этот и в самом деле отправился в далекий путь, повел его большевик Яков Жигалин, тот самый выборный командир казачьего полка, что два года тому назад устанавливал в Чите Советскую власть. Высокого роста, худощавый, чернобрюхий казачина ехал впереди на гнедом с прозвездью бегунце, зорко посматривая по сторонам. Трофейный английский френч его перекрещивали на груди ремни от шашки и короткого японского карабина. В спешке, в хлопотах по поводу приготовления к походу он даже фуражку не успел приобрести, а потому и ехал теперь в серой, видавшей виды папахе.

Большую и ответственную задачу возложил на Жигалина Военный Совет ИРА (Народно-революционной армии): организовать и возглавить экспедицию в пятьдесят человек красных командиров и политработников, провести их тайгой в обход Читы на Амур, где находился со своим штабом Дмитрий Шилов — командующий фронтом красных партизан Амура и Забайкалья. В Военном Совете понимали всю трудность и опасность задуманной операции, но иного выхода не было. Хотя к этому времени Западное Забайкалье было освобождено от белогвардейщины (так же, как и полностью Амурская область), а революционные части 1-й Иркутской дивизии находились на подступах к Чите, в самом городе прочно засел атаман Семенов. При помощи японских дивизий и остатков колчаковских армий из разбитого краппелевского корпуса ему удалось усилить свое войско, закрепиться в Чите и в захваченных им южных и центральных районах области, отрезав таким образом весь Дальний Восток от Сибири. Создалась так называемая «Читинская пробка». Япония в достатке снабжала Семенова оружием, боеприпасами и воинским снаряжением, всем тем, чего так не хватало красным партизанам Амуро-Забайкальского фронта. Но самым большим недостатком у партизан было отсутствие опытных, знающих военное дело командиров и политкомиссаров, вот почему и была снаряжена эта таежная экспедиция.

Отряд у Жигалина получился боевой, дружный, хотя и очень разнородный по составу: тут и пехотные командиры Красной Армии, горняки черемховских угольных копей, казаки и моряки. Многие из них и на коне-то ехали впервые, мучились от неумения сидеть в седле, нараскоряку ходили к концу дня на бивуаках. Больше всех страдал от этого чех Бурынь, бывший начальник штаба пехотной дивизии, человек громадного роста, грузный, широкий в плечах. Жигалин и коня подобрал под стать Бурыню: большого, донских кровей. Садиться на дончака помогал Бурыню Григорий Чепизубов — забайкальский казак Улятуевской станицы, он же и учил незадачливого всадника правилам верховой езды. Однако советы Чепизубова плохо осваивались

Бурынем; при езде рысью он, держась за поводья обеими руками, откидывался назад, нелепо колыхаясь всем телом, и часто спешивался, предпочитая идти пешком. А когда отряд переходил на рысь, бежал рядом с конем, держась за стремя. В это утро Бурынь рассмешил весь отряд, вздумав сесть на коня с пня без помощи Чепизубова. Жигалин видел, как он, возвышаясь над конем, ухватился за луку и, зацепив ногой за выюк, кулем перевалился через седло и плюхнулся в мокрый от росы песок.

— Не можна так ехать, совсем не можна! — чуть не плача с досады, бормотал он с ударением на последнем слоге, отряхиваясь от песка. — Товарищ Яков, устрой мени, пожалуйста, какой-нибудь паршивый повозка!

— Нельзя, товарищ Бурынь, какая же езда на повозке в тайге! Там и дорог-то нету никаких. Ничего-о, привыкнешь, дело это нехитрое.

В пути Бурынь ехал рядом с Жигалиным, слушал наставления Якова, пытался подражать его посадке на лошади, а тот, с детства приученный к седлу, сидел в нем, как впаянный. Когда переходили на рысь, он, чуть клонясь вперед и слегка приподнимаясь на стременах, оглядывался на Бурыня, пояснял:

— Вот так надо, во! Оно и коню легче и самому хорошо!

Поднялись на небольшой, заросший молодым березняком перевал, откуда видно деревеньку, две улицы которой растянулись вдоль речки. Здесь в ожидании высланного вперед разъезда Яков остановил отряд, в полевой бинокль принялся рассматривать деревню и ее окрестности. Люди спешились, разнозданные кони щипали молодую травку, зеленевшую по обе стороны дороги, влево и вправо от нее молодые кудрявые березки утопали в сплошном цветении багульника, прямым ароматом которого был густо напоен воздух.

— Эка, паря, дух-то какой от багулу приятственный, прямо-таки мед! — заговорил Чепизубов, с конем в поводу подойдя к Жигалину. — И до чего же его много везде! Куда ни глянь — вся тайга как в заплатах розовых!

— Угу, — мотнул головой Жигалин, продолжая оглядывать в бинокль уходящую вдаль широкую падь.

Чепизубов, оглянувшись на конем, тронул Якова за рукав гимнастерки:

— Слушай-ка, Яков Палыч, как фамилия того тонконогого в галифах? На сивом-то коне который?

— На сивом коне? — оторвавшись от бинокля, переспросил Яков. — Срывцев его фамилия, а что?

— Врет он, подлюга! Офицер он, сотник, в нашем первом Читинском полку был, в четырнадцатом году у нас появился. Меня вскоре ранило тяжело в бою под Бродами, а после госпиталя во второй Аргунский полк перевели, так что я с ним недолго побыл, а обличье его запомнил очень даже хорошо, фамилию только забыл... Такая еще простецкая, вроде Петров, Прокофьев, но не Срывцев!

— Черт его знает, — пожал плечами Жигалин, — по документам Срывцев ротой командовал, рекомендация из штаба дивизии.

— А ты ихним рекомендациям нешибко-то верь. Они, эти всякие подобные контрики, и в штаб пробраться могут.

— Все может быть, так что присматривать надо за ним.

— Обязательно даже, я с него глаз не сведу. — И, помолчав, заговорил о другом: — Ночевать-то где будем?

— В деревне придется.

— Зря. Вон какая благодать кругом, самая ночевка в поле, где-

нибудь у речки, милое дело! Кони бы рядом с нами да и сами в кучке, в случае тревоги какой, хлопот меньше.

— В деревне-то мы сами сыты будем и коней овсом накормим. Экономить надо, продуктов-то у нас не густо.

— Тайга прокормит в случае чего.

— На тайгу, брат, надейся, а сам не плошай.

И дальше в пути, где только представлялась возможность, норовил Яков ночевать в селах, экономя запас продуктов, а коней надеваливая овсом. В селах многое слышались путники о крутом характере своим Витима и на шестой день похода увидели его воочию, залюбовались рекой, сгрудившись на крутом яру правобережья.

Витим, о коварстве которого много бытует рассказов в народе, начало свое берет в том же хребте, что и спокойный Баргузин, несущий свои воды к богатырю Байкалу. Витим поначалу так же устремился на юг, но, отрезанный от Баргузина кряжистым горным водоразделом, не стал он пробиваться к Байкалу, а, встретив на пути такую же своимравную, как и сам, реку Зюзю, слился с нею воедино и круто повернул к востоку. Тысячеверстная, нехоженая, не тронутая человеком тайга раскинулась по обе его стороны, прикрывая собою горные хребты и скалы. Много больших и малых речек принимает в себя Витим, и там, где они впадают в него, горы как будто раздвигаются, становятся положе, могучие кедры, сосны, даурские лиственницы вплотную приближаются к реке, и обнаженные корни их, волнуясь, ласково лижет Витим. Тут он вроде затихает, становится спокойнее, но, как только попадает в теснины, где голые отвесные скалы сжимают его с обеих сторон, вновь свирепеет и, как дикий необъезженный конь, рвется вперед, потрясая белопенной гривой, с оглушительным ревом кидается на клыкастые камни порогов. Немало погибло на этих порогах смельчаков, что пытались проплыть здесь на плотах. Однако путь на восток преградил Витиму Яблоневый хребет, и буйный богатырь, словно устав от борьбы с каменными гигантами, постепенно сворачивает на север, а затем, образуя как бы большую подкову, потечет к западу, чтобы там воссоединиться с многоводной Леной.

Жигалину с его отрядом предстояло дважды пересечь Витим, ибо обойти его стороной было невозможно, слишком уж дики и непроходимы скалистые хребты правобережья. С яра, где находились Жигалин и его спутники, было видно большое село Романовка, на реке вдоль берега чернели лодки жителей, оттуда по зову вновь прибывших отчалил к ним паром. Когда паром пристал к берегу, Жигалин спросил паромщика, нет ли в селе каких-либо частей.

— Были какие-то, — коричневый от загара паромщик, седенький старишок в полотняной рубахе, сощурившись, оглядел приезжих и добавил. — белые, кажись, в погонах. С неделю тому назад уехали.

Конники, укрепив паром, начали заводить на него нерасседленных лошадей. Паромщик торопил их, с тревогой поглядывая на реку.

— Живей, ребятушки, живей! Прибывать начал Витим наш батюшка! Видать, дожди большие прошли в верховьях-то, успеть надо переправиться. Он вить такой, как взыграет, так с ним шутки плохи. Злой, оборони бог, злой!

«Чего так убоялся старик? Не пойму», — подумал Жигалин, глядя на толстый из витой проволоки канат, перетянутый через реку и на берегу прочно прикрепленный к столбам. От парома к канату тянулся толстый буксир, с роликом на конце. При переправе паромщик лишь перелаживал руль в ту или иную сторону, и течение гнало па-

ром к тому или другому берегу. Много в этот день сделал рейсов стажер на своем суденышке, пока перевез всех жигалинцев. Они усердно помогали ему удерживать руль в нужном положении, к вечеру перевправу закончили.

— Слава тебе господи успели, переправились по-хорошему, — сняв с головы старенькую, выгоревшую на солнце фуражку, стажер истово перекрестился на восток и, приняв от Жигалина плату за перевоз, вздохнул, — повезло вам, ребятушки, прям-таки коневый фарт! Опоздай вы хоть на один денек, даже на полдня, и хана, пришлось бы куковать на том берегу, пока вода бы не спала, а это могло и на неделю затянуться!

— А что, по большой воде и паром не ходит?

— Что ты, мил человек! — удивился стажер наивности незнакомца, — вить это же Витим! На него аж страшно смотреть, как загудит-то он в полную силу. Боюсь, не сорвало бы паром с буксиру! Такое бывало не раз, потому и держим на такой случай запасные паромы. Во-он они лежат высоко на яру. Ну да бог милостив, может, на этот раз нешибко взыграет!

Утром чуть свет, гонимый любопытством, Жигалин поспешил на берег к Витиму и не узнал его! Так изменился он за ночь. Вспухший вровень с высоким берегом, затопив низины, с бешеною скоростью гнал он мутные потоки, где, пенясь, кружились глубокие воронки. То тут, то там вынырнет из воды громадное, вырванное с корнем дерево, махнув зеленою кроной, исчезнет, и уже далеко внизу, вынырнут корявые извины его черных корней. Сбылось опасение старого паромщика: паром его сорвало, унесло невесть куда, лишь буксир от него одиноко свисал с каната на середине реки.

— Вот это да-а! — воскликнул Жигалин, выходя на берег. Восхищаясь грозной стихией, он мысленно сравнивал ее с революцией, с мощным подъемом восставшего народа. — Лавина, такая же грозная лавина, все она сметет на победном пути своем и, как вот эти деревья, с корнем вырвет остатки угнетателей.

Вечером этого дня он записал у себя в объемистой тетради, с kleenчечными корочками, которую назвал дневником.

«6 июня 1920 года. Какая досада, придется пробыть здесь дня три, а то и больше, ждать, когда вода пойдет на убыль! Ведь через несколько дней придется снова переправляться через Витим, а по такой воде это немыслимо. Главная-то беда в том, что сел-то нету там, вряд ли и жилье какое встретишь, придется плоты сооружать. Проклятие, люди наши от безделя здесь изнывать будут, а они так нужны теперь партизанам Шилова. Зло берет, хоть волком вой с досады, Одно утешение, что население здешнее относится к нам благожелательно, и коней овсом надоваливаем, и сухарей запас пополнить сулит поселковый атаман, он советует подождать дня три. Ничего не поделаешь, ждать придется, как говорится: и не привязанный да визжи».

Глава VI

Шифрованную телеграмму из Верхнеудинска о таежной экспедиции Шилов получил в первой декаде июня, несказанно обрадовался столь приятному сообщению. С нетерпением ждал он прибытия жигалинцев, но шли дни, недели, а о них ни слуху ни духу, и радостное настроение Шилова испортилось. На смену ему пришло беспокойство, тревога за судьбу товарищей из экспедиции, — где они? Уж не случилось ли с ними беды? Эта новая забота вплелась как бы еще одним

горьким цветком-лютиком в тот букет трудностей, что свалились на голову Шилова. Их, этих трудностей, оказалось гораздо больше, чем он предполагал, когда партизаны избрали его командующим Амуро-Забайкальским фронтом. Мало того, что у него не было никакого интендантства, запасов продовольствия, воинского снаряжения и боеприпасов, не было средств связи! Телеграммы в Верхнеудинск правительству ДВР он ухитрился посыпать через Китай и Монголию, и не было уверенности, дойдут ли они вовремя до адресата. Теперь уж не в диковинку было, что командовать эскадронами, даже полками партизаны избирали малограмотных, а иногда и вовсе неграмотных фронтовиков. Но главной бедой был недостаток политработников, которые особенно нужны были именно теперь, после создания ДВР — Дальневосточной Республики, — ибо не все партизаны понимали всю важность этого мероприятия. В полках усиленно распространялись враждебные революции толки: «Не нужен нам буфер!»

— Воевали за Советскую власть, а теперь буфер какой-то объявился, сбоку припёку!

— На готовенько заявились!

— Не желаem! Обман!

— Будь бы живой Журавлëв, по-другому бы дело было!

— Тот бы не позволил.

Понимая опасность таких настроений, Шилов, не зная покоя ни днем ни ночью, мотался по фронтам, вызывал к себе командиров частей и фронтовиков-коммунистов, растолковывал им, что такое «красный буфер», выступал на полковых собраниях. Обстоятельства требовали появления командующего и в Забайкалье, в партизанском корпусе Коротаева. Так и не дождавшись жигалинского отряда, Шилов телеграммой вызвал с фронта комиссара Первой амурской кавдивизии Атавина, которого знал не только как земляка, казака Копунской станицы, но и по совместной работе в полковом комитете в 1917 году.

Утром Дмитрий проснулся как обычно, еще до восхода солнца, умывшись холодной водой, прошел из своего купе в штабной вагон. Там еще было пусто, работники штаба спали в соседних вагонах, лишь наружный часовой, с винтовкой медленно прохаживался вдоль штабного поезда. Приглаживая рукой волнистый темно-русый чуб, Дмитрий остановился у окна, залюбовавшись утренним пейзажем. Из окна ему виден был угол станционного здания, а за ним небольшой поселок, на нем еще лежала утренняя тень от горы, но кудрявые столбы дыма уже порозовели под лучами восходящего солнца. За селом зеленеет широкая луговина, в зарослях тальника угадывается речка, а дальше горы, тайга, словно зеленый волнистый океан, раскинулась она вширь до затянутого сизой дымкой горизонта. Тайга! Как любил ее Дмитрий с детских лет, и теперь нахлынула на него волна воспоминаний того времени, вытеснив из головы мысли о затерявшейся где-то там жигалинской экспедиции. Вспомнились юношеские годы, летние каникулы, когда учился он в реальном училище, Нерча, старый рыбак Прокопий Михалев, по уличному Проня Горчен. Любил Дмитрий слушать охотничьи рассказы деда, ходить с ним на Нерчу рыбачить. Так и видится Дмитрию широкий плес в излучине Нерчи: сидит Митя под кустом боярышника, недалеко от деда, внимательно следит за двумя удочками, а перед дедом торчит их над водою штук пять. На зеркальной глади глубокого омута недвижно лежат камышовые поплавки. Но вот один поплавок чуть дрогнул, раз-другой, нырнул Дмитрий проворно подсек, и сердце у него зашлось от радости, когда потянул из воды добычу, миг — и вот она, сверкнув на солнце серебристой чешуей, тяжко шлепнулась, затрепыхалась на песке.

— Деда, смотри! — Митька в момент снял с крючка красноперую рыбину. — Здоровяк-то какой!

— Какого, брат, сазана добыл! Ай да Митька, молоде-ец! — улыбаясь в широченную дремучую бороду, дед одобрительно качает кудлатой головой и, как всегда, заканчивает прибауткой. — А воопче-то Федот да не тот, тот ишо в воде остался.

Воспоминания Шилова прервал звук шагов, и в вагон, звякнув о железную дверь шашкой, вошел Атавин:

— Раненько поднимаешься! — среднего роста, крепко сложенный, круглолицый Атавин поздоровался с Шиловым за руку, осведомился: — Чего вызывал?

— Дело важное. — Шилов присел возле стола, жестом пригласил сесть комиссара. — Садись да расскажи, как у тебя дела в дивизии?

— Пока что затишье, готовимся к новым боям.

— Об этом знаю, настроение как у бойцов наших?

— Да что настроение, известное дело, волнуются люди, недовольство высказывают.

— Насчет буфера?

— Ну да. Главная беда наша в том, что на постой в селах-то к зажиточным хозяевам людей своих ставим! К бедняку, у которого своих ребятишек кормить нечем, не поселишь. А богачи этим случаем пользуются, нашептывают партизанам: «Где ваша Советская власть? Обманули вас комиссары». Недавно иду по улице вечерком, вижу партизаны наши, человек пять, сидят, разговаривают, меня увидели и разговор оборвали. Подошел к ним, поздоровался, спрашиваю: «О чем беседа, товарищи, чего замолчали?» Переглянулись они, а один из них говорит: «Старичок тут объяснял нам по библии, толкует, что в обратную нас потянули, от Советской власти отступились, к буферу попятались, так оно и дальше пойдет в обратную сторону! А закончится тем, что воссядет на пристоле Михаил второй! Так оно и в библии сказано, в самую точку угадано!» Видал, как они действуют ловко! Мы, конечно, принимаем меры, мобилизовали весь наш актив, коммунистов, но даже командирам разъяснять приходится, что к чему. Хлопот полно, и ты меня тут не задерживай, пожалуйста.

— Хм, не задерживай, — хмуро улыбаясь, вздохнул Дмитрий, — рад бы не задерживать, да приходится. Мне надо сегодня же выехать в Забайкалье, в коротаевский корпус. Здесь остается один мой заместитель Лукс, все остальные в разгоне по фронту. Одному Луксу тут будет не под силу, вот и пришлось тебя вызывать ему в помощь. Действуйте вдвоем. Жигалин со своим отрядом должен вот-вот появиться, жду его со дня на день. Прибудут они, помоги, в чем нужда у них будет, введи их в курс дел наших и предварительную разверстку подготовьте, кого куда из них направить.

В тот же день Шилов на паровозе выехал на станцию Бушулей, а оттуда верхом на лошади, в сопровождении двух конных партизан двинулся прямым путем на восток. В станице Ботовской стремительную, многоводную Шилку переплыли на боту, рядом с ними плыли расседленные кони. Отсюда ехали бездорожно, тайгой и на третий день к вечеру достигли большого села на Газимуре. Здесь совсем недавно был бой, и партизаны лихим налетом вышибли из села белоказачий полк. Уже на виду села путников задержал партизанский дозор. Пожилой партизан, старший дозора, узнав Шилова, обрадовался:

— Митрий Самойлович! Здравствуйте!

— Здравствуйте, какого полка?

— 4-го кавалерийского, четвертый день здесь обретаемся. Бой был справдаший, побили их много и обоз забрали. Патронами-то скучались последнее время шибко, теперича разжились, хватит покеда.

— Урон большой понесли?

— Да не без этого, — вздохнул партизан, — пятерых наших похоронили в братской могиле, ну и раненых человек пятнадцать, двоих-то чижало, не выживут, однако!

— Толстокулаков как?

— Да ничего, жив-здоров. Как сюда ехать, видел его.

В село въезжали вечером, когда покрасневшее солнце повисло низко над горизонтом. День был субботний, из натопленных бани белыми клубами вырывался пар, в предбанниках мельтешили голые люди. Пахло дымом, распаренным березовым веником и парным молоком, бабы во дворах доили коров, а в оградах, куда ни глянь, видны расседланные партизанские кони. Днем их угнали на пастбище, а теперь, привязанные к изгороди, кормятся они хозяйствкой соломой, а кое-где и сеном, оставшимся от весны. Сами партизаны расхаживают по селу, парятся в банях. В одном месте несколько человек, как видно уже почавших после бани, сидят на завалинке, разговаривают, курчавятся над ними сизые табачные дымки.

«Про буфер судачат,» — шагом проезжая мимо, подумал Шилов.

Толстокулакова на квартире не оказалось. Хозяин дома, русобородый, с лысиной во всю голову человек, сидел на скамье, разувался. На вопрос Дмитрия, где командир полка, ответил:

— Ушли куда-то оба с писарем. А вы, извиняюсь, с дороги, видать? Может, в баню пожелаете, попариться?

— Да оно бы не плохо, — пошевелил плечами Дмитрий, вспомнив, что уже давненько не испытывал такого удовольствия.

— Тогда разболакайтесь и сходим, баня скутана¹.

Раздевался Шилов в предбаннике, куда принес и оружие, оставить его на квартире не решился. В прокопченной дымом бане (топилась она по-черному, без трубы, дым выходил в открытую дверь) темно, как в погребе, — свет в нее проникал сквозь маленькие в берестяных заплатах оконце, — и жарко было от раскаленной до ала каменки, где дотлевала багряная груда лиственничных углей. Хозяин свое бельишко повесил на жердочку под потолком, посоветовал Шилову:

— Вешай, служивый, лопоть-то вот сюда. Поди тоже вошки водятся, а от них только жаром и можно избавиться. Да полезай на полок, попарься.

Дед плеснул ковш воды на каменку, она зашипела, защелкала, горячий пар обволок на полке Дмитрия, а он, крякая от удовольствия, хлестал и хлестал себя распаренным веником, припрашивал: «Еще ковшочек, пожалуйста, еще!»

Смеркалось, когда Дмитрий с хозяином пришли из бани. В доме уже зажгли лампу, хозяйка, уложив детей спать, вскипятила самовар, а хозяин, накинув на потную спину домотканную шинель, вышел во двор проведать скотину. Разомлевший от бани, с прилипшими ко лбу мокрыми волосами, Дмитрий присел на скамью у стола. В этот момент ему не хотелось думать о военных делах, хотелось отвлечься от них, отдохнуть, наслаждаясь покоем мирной деревенской жизни. Но мысли о том, как там дела у Атавина, прибыл ли со своим отрядом Жигалин, сами собой лезли в голову.

1 Скутана — готова, можно идти париться.

Наконец-то в доме появился Толстокулаков, — высокого роста, стройный красавец с таким же, как у Шилова, волнистым темно-русым чубом. Еще будучи на германском фронте, примкнул Семен Толстокулаков к большевикам, одним из первых пошел на восстание против семеновщины, и, хотя был он неграмотным казаком, подобно Маркару Якимову, партизаны избрали его командиром 4-го кавполка и не ошиблись. Умелым, боевым командиром показал себя Степан, за это и за прямоту суждений любил его Шилов, хотя иногда и ругал Степана за излишнюю лихость в бою, за то, что однажды он сам повел в атаку эскадрон партизан, подменяя собою младших командиров.

Ответив на приветствие Толстокулакова, Дмитрий пригласил его к столу. Разговора о своих делах заводить не стали в присутствии хозяев, а, напившись чаю из толченой чаги с молоком и пшеничными калачами, удалились в горницу. Хозяйка, засветив им висячую лампу, вышла. Шилов, прикрыв за нею дверь, заговорил первым:

— Рассказывай, как у тебя дела?

— Как сажа бела, — нахмурился Степан, придвигая Шилову бестияной чуман с табаком-зеленухой. — Закуривой.

— Не курю. А ты вроде не доволен чем-то?

— Тем, что люди у меня обижаются, даже в глаза говорят, что обман кругом!

— Какой обман?

— Будто не знаешь какой? Такой, что воевали за Советы, за революцию Октябрьскую, а теперь, когда дело к концу подходит, нам буфер навязывают! А на флаг наш красный, кровью рабочей политый, заплатку синюю пришили! Это правильно?

— Правильно, Степан Иванович, совершенно правильно. Это же ленинская установка, по его инициативе и создана ДВР.

— И ты туда же гнешь? Ленин! Да он поди и не знает про все эти махинации здешние! Это же эсеров да меньшевиков штучки-дрючки да выдумки хитрые: видят, что до власти им никак не добраться, так они буфер придумали и вот вам пожалуйста, пролезли во власть! А ты говоришь — Ленин! Не-ет, брат, уж его-то ты здесь не примешивай! Чтобы Владимир Ильич да на такое дело согласился? Сроду не поверю.

— Эх, Степан, Степан Иванович, — Шилов, улыбаясь, покачал головой, командир-то ты боевой, это верно, а вот насчет политики туман у тебя в голове.

— Конечно, я в школах не обучался, даже и не бывал в них, не до этого мне было, — Степан, обиженно вздохнув, потупился и, помолчав, снова глянул на Шилова, окреп голосом. — А что касаемо политики, так и до нее нутром дошел ишо на германском фронте! Так что кое-что кумекаю.

— Хорошо, тогда ответь мне на такой вопрос: нам выгодно, чтобы японцы продолжали воевать против нас?

Скажешь тоже, — усмехнулся Степан. — Какая же нам от этого выгода? Век бы их тут не было, трижды клятых!

— Так вот, буфер-то для того и создан, чтобы выкурить их от нас.

— Ох и загнул, Митрий Самойлыч, японцев выкурить! Так они этот буфер и послушают? Как же, разевай рот пошире.

— Вынуждены будут послушать. Ведь управители-то ихние утверждают, что войска японские помогают русскому народу, по просьбе его правительства, власть Советскую свергнуть, республику установить в России демократическую, с которой обещают жить дружно, в мире, — понятно тебе?

— Да вроде бы понятно, ну а дальше что?

— То, что буферное правительство наше уже заявило Японии: мы не Советская Россия, а самостоятельное государство, суверенная демократическая республика. Жить с вами в мире желаем, воевать нам не из-за чего, а поэтому и войска свои вывести от нас будьте любезны.

— Думаешь послушают, выведут?

— Обязательно. Насчет этого переговоры с ними вот-вот начнутся, и к осени их у нас не будет.

— Вот оно что, чудно! — Степан, все еще недоверчиво улыбаясь, пожал плечами. — Конешно, ежели оно и в самом деле так получится, то и войне скоро конец, с одни-то беляками нам справиться раз плюнуть. За ради такого дела мы и против буфера возражать не будем. Вить он же небось не надолго будет установлен, — как ты думаешь?

— Об этом разговор будет позднее, когда войну закончим. Завтра давай собрание полковое проведем, я подробно объясню партизанам про буфер, а сейчас, — Дмитрий, прикрыв рот ладонью, зевнул, тряхнул кудрями, — давай-ка укладываться спать. Я, браток, уж и не помню, когда спал по-человечески, спокойно. Вчерашней ночью вроде бы с вечера лег, новая беда — клопы! Заели, будь они прокляты. На сеновал ушел от них, холодно под шинелью, так и промучился всю ночь.

— Ишо на один вопрос ответь и ложись, спи.

— Давай, слушаю.

— Комиссара когда мне пошлешь?

— Скоро, жду комиссаров целый отряд, как прибудут, пошлю тебе в первую очередь.

— Э-э, брат, — Степан жестом полной отчаянности махнул рукой, — сullenого три года ждут, а мне комиссара сейчас надо, позарез.

— Знаю, что надо, а где его взять? Ведь и в других полках такое же положение: в третьем полку у Швецова, например, нету комиссара, то же самое у Пичуева в седьмом, в девятом у Епифанцева, да и в других полках обходятся без комиссаров и воюют.

— Сравнил тоже, там командиры-то грамотные, а я что? Такой же неуч, как и партизаны мои! Ты вот расскажешь им завтра про буфер, сядешь на коня и уедешь, а они опять начнут донимать меня расспросами: и то им объясни и другое. Надысь один из третьего эскадрона пристал ко мне с вопросом про Карла Маркса, а я слыхать-то слыхал про Маркса, а каких он там делов натворил, откуда мне знать. А будь комиссар, он бы меня от всякого этого избавил бы и командовать мне легче было бы.

— Это верно, — Шилов, не торопясь с ответом, разулся, снял гимнастерку и лишь после этого заговорил. — Ладно уж, пошлю тебе комиссара, есть у меня на примете. Он хоть из рядовых партизан, но грамотный, толковый мужик.

— Давай, я такому радехонек буду. На безрыбье, брат, и рак — рыба, а на безлюдье и Фома человек. Фамилия-то его как?

— Сухарев Корнил.

— Так я же знаю Сухарева, в полковом комитете был у нас в семнадцатом году. Ну, этот повезет, уж чего-чего, а насчет политики — собаку съел, посытай его скорее.

— Пошлю, — Шилов снова зевнул, посмотрел на широкую чисто проскобленную скамью. — Постелить бы принес чего-нибудь, у меня ведь, кроме шинели, ничего нету.

— Сейчас подседельник принесу да шубу у хозяев выпрошу, и и постеля получится, как у хорошего купца.

— Давай.

Глава VII

Много всяких непредвиденных трудностей пришлось преодолевать на своем пути отряду Жигалина: горные скалистые перевалы, речки, широкие пади, зачастую кочковатые, топкие, и, чтобы перебраться через них, требовалось много труда и времени. И все-таки отряд упрямо продвигался вперед. Жигалин как ни уставал за день, вечерами при свете костра, продолжал свои записи в дневнике.

«9 июня. Наконец-то Витим присмирел, вода в нем пошла на убыль, и вот уже второй день, как мы покинули гостеприимную Романовку. Едем бездорожью тайгой, через хребты и пади, ориентируясь не только по карте, но и по Витиму, что течет справа от нас, и мы частенько видим его, как на хребет поднимаемся. Тайга, нигде не увидишь пенька срубленного дерева, и такая красотища кругом, столько повсюду цветет багульника, и такой он пышный, что глаз не оторвешь, на него глядючи! Настроение у людей бодрое, хотя поход наш чертовски труден, сегодня полдня ушло на то, чтобы перебраться через падь, такая она оказалась болотистая, топкая, насили уодолели, а шириной не более полверсты. А сколько таких впереди! Да еще и через Витим надо переправляться, теперь с левого берега на правый, как будет дело с переправой через него? Ведь там не только парома, но и лодки может не быть.

11 июня. Продвинулись сегодня верст на 50. Небольшая задержка все же произошла в пути из-за проклятого Водолаза, так прозвали ребята конишку гнедой масти, это удивительное животное воды боится, как черт ладану! При переходе через речку, даже самую маленькую, обязательно в нее завалится, уже раз пять приходилось вытаскивать всем народом его из воды. Поначалу мы, не зная его повадок, нагрузили на него ящики с патронами и мешок сухарей, стали речку переезжать, маленькую, все кони ее просто перешагивали, а этот чадо сначала одну ногу в воду окунул, потом вторую и повалился, сухари в воде оказались. Кое-как выручили, а на следующей речке та же история повторилась, с той поры и прозвали его Водолазом. Вот и сегодня с ним такое же происшествие.

12 июня. Удача, какой мы никак не ожидали: на берегу Витима, куда сегодня прибыли, оказалось жилье, рыбак тут поселился с семьей вдали от людей. Человек он молчаливый, суровый с виду, но лодку нам взять разрешил беспрепятственно, на ней мы и перевезли людей, имущество, а коней плавежом. И тут Водолаз чуть беды не натворил: вместе с конями поплыл Чепизубов. Рыжка своего за хвост ухватил и Водолаз потянул за собой, повод от него на плечо себе накинул. Сначала плыли хорошо, но на середине реки Водолаз начал тонуть и Григория за собой потянул! Хорошо, что чепизубовский Рыжко оказался конем удалым, сильным, выплыл и Григория за собой вытащил вместе с Водолазом. Обозлились мы на эту животину, хотели бросить его в тайге на съедение волкам, но Чепизубов застулся, упросил-таки, оставили в отряде.

16 июня. За два минувших дня трижды вытаскивали из речек Водолаза, надоел, проклятый. А вода в речках холодная, светлая как стекло, даже хариусов видно, жалко снастей рыболовных нету у нас. За все это время только трех коз убили, а их полно в тайге, каждый

день следы их видны, даже изюбреные попадают, а самих изюбров не видели ни разу! Да оно и понятно, едем большой оравой, всякий зверь нас за много верст чует и разбегается.

20 июня. Сегодня форсировали Имурчен. Река большая, броду нет, пришлось делать плоты из сухостойного сосняка, пригодились наши два топора и шашки. Веревок вязать плоты не хватило, вместо них стали таловые прутья свивать, получилось неплохо. Все обошлось благополучно, но на переправу ушел целый день. Тревожит то, что продукты кончатся, а ходу нам, по моим расчетам, не меньше как недели полторы до места назначения.

24 июня. Беда за бедой. Вчера вышли в такую заболоченную низину, что и пешком не перейти — трясина! Чтобы обойти ее пришлось свернуть с намеченного курса на север, шли весь день и ночевали вблизи болота. Тьма-тьмущая гнусу — комаров, одно спасение от них дымокур. Вечером доели последние сухари и остатки вяленого мяса! Всего продуктов осталось пуда полтора крупы. Придется забивать на мясо коней, хорошо еще, что соли-то осталось фунтов пять... На этой почве шумиху большую поднял Срывацев, доказывая, что идем неправильно, что надо повернуть обратно и пробиваться к селам на Шилке!

«А если там белые?» — спросил его Большаков Иван Пудович.

А он в ответ на это: «Ну и что? От белых мы и отбиться можем, а тут верная смерть, с голоду подохнем!»

Но тут на него напустились и Большаков, и Войлошников, и Бурынь, и другие товарищи, никто не поддержал бузотера. Он притих. Хорошо, что народ в отряде у нас надежный, дружный, не боятся трудностей.

26 июня. Болото обошли, но уклонились от курса далеко к северу, снова повернули на восток. Утром варили и жарили на вертепах конину. Первым подвалили на мясо Водолаза, — хватит уж с ним мытариться. Положение скверное, люди мои заскучали, претит им конина, не едали ее. Понимая это, мы с Иваном Войлошниковым и Большаковым еще вчера переговорили на ходу с большевиками отряда, условились, что и в этом деле мы должны быть примером, так и поступили: первыми принялись за конину. К тому же и запах от жареного мяса вкусный, это помогло! Глядя на нас и другие, хоть и нехотя, морщась, но все-таки конинки отведали, скандалу не получилось. Ничего, голод не тетка, привыкнут!

28 июня. Давно перевалили Яблоневый хребет, одолели много других перевалов, рек, болотистых речек, а конца пути все не видно. Кони ослабели от больших переходов, а людей не узнати, обросли бородами, почернели от загару, прокоптились дымом от костров, исхудали от недоеду так, что только скулы торчат. Только и еды, что конина да кипяток с наваром из брусничного листа. Доедаем второго коня, жалко убивать боевого друга, да что поделаешь, нужда заставляет, голод!»

После этой записи Жигалина прошел день. Угрюмые, изнуренные походом и голодом, ехали жигалинцы, упрямо продвигаясь все дальше и дальше на северо-восток, ни разговоров среди них, ни шуток, как в начале пути, ни смеху! До разговоров ли тут, когда на уме-то у всех одно и то же — ладно ли едем? Не сбились ли с пути? Приободрились люди, когда кое-где в лесу стали попадаться пни, значит, недалеко где-то есть жилье!

К вечеру наткнулись на зимовье, обрадовались ему, словно это была не пустая охотничья избушка, а целая деревня. В зимовье с нарами и печью в углу из дикого камня обнаружили, как повелось у

охотников-сибиряков, запас сухих дров, спички на печурке, соль в тряпочке и подвешенную к матке берестяную пайву, а в ней фунтов пять вяленого козьего мяса. Хоть и по маленькому кусочку, но мясо разделили на всех как лакомство.

В этот вечер у костров засиделись дольше обычного. Уже темнело, на западе затухал вишневого цвета закат, а люди все еще сидели вокруг догорающих огней, подкидывали в них сухие лиственничные сучья, разговаривали. Жигалин еще засветло сделал в дневнике очередную запись и, накрывшись шинелью, прилег рядом, положив голову на седло. Чувство непомерной усталости охватило все его существо, ему не хотелось ни говорить, ни думать ни о чем, а лежать вот так, наслаждаясь покоем, слушать бесконечные разговоры друзей.

— Тут и до Шилки, мне кажется, недалеко, — Яков по голосу узнал Большакова. — Согласно карты, мы теперь где-то в районе Курлыченской станицы.

— Завернуть бы поближе к селам на Шилке да высматрать разведку.

— Хлебом разжились бы...

— Опасно, нарвешься на белых.

— Нет уж, надо продолжать, как начали. Теперь и ходу до наших осталось дня два, от силы три. Верно, Яков Павлович?

Жигалин не ответил, он уже спал, не слыша дальнейших разговоров.

Крепко спали жигалинцы после поздних разговоров. А ночи коротки, только что потухла вечерняя заря, а на востоке брезжит уже рассвет, зачирикали раноставы птички, холодком потянуло с пади от речки.

И вдруг, разорвав утреннюю тишину, бацнул выстрел, второй.

— Тревога! — завопил Жигалин, мгновенно срывааясь с места. Всполошился так внезапно разбуженный лагерь, люди вскакивали на ноги и, босые, всклокоченные, хватались за винтовки, метались, опрокидывая котлы, сшибаясь друг с другом. Шум, звяк оружия, хриплые спросонья голоса:

— Кто? Где?

— Кто стрелял?

— Тише! — перекрыл весь этот гвалт властный голос Жигалина. Шум поутих, люди утомонились, сгрудились вокруг Жигалина и тут увидели бегущего к ним с пади человека. Кто-то щелкнул затвором, Жигалин шагнул навстречу бегущему, взмахнул наганом.

— Стой! Стрелять буду!

— Свой, Чепизубов, — отозвался тот, замедляя бег. Не добежав до Жигалина, он остановился, махнул рукой: — За мной давайте, живее! — и повернулся обратно.

Следом за ним побежали остальные жигалинцы и под бугром, возле раскидистой старой березы увидели одного из своих партизан. Он стоял с винтовкой в руке, рядом на земле валялось седло, а пододаль, широко раскинув руки, навзничь, лежал человек, в котором при свете наступающего дня узнали Срывацева. Он весь подплыл кровью, от нее вокруг пулевой дырки на груди побурела и шинель.

— По mestу потрафил, — сказал один из партизан.

— По mestу! — подтвердил второй. — Даже ногой, видать, не дрыгнул.

— Надо бы живьем его взять, — начал было Жигалин, но Чепизубов договорить ему не дал.

— Хо, живьем. И так-то едва не упустили!

— А как все произошло?

— Я же говорил тебе, что офицер он, подлюга, — подкидывая на плече винтовку, Мурзин подошел к Жигалину, — третьей сотни нашего первого Аргунского полка сотник. А вот фамилии его никак не припомню... Петров, Прокопьев, Павлов...

— Об этом после, Михайло, убили-то его за что?

— Дай мне сказать. — Чепизубов рукой отстранил Мурзина и зачастил скороговоркой: — Я его еще днем вчера заподозрил, когда он кусок мяса завернул в тряпку и в карман тайком от всех. А я углядел...

— Короче, Григорий, главное говори.

— А это и есть главное. Стал я за ним примечать. Вечером, смотрю, он седло свое отнес в сторону и спать улегся от всех отдельно. Мы со дня еще сговорились с Мурзином, лежим, будто спим, а сами за ним наблюдаем. И вот, когда все уснули, смотрю — он голову приподнял, прислушивается. Я Мурзина локтем в бок, молчи, дескать. Поднялся он тихонечко, винтовку за спину закинул, седло в охапку и — ходу. Мы, как только он скрылся, за ним, где ползком, где как. Добрались до этой вот березы и седло тут обнаружили, поняли, что он за конем пошел, мы и притаились за березой... смотрим, ведет коня, у меня аж сердце зашлось: моего Рыжка поймал, гад! Подвел он к нам вплоть коня и вдруг, должно быть, нас заметил, без седла на коня и с места в галоп. Тут мы его и хлопнули в догонку. Вот, как оно было!

— Обыскать его надо хорошенько, — распорядился Жигалин, — да яму ему выкопать, зарыть его, как собаку бешеную. Займись этим, Григорий. — И, сутулясь, пошел к табору.

Теперь уж было не до сна. Путники разделились надвое, большая половина их осталась возле убитого, принялись обыскивать его, рыть могилу, остальные отправились назад готовить на всех еду. К восходу солнца на таборе весело полыхали костры, партизаны, повесив над огнем котелки с кониной, на разные лады обсуждали то, что произошло на рассвете.

Жигалин, усевшись на седло, только что собрался было записать недавнее событие, как к нему подбежал Мурзин.

— Вот, как в точку угадал, моя оказалась правда-то, — взволнованным голосом воскликнул он, протягивая Жигалину тонюсенькую пачку документов. — Пантелеев его фамилия! Когда прочитали в документе, я вспомнил — точно, сотник Пантелеев! В карателях был у Семенова, сколько он наших людей уграбил, сволочуга, и скажи, как получилось — в красные пролез! Как же это получилось так?

Жигалин взял из рук Мурзина документы, принялся их рассматривать. На одном из них, с фотокарточкой под штампом первой Забайкальской казачьей дивизии, говорилось, что сотник Пантелеев Иван Иванович Саввич откомандированся в район действий Особого Маньчжурского отряда в распоряжение генерал-майора Шемелина. Схожесть фотоснимка с убитым не оставляла сомнения, что мнимый Сривцев в действительности был сотником Пантелеевым.

— М-да-а, — Яков завернул документы в половину газеты, берег для курева, аккуратно уложил их в боковую сумку, — значит, и в штаб дивизии нашей пробрался кто-то из врагов. Ну да ничего-о, доберется до них наша господи помилуй¹! Документики-то эти пригодятся. Ну, а вам, товарищ Мурзин, обойм с Григорием, большое спасибо, не прояви вы бдительность — ушел бы этот гад к своим. О геройстве вашем я Шилову доложу, как приедем.

¹ Господи помилуй — так в 1920 году партизаны в шутку называли госполитохрану.

Не привыкший к похвалам, Мурзин, краснея от смущения, переступил с ноги на ногу.

— Оно, конечно, — пробормотал он, глядя в сторону, — на Гришкином коне-то он теперь бы уже где был! А там, ежели до своих-то вскорости добрался, то они и в сугонь за нами погнались бы.

— Наверно, так бы оно и было, да-а... С нами бы они так за здоровью живешь не расстались бы!

Шел уже тридцать второй день жигалинского похода, когда, поднявшись на один из многочисленных горных перевалов, дальнозоркий Чепизубов, разглядел вдали чуть видный дымок.

— Дым! От паровоза, видать, ей-богу, от паровоза! — воскликнул он, указывая Жигалину в сторону далеких гор, затянутых сизоватой дымкой.

Жигалин вскинул к глазам бинокль и уже отчетливо разглядел тоненькую белесую струйку, постепенно расширяясь, она тянулась горизонтально к югу. Сомнений не было: это дым от паровоза. Люди вмиг ободрились, повеселились, с конями в поводу сгрудились вокруг Жигалина. Бинокль его переходил из рук в руки; всем нетерпелось взглянуть на столь желанное, долгожданное явление; радостью звенели голоса:

— Дым, явственно вижу.

— Понизу стелется, ясно дело, паровоз!

— Конец мученьям нашим!

— Интересно, в каком же месте мы находимся?

— По картам-то где-то супротив Могочи должны быть!

— Дальше, речка-то, какую вчера одолели. Урюм наверняка, Чernenый Урюм.

— Да чего тут гадать. Вон падь видится, кусты черемухи белеют посередине, вот вдоль ее и поедем.

— Верно, это речка Амазар, про какую вчера говорили.

И впервые за последнюю неделю команду Жигалина «По коням» восприняли как радость.

Как ни хотелось жигалинцам поскорее добраться до железной дороги, но то, что с горы казалось близким, в самом-то деле оказалось очень далеким! К тому же с наступлением полуденного зноя усталых, голодных лошадей начали одолевать паути. Жигалин, выбрав просторную поляну с кустами возле речки, приказал остановиться на отдых, расседлать лошадей.

— Не беда, — утешал он своих бойцов, спешиваясь, разминая ноги, — переждем жару здесь. Конины поедим в последний раз, кони отдохнут, покормятся. К вечеру будем на месте, и то хорошо.

Ему никто не возразил. Расседленных коней поддержали в тени кустов, чтобы не сразу подпустить их к воде, на поляне развели костры.

Жигалинцы и не подозревали, что за ними наблюдает с горы партизанский разъезд из четырех человек. Старший дозора, коричневолицый от загара усач-партизан, одного из своих бойцов послал с донесением в штаб полка на станцию Амазар, гонцу приказал передать на словах, что обнаружен незнакомый отряд. Дозорный просил выслать сюда эскадрон, чтобы окружить незнакомцев и выяснить, что это за люди, а если потребуется, то и бой дать. К удивлению дозорного, в штабе обрадовались его донесению. Комиссар Атавин тут же приказал завхозу позаботиться о встрече дорогих гостей, готовить для них квартиры, ужин, топить бани и лишь после этого вспомнил о гонце из разъезда и отослал его обратно.

Солнце близилось к закату, удлинились тени от всадников, еду-

ших долиной по дороге к станции Амазар. Дневная жара схлынула, коней уже не донимали паути, но на смену им появился другой гнус — комарье. Эти более всего досаждали людям, серой кисеей клубились над ними, зудели, липли к мокрым спинам и шеям. Но вадники не обращали на них внимания! До комаров ли тут, когда до станции рукой подать! Увидели ее, когда обогнули гривастую, в густом засеве березника, сопку, рядом со станцией, вдоль полотна железной дороги, растянулся поселок, в полуверсте от него была поскотина, а от нее на встречу колонне полным галопом мчались трое верховых. В переднем Жигалин, глядя в бинокль, угадал своего земляка и сослуживца Михаила Атавина. Вблизи колонны комиссар спрыгнул с вороного скакуна, поводья закинул на луку. Строевой выучки конь, пробежав без седока немного, вернулся, пошел следом за хозяином, толкая его мордой под локоть.

Колонна остановилась; загорелые, обросшие щетиной жигалинцы окружили Атавина. Он, едва успевая отвечать на вопросы, пожимал им руки и в одном из этих бородачей с трудом признал Жигалина:

— Яков, ты?

— Да вроде бы я! — друзья обнялись, трижды поцеловались.

— Ну, брат, вид у тебя! — Атавин, смеясь, отстранил от себя друга, держа его за плечи. — Разбойник! Как есть разбойник с большой дороги!

— Промашка вышла: пошел к цирульнику, а угадал в кабак, — отшутился Яков и, оборвав смех, спросил: — Шилов тут?

— На станции Ксеньевской, только что из Забайкалья вернулся. Я ему уже сообщил про вас по селектору, к вечеру будет здесь, на паровозе примчится.

А вокруг их толкалась говорливая толпа: одним хотелось расспросить о чем-то Атавина, другие торопили ехать.

— Кончайте вы базар, ехать надо быстрее!

— Обожди, дай спросить!

— Чего спрашивать, время-то не ждет!

— По коня-ям!

Глава VIII

Новый поход против красных атаман Семенов предпринял в начале лета 1920 года. К этому времени силы его значительно выросли за счет прибывшего из Западной Сибири корпуса капрелевцев, и все-таки положение атамана ухудшилось! Дело в том, что на станции Гонгота Забайкальской железной дороги, между представителями правительства ДВР и японского командования начались переговоры о прекращении военных действий! В ставке атамана Семенова отлично понимали, что эти переговоры могут закончиться миром и Япония отзовет свои войска из Забайкалья (так оно затем и получилось), а это означало конец режиму атамана Семенова! Это и понудило его поспешить с организацией нового, самого крупного за эти годы, наступления на партизан Забайкалья. Разработанный семеновскими штабистами план наступления был очень прост: охватить силы противника с трех сторон так, чтобы путь отступления у красных был лишь в сторону Аргуни, где ждут их сдача в плен или смерть! О прорыве ими мощного окружения белых не могло быть и речи, слишком уж большое неравенство было и в численном составе, и в боевом вооружении в пользу семеновцев. В наступление Семенов кинул пять пехотных полков, два казачьих с придаными к ним батареями, конно-ази-

атскую дивизию барона Унгерна и калпелевский корпус генерала Лохвицкого. Бои развернулись по всему более чем трехсотверстному фронту, от пограничной Аргуни до Шилки. От орудийного гула содрогалась земля, клубами пучилась от взрыва снарядов и дымилась на местах пожарищ в селах, попавших под обстрел. Партизаны отступали, вражеское полукольцо сжимало их с трех сторон все сильнее, а путь к отступлению оставался единственный — к Аргуни!

Правда, была еще возможность у красных на подходе к долине Урюмкана прорвать цепь окружения и уйти в непроходимые дебри приаргунской тайги. Но тогда пришлось бы бросить свою пехоту и оставить на милость врага раненых! Это было бы нарушением устава партизанской армии, и так не могли поступить красные конники, они предпочитали умереть в бою, чем бросить в беде братьев по оружию. Прикрывая отход, партизаны бились, не щадя жизни, на оборонительных позициях.

Конники Макара Якимова, все три полка его бригады, отступали долиной Аргуни, на них нажимала дивизия барона Унгерна. Непроходимая тайга, скалы, мешая барону развернуть его дивизию, помогали якимовцам успешно держать оборону. На одной из таких позиций Макар продержался более двух суток и этим оказал неоценимую услугу всей партизанской армии! Ведь всего в verstах в пятидесяти от этой позиции находился конечный пункт отступления красных — село Джоктанка, там, на берегу Аргуни, накапливались отступившие части пехоты, обозы с ранеными, госпитали.

Полк, в котором находился эскадрон Егора, отбив очередную атаку бароновцев и дождавшись подмены, отошел к позиции, чтобы после короткого отдыха готовить новый оборонительный рубеж. Егору было не до отдыха, поручив эскадрону помощнику, он решил махнуть в Джоктанку, надеясь встретить там Настю. Знал Егор, что из Джоктанки госпиталю некуда податься, дальше уже нет тележных дорог и уйти из села в низовья Аргуни можно лишь на лодке или пешком по узенькой тропинке через скалу Убиенную, где пройти-то можно лишь по одному человеку.

В Джоктанке в это время происходило то, чего не могли предусмотреть семеновские штабисты: командир партизанской дивизии Коротаев разделил свою армию надвое, одни на оборонительных позициях сдерживали натиск врага, а те, что добрались до Аргуни, тысячами устремились в лес, на заготовку бревен для плотов. Благо, тайга вплотную надвинулась на скалистые берега Аргуни. Егор, еще не доехав до села, услышал шум, какой всегда бывает при вальке леса. Само село, когда он прискакал туда на взмыленном Гнедке, походило на развороченный палкой муравейник. Улицы до отказа запружены людьми, обозами, пушками, зарядными ящиками, фургонами, все это движется, суетится, шумит! Вдоль берега Аргуни многие сотни людей по пояс, по грудь в воде стучат топорами, сплачивают, вяжут плоты, бревна для них подвозят на лошадях, вручную на телегах, волокут, юзом спускают с гор. В селе разбирают на бревна старые избы, амбары и бани и на руках несут к берегу. Шум, стук, грохот, голоса людей — все слилось в сплошной рокочущий гул. На берегу горят костры, вокруг них толчая — люди, отработавшие ночную смену, теперь варят еду, и тут же, у костра, засыпают. От берега один за другим отчаливают плоты, нагруженные пушками, пехотой, полковым имуществом.

В этой толчее Егор никак не мог найти Настин госпиталь. С великим трудом, лавируя между телег, людей и коней, выбрался он на берег и тут увидел плот, на который погрузили госпиталь, он уже от-

чалил от берега. На плоту санитарные повозки, две большие палатки, женщины в белых халатах и Настя! Она, Егор узнал бы ее среди тысячи других!

— Настя-я! — махнув рукой, крикнул он что было силы.

Она услыхала его, узнала и, подбежав на край плота, держась одной рукой за повозку, другой тоже махала ему, что-то кричала — не разобрать.

В этот момент уже не разум, а сердце владело Егором, подчиняясь ему, он, не раздумывая, как был в одежде, с винтовкой за плечами, разогнал гнедого — и в Аргунь.

— Сейчас... доплыту и на плот, к Насте, — лихорадочно работала мысль, когда Гнедой уже поплыл, а он, свалившись с седла и держась одной рукой за гриву, другой правил за плотом. Сначала ему казалось, что до плота рукой подать, и вдруг, к ужасу своему, увидел, что отстает от него все дальше и дальше! И все-таки он продолжал плыть за плотом. Обогнули скалистый, отвесно поднимающийся из воды выступ, за которым виднелась узенькая полоска песчаной косы, туда и повернул Егор Гнедка. Когда он вышел с конем на берег, плот был уже далеко. Настя стояла все там же, у санитарной повозки, махала ему сорванным с головы белым платком. Такой она и запомнилась Егору.

Глава IX

Дня через два после того, как Егор видел Настю на плоту и не смог ее догнать, он присутствовал на военном совете. В большом отведенном под штаб доме командиры полков и отдельных эскадронов собирались еще засветло. Заседание открыл командир партизанской дивизии Коротаев — узколицый, заросший недельной давности черной щетиной, коричневый от загара, белел у него только лоб, не тронутый загаром под фуражкой.

— Дело такое, товарищи, — начал он, обводя командиров припухшими, красными от недосыпания глазами, — главную нашу задачу мы решили, всю нашу пехоту, госпиталя, часть обозов, батарею сплавили на Амур! Есть сообщение, что первые плоты уже на Амуре, разгрузились в районе станции Черняевской. Завтра утром, чуть свет, отчалият остальные три плота с обозами. Теперь вторая наша задача: как коннице нашей быть? Делать плоты у нас уже нет времени! Держать оборону нет силы, да и патроны на исходе! Остается одно из двух: биться до последнего или попытаться плыть по Аргуни на конях! Какое ваше мнение, прошу высказать?

Тягостное наступило молчание, первым нарушил его Чугуевский:

— Плыть по Аргуни далеко, не выдержат кони! И на прорыв пойти — риск большой, не прорваться нам.

Заговорили сразу в несколько голосов:

— Посекут из пулеметов!

— В одеже плыть, при всем оружии — рисковое дело!

— А я так думаю, что сдюжат кони, ведь плыть-то вниз по течению.

— Дозвольте мне сказать, — поднялся со своего места командир 4-го полка Толстокулаков. И, выждав тишину, продолжал: — Конечно, идти на прорыв с нашими силенками нечего и думать, явная смерть. А вот уплыть по Аргуни в этом есть резон. Надо плыть, и вот что я хочу присоветовать, ведь здесь на берегу Аргуни бревен-то сколько осталось от плотов. Надо так сделать, когда поплыем, что-

бы и они с нами плыли. Бревен по восемь, по десять на эскадрон; у кого конь ослабнет, хватайся за бревно, вынесет.

Гулом одобрительных голосов отзывались командиры:

— В самом деле, можно!

— С бревном не утонешь!

— Плыть надо, какой разговор.

— Кто не свышеный к такому делу, имейте в виду, когда поплы-вем, надо не за гриву держаться, а за хвост, коню легче плыть!

— Да и самому способнее.

— Наше счастье, товарищи, — вновь заговорил Коротаев, — что белые здесь ошибку большую допустили. Если бы они один полк свой кинули на Аргунь, ниже Убиенной, потопили бы все плоты наши, и нам бы тут хана! А теперь все-таки есть надежда, хоть и трудное это дело, но уйти от верной гибели можно.

Кончилось совещание тем, что все сошлись на одном — завтра же сняться всем полком с позиций и на конях плавежом по Аргуни. Перед тем, как разойтись, Коротаев приказал:

— Утре, чуть свет, всем собраться здесь же. Может, из разведки от Вишнякова какое донесение получим. Да и вообще посовето-ваться, утром вечера мудренее.

Коротаев и три эскадронных командира ночевать остались в шта-бе, вместе со связными, ординарцами, которые находились тут круглые сутки. Коротаев кинул на деревянную канапель шинель, чью-то теплушку под голову, лег, не раздеваясь, и сразу же уснул. За эти дни, руководя оборонительными боями, сплавом людей на плотах, Яков Николаевич так уставал, что еле держался на ногах, к тому же и спать ему приходилось урывками, где придется. В эту ночь ему по-казалось, что он только заснул, а его уж кто-то будит, дергает за ногу.

— Вставай живее, ну! Эка, паря, до чего разоспался, как на пашне в дождливый день!

С трудом оторвав от теплушки отяжелевшую голову, Коротаев от-крыл глаза и увидел ординарца Кочнева.

— Чего тебе?

— Гонец от Вишнякова.

— От Вишнякова? — Сон мигом слетел с Якова, он сел на по-стели и только теперь разглядел рядом с Кочневым рослого, широ-коплечего парня с русым кучерявшим чубом. Спросил его: — Кто такой?

— Конный разведчик Осип Захаренко.

— С чем прибыл?

— Тут вот все написано, и на словах велел передать Вишняков, — парень достал из-за голенища ичига свернутый трубочкой листок бу-маги и, развернув ее, показал пальцем, — тут вот два полка белых наступали, остался один, второй вчера сняли и вместе с батареей ихней Уровом направили вниз. Должно быть, на Аргунь двинулись, на Усть-Уровскую станицу.

— Маменька родная! — радостно воскликнул Коротаев. — Это же здорово! Иван, буди связных и всех командиров ко мне мигом! — и снова к разведчику: — Значить, ты в тылу у белых был?

— Так точно.

— А как же к нам-то пробрался?

— Да уж всяко разно, где ползком, где как. Коня-то бросить пришлось.

— Голодный?

— Со вчерашнего утра крошки во рту не было.

— Сейчас Иван тебя накормит и отсыпайся до утра.

Ожил притихший на ночь штабной дом, огласился говором, то-потом ног, хлопаньем дверей. Вокруг стола, за которым уселся Коротаев, сгрудились командиры, которые ночевали здесь же, и те, что подошли из села, поднятые связными по тревоге. Коротаев объяснял им, водя карандашом по бумажке Вишнякова:

— Значит, здесь их всего один полк. Это как раз на участке, где оборону держит наш четвертый полк, верно, Степан?

— Верно, — мотнул головой Толстокулаков.

— Конечно, когда начнется бой, то беляки и с соседнего участка могут прийти на помощь своим. Но прорвать их кольцо мы должны именно здесь, и те полки, что прорвутся первыми, разворачиваются фронтом влево, чтобы ударить противнику в тыл, помочь расширить прорыв. Чтобы всем нашим полкам выйти из окружения.

Яростным гулом боя, ружейными залпами, рокотом пулеметов огласилось узкое ущелье, зажатое с двух сторон скалами, где держал оборону 4-й кавалерийский полк партизан. Пока у белых была здесь батарея, о прорыве в этом месте нечего было и думать, вражеские пушки били по ущелью прямой наводкой, засыпали его шрапнелью. Большой досадой для белого командования было то, что пушки эти они не могли продвинуть по ущелью к Аргуни. Возможно, это и понудило их перебросить батарею отсюда в другое место, что оказалось на руку красным конникам.

Первыми вступили в бой спешенные конники 4-го полка. Укрывшись за камнями и крупными валежинами, они открыли стрельбу из винтовок, отвлекая на себя внимание противника. А в это время красные гранатометчики, в их числе и разведчик Захаренко, подобрались к позициям белых с другой стороны и пустили в дело ручные гранаты. Это решило исход боя, беляки отступили, и партизаны Степана Толстокулакова первыми вышли из окружения. В прорыв хлынули все остальные полки партизанской конницы.

Глава X

На прежние свои позиции: на Уров, Урюмкан в районе сел Богдатской станицы, на Газимур и на Шилку — устремились полки красных конников, после того как вырвались они из вражеского окружения на Аргуни.

Макар один полк своей бригады отправил на Шилку, а сам, после однодневного отдыха на Газимуре, повел два полка в сторону железной дороги, решив немедленно напасть на гарнизон белых в Антоновке.

После короткого, но очень жаркого боя, вышибив белых из села, Макар занял Антоновку, а по обе стороны ее приказал разрушить железнодорожные пути. Егору он приказал догнать и атаковать две сотни дружинников, отбившихся от своего полка. Верст десять гнался за ними Егор и не догнал, на свежих конях они уходили от него все дальше и дальше.

Поняв, что преследовать дружинников нет смысла, Егор скомандовал отбой.

Приказав эскадрону спешиться, Егор сошел с коня, огляделся. Здесь в этой долине все ему было знакомо — и «Черный камень», так прозвали утес, что виделся впереди, и сама долина, и пашни на

елани, среди которых были и поля, принадлежащие Савве Саввичу. Немало пришлось ему поработать и поту пролить на этих пашнях и на покосах в этих местах, и все-таки те годы были лучшими в его жизни, потому что рядом с ним тогда была его Настя, — где-то она теперь?

К досаде Егора, в его задачу входило продержаться здесь не менее двух часов, пока не придет на смену другой эскадрон. В пылу боя было не до рассуждений, приказано — действуй, даже в село забежать не пришлось. Подозвав к себе взводных командиров, он приказал расседлать коней, пустить их пастись.

— Ишо не лучше, — проворчал один из взводных, — всю ночь в походе, бой вон какой выдержали, да ишо и тут торчать два часа, не евши!

— Да, уж в брюхе-то пустота, как в барабане, — поддержал взводного помощник Егора Распопов. — И чего здесь торчать, скажи на милость?

Егор скосил на помощника негодующий взгляд, повысил голос:

— Это што ишо за разговорчики! Вы командиры, али кто? Приказано, значит, нечего тут тары-бары разводить, а умри, да выполнни. В наряд сегодня какому взводу очередь?

— Моему, — нехотя отозвался чубатый, гвардейского роста здоровяк Булдыгера.

— Двух наблюдателей во-он на тот утес, — Егор концом нагайки показал на «Черный камень». — Подняться на него можно по тропке. Через час подменишь людей другими, понятно?

— Понятно.

Повинуясь команде, партизаны в момент расседлали коней, спустили их, пустили пастись, а сами устремились к речке.

День разгорался по-весеннему ясный, теплый; на фоне ярко-голубого неба проплывали легкие белые облачка; сыпали на землю серебристую трель невидимые глазом жаворонки. Степь вторила им трескотней кузнечиков, а в тальниках возле речки, откуда сладко пахло черемухой, запивисто выщелкивали щеглы.

Егор также поспешил к речке. Вода в ней холодная, чистая, прозрачная как стекло. Партизаны черпали воду пригоршнями, утолив жажду, умывшись, располагались на отдых. Всех их валила с ног усталость от недавнего боя и ночного восьмидесятиверстного перехода. Когда Егор, напившись, вышел на поляну, многие его соратники уже спали, положив головы, кто на седло, а кто и на кочку, укрыв ее сверху шинелью. Он посмотрел на утес, где маячили его наблюдатели, и тоже улегся под кустом черемухи, попытался уснуть. Но сон не шел, мысль, что дети находятся совсем рядом, а он не может с ними увидеться, не давала ему покоя. Он понимал, партизаны здесь не задержатся, боевую задачу выполнили, гарнизон белых разгромили, захватили много оружия и боеприпасов, и теперь все это надо скорее увозить отсюда в тайгу к своим. Удерживать Антоновку бессмысленно, да и как ее удержишь? Ведь белые нападут на нее теперь более крупными силами, а взорванные партизанами железнодорожные пути они восстановят под прикрытием бронепоездов и дальнобойных орудий. Не-ет, Макар не дурак, чтобы вступать в столь неравный бой, губить людей понапрасну, он там сейчас уже сколачивает обозы и, дав отдохнуть партизанам, выкормить коней, покинет ненужную теперь Антоновку.

— Ох, успеть бы, — сокрушался Егор, тяжко вздыхая, — хоть бы ненадолго, на один час увидеть, поговорить с Ермохой.

Он то и дело вскакивал со своего ложа, поднявшись на приго-

рок, подолгу всматривался в сторону Антоновки и наконец увидел вдали колонну всадников.

— Они! — радостно воскликнул он и, бегом спустившись с пригорка, крикнул: — А ну, поднимайся! Седловка, живо-о!

В Антоновку Егор прибыл, когда солнце перевалило за полдень. На окраине села он подозвал к себе одного из партизан, приказал ему:

— Езжай в штаб, доложи командиру полка, что приказ выполнили, коней отправляем на пастьбу.

— Где на постое-то будем?

— Во-он по энтуому ряду, — Егор кивнул на крайнюю улицу, — тут, видать, слободнее.

И, уже тронув коня, вспомнил, что тут недалеко живет Архип Лукьянов.

— А ну-ка забегу к нему на минутку, — решил он мгновенно и, обернувшись, подозвал Распопова:

— Слыши, Митрий, оставайся тут за меня, я отлучусь ненадолго.

— Чего такое?

— Потом расскажу. А ты, как людей разоставишь, пообедаешь и в штаб наведайся, разузнай: как там и што?

— Ладно, езжай!

Архип с топором в руках только что вышел из сарая, где обделывал новую ось к телеге, и увидел прискакавшего к его усадьбе всадника на гнедом коне. Спрятав с коня, всадник закинул поводья на столбик и вошел в ограду.

— Дядя Архип!

Старик осталбенел, топор выпал у него из рук.

— Восподи боже мой, — изумленно и в то же время радостно проголосил он, веря и не веря своим глазам. — Да неужто... ты... Егор?

— Я, дядя Архип. — Егор обнял старика, трижды поцеловал его. — Я, Егор Ушаков.

— Отцы небесные, — Архип все еще не мог прийти в себя, разводя руками, бормотал удивленно:

— Как же оно... Вить всех вас лонись в Тарской-то...

— Не всех, дядя Архип, троим нам удалось спастись, уйти от смерти.

— Вот оно ка-ак! А мы-то думали конец тебе, в поминальник записала старуха, за упокой. А чего мы торчим-то здесь, пойдем в избу, бабушку обрадуем.

— Подожди, дядя Архип, расскажи мне про ребятишек, детей моих, где они теперь?

— Ребятишек пристроил Ермоха, к матери твоей увез, а Настю арестовали осенесь, увезли.

— Знаю, про это она сама мне рассказала.

— Настя? Да где ж ты ее видел?

— У нас она, дядя Архип.

И тут Егор рассказал скучо о встрече с Настей и о том, где она теперь находится.

— Значит, жива Настя, ну и слава те восподи, — перекрестился старик, — а мы-то уж всякое передумали. Ты Ермоху-то попроводай. Коров он пасет у нас, но сегодня, видать по всему, не погнал их на пастьбу из-за стрельбы-то. Дома небось, у Рудаковых он проживает.

Егор, уже не слушая, поднялся с колеса, на котором сидел, шагнул к коню.

— Постой, Егорша, постой, — Архип ухватил Егора за рукав гимнастерки. — Куда же ты? Даже и в избу не зашел! Идем, идем, ста-руху обрадуем, чайку попьем, а тогда уж и к Ермохе.

Чтобы не обидеть стариков отказом, Егор последовал за дедом в избу.

Бабка Василиса, узнав Егора, запричитала, всплеснув руками, а потом кинулась обнимать его, целовать.

— Хватит тебе, карга старая, хватит! — прикрикнул на нее Архип. — Давай-ка лучше самовар сообрази живее, да угостить его по-стараемся, вить он голодный небось после беды-то эдакой.

— Ой, да што же это я, — спохватилась бабка и, чуть не бегом, к самовару. Вскоре на столе появились калачи, шаньги, творог со сметаной и яйца всмятку.

А пока все это бабка готовила, дед продолжал рассказывать про Ермоху:

— Зимой-то он там проруби чистил, а к весне сюда перебрался, чтобы у тамошних пастухов хлеб не отбирать, здешний скот пасет, и, што заробит, все Платоновне с ребятишками отвезет. Парнишку твоего, Егорку, в пристяжники¹ пристроили там же, в Верх-Ключах, до покрова отдал. Оно и неплохо, парнишке девятый год пошел, самое время приучать к делу: весной пристяжник, в сенокос копны возить самый боец, ну и в страду серпом жать приучится.

— Да-а, — горестно вздохнул Егор, покачал головой, — по рабочникам пошел сынок мой! Доля-то у нас с ним видать одинаковая! —

и, устыдившись сказанного, упрямо тряхнул головой. — Ну не-ет, не за то мы воюем, чтобы дети наши...

Он не закончил, увидев в руках Архипа четвертную бутыль с самогоном.

— Вот это кстати, дядя Архип, выпьем, зальем горе наше лютое! — Выпив, он закусил калачом и сразу же налил себе второй стакан. А в мыслях снова Ермоха, ребятишки стоят перед глазами как живые. Егор уже не слушал, что говорил ему Архип, стакан за стаканом глушил крепкий, пахучий самогон и чувствовал, как вместе с хмелем все существо наливается жгучей злобой к бывшим хозяевам своим — Шакалам, виновникам всех его бед.

— Поеду, — решительно заявил он, поднимаясь из-за стола.

— Егорушка, родной, — взмолился Архип, — чего же ты не покушал как следует! Садись, дорогой, яишенки отведай.

— Я вернусь, дядя Архип, Ермоху сюда же примчу, мигом, — слегка пошатываясь, подошел он к двери, надел на себя шашку и, с винтовкой в руке обернулся к Архипу, — а заодно уж и к Шакалам забегу, рассчитаться с ними хочу за Настю, за все...

На дворе он закинул за плечо винтовку, вскочил в седло.

Глава XI

В то время как Егор заливал злобу на Шакала самогоном в избе Архипа, Ермоха хоряйничал в ограде Саввы Саввича. Сегодня он потребовал с бывшего хозяина дополнительную плату, за все годы своей работы. Сам-то Ермоха никогда не догадался бы так поступить, да люди надоумили. А случилось это так: в это утро Ермоха решил

¹ Пристяжник — во время пахоты обычно подросток, сидящий на переднем пристяжном коне.

не гнать на пастбище коров, до пастьбы ли тут, когда у хозяев и коровы-то не доены, а сами они от страха попрятались в подпольях!

Такая поднялась спозаранку стрельба из винтовок и пулеметов, и так тяжко ухали с бронепоезда дальновидные орудия, что земля содрогалась, а в окнах домов дребезжали стекла.

Партизаны вошли в Антоновку, когда солнце уже высоко поднялось над сопками. Затихла стрельба, ожил, задымил трубами поселок, улицы его заполнили красные конники. Ермоха с уздой в руках отправился на луг за конем, чтобы навозить бабам воды для поливки огурцов и капусты. На лугу, в полуверсте от поселка, его нагнал партизанский разъезд. Ермоха посторонился, уступая конникам дорогу, и тут среди них увидел соседа Рудаковых Ермакова. Тот, узнав Ермоху, приветствовал его, дружески улыбаясь:

— Здравствуй, дядя Ермоха!
— Здравствуй, Яков Михайлович!

Человеком Ермаков был общительным, а потому, хотя и торопился, чтобы не отстать от своих, придержал коня и, поговорив с Ермохой, посоветовал:

— А с Шакала доплату потребуй за все годы работы твоей. Вить он же тебя сплотировал, по-нашему сказать, много тебе не доплачивал, это уж мнимо по десятке-то в месяц зажилявал, а при нашей власти Советской такое не дозволено. Вот теперь за все это и сдери чистоганом. Конешно, деньги-то нынче никудышные, так ты с него скотом потребуй: быков пары две, коней, не меньше как трех, сбую к ним, телеги и все такое прочее! Ну и хлеба воза три.

— Что ты, Яков Михайлович, — ужаснулся, замахал руками Ермоха. — Да разве можно эдак-та?

— Можно, дядя Ермоха, ты сегодня же с ним рассчитайся, пока мы здесь, а то как махнет он от нас за границу, и все твое добро, пиши, пропало.

Ермаков галопом пустился догонять своих, а Ермоха, растревоженный неожиданным советом, посмотрел вслед партизану и, улыбаясь нахлынувшим на него мыслям, пошел искать коня.

На лугу, как нарочно, Ермоха набрел на шакаловских рабочих лошадей. Сегодня на них не работали, потому что с пахотой поуправились, а работников Савва Саввич отправил на заготовку дров. Лошадей тут было более десятка, и среди них три кобылицы с жеребятами.

Все еще размышляя о предложении красного партизана, Ермоха подошел к коням, остановился, глядя на своих питомцев. Все эти лошади, даже самые старые из них, родились при Ермохе. Всех их он вырастил, работая на них, заботился, как о своих собственных, кормил, поил, не давал в обиду, а одного из них, во-он того рослого, рыжего мерина, даже спас от смерти! Произошло это в холодное весенне ненастье, дождь сыпал тогда вперемешку со снегом, и в это время одна из кобылиц Саввы Саввича отбилась от косяка, ожеребилась в поле. Ермохе сообщил об этом знакомый парень. Старый батрак разыскал в степи кобылицу, окоченевшего, чуть живого от холода жеребенка укрыл снятым с себя ватником и версты три тащил его на руках до заимки. Там он затащил новорожденного в зимовье, отогрел его, выходил, и теперь это один из лучших коней в шакаловском дворе.

«А что, ежели и в самом деле потребовать с хозяев моих доплату? А ежели этого Рыжка взять, так он и так-то почти што мой, — глядя на рыжего, подумал Ермоха, — насчет быков-то многовато будет, чего уж там, а парочку лошадок прихватить — самый раз. Оно и

Шакалу нешибко убыточно, и мне не обидно будет, а уж ребятишкам Егоровым помочь хорошая получится, да и память об отце, царство ему небесное».

И, не рассуждая больше, изловил Рыжка и такого же роста вороную кобылицу с жеребенком.

— Будет теперь и у маленького Егорки свой жеребенок на масленнице, не пойдет просить к чужому дяде, — вслух сказал Ермоха, прилаживая на кобылицу узду из своего кушака.

Когда Ермоха, верхом на Рыжке и с кобылицей на поводу, заехал в ограду хозяев, Саввы Саввича дома не оказалось. Еще во время стрельбы ушел он к старшему сыну Трофиму, домой не показывался из боязни нарваться на партизан — местных жителей, из бывших своих работников.

В ограде Ермоха увидел множество седел, рядом сложенных возле амбара. Коней не было видно, партизаны отправили их на пастбище, а сами после сытного обеда завалились спать, кому где пришлось: на веранде, под сараем и в предбаннике. Отсыпались, понимая, что и следующая ночь будет для них бессонной.

Привязав коней к забору, Ермоха прошел в зимовье, где также спали на нарах партизаны, лишь один из них сидел на табуретке, чистил винтовку. Ермоха поговорил с Матреной, взял со стены ключи от амбаров и вышел. Затем он выкатил из-под сарай телегу на новых колесах, положил в нее два мешка муки пшеничной, мешок овса, яманию доху, унты, литовку, топор в натопорне из старого валенка, а к задку телеги привязал лагушку с дегтем. Все это он делал не торопясь, по-хозяйски, хомут на Рыжего надел сначала выездной-наборчатый, но, передумав, снял его, заменил другим — самодельным, но с новыми гужами и такой же шлеей. Он уже запряг Рыжего коренным, как в ограде появился Савва Саввич. Видно, кто-то сообщил Шакалу о действиях Ермохи, потому и рискнул он прийти в свою усадьбу, жадность пересилила страх от возможной встречи с красными сельчанами.

— Ермошенька, — жалобно заговорил он, подходя к телеге и пугливо озираясь по сторонам, — ты это куда же собрался на моих конях и добра всякого целый воз набрал? Грабишь меня среди бела дня! Побойся бога-то!

— Ну ты уж бога-то не примешивай, — Ермоха, все так же не торопясь, подтянул чересседельник, поправил на Рыжем шлею и лишь после этого обернулся к хозяину, — и не граблю я вовсе, сроду на чужое не зарился. А што теперь-то беру, так это за работу мою, за то, что чертоломил на тебя двадцать четыре года.

— Ну работал, верно, так ведь не даром, платил-то я тебе не хуже других.

— Хо-о! — старый батрак, улыбаясь, тронул рукой бороду, осуждающие покачал головой. — Плати-ил, как же, даже награду сулил кажин год за работу мою, неплохую, стало быть. Теперь одной этой награды сullenой накопилось, как добрые люди подсказывают, не меньше тыщи рублей! А тут, ежели по-прежнему считать, и на полторы сотни не наберется.

— Ну ладно, Ермолай Степанович, раз так, возьми муку, зерно, словом таво... что в телегу сложил, все возьми, а коней-то! Ну, где это видано, чтобы за работу конями брать с хозяев?

— Эх, Савва Саввич, а вот Рыжка этого, — Ермоха похлопал Рыжего по спине, — его и в живых бы не было кабы не я. А либо Воронуха вот эта, помнишь, как с матерью ее беда приключилась — молока у ней не стало, как я эту Воронушку из рожка поил молоком ко-

ровым, как ребенка малого! Выходил, вон какая она, матушка, стала! Да рази одних этих я тебе вырастил? А кто сено на них косил, овес сеял для них?

Ермоха, серчая, говорил все громче, злая обида звучала в его голосе.

— А ты такими словами коришь, какими сроду меня никто не обзывал! А помнишь, как одново, — и осекся на полуслове, увидев, как Савва Саввич испуганно съежился, попятился от него к амбару. Стоя спиной к воротам, Ермоха не видел, как с улицы в ограду на полном карьере заскочил Егор. Он на ходу спрыгнул с седла, едва не сшиб конем Савву Саввича и, чуть пригнувшись, двинулся на него пружинистым, медленным шагом.

— Не жда-ал? — прощедил он сквозь стиснутые зубы, нацелившись глазами на бывшего хозяина, — а я вот живой... посчитаться с тобой желаю... За Настю, за все!

И вдруг, в два прыжка настигнув Савву, выхватил из ножен шашку!

— Егор Матвеевич... — бледный, с перекошенным от ужаса лицом, Савва рухнул на колени, до земли склонился перед Егором. А тот, качнувшись всем телом влево, уже занес над ним шашку, но в этот момент за руку его схватил вовремя подоспевший Ермоха.

— Пусти-и! — тщетно пытаясь вырваться из рук старика, Егор тащил его за собой, а тот, упираясь, бороздил ногами землю.

— Не надо, Егор... не надо, — задыхаясь от натуги, хрюпел Ермоха. — Ох, грех-то какой... опомнись, поимей жалость... послушай меня, Егор!

На помощь Ермохе из зимовья прибежал партизан, тот, что чистил винтовку, вдвоем они справились с Егором, отвели его к телеге. Момент для расправы был упущен, и Егор весь как-то сразу обмяк, обессилив от борьбы и пережитых волнений. Очевидно, после такой встряски, хмель ударил ему в голову, он опустил ее на грудь, облокотившись на телегу, из ослабевшей руки его Ермоха без труда вынул шашку, вложил ее в ножны. Партизан, хорошо знавший Егора, пытался втемяшить ему:

— С ума ты сошел, Ушаков, али трибунал заработать вздумал?

— Пшел к черту!

— Да ты пьян! Ну, брат, донесется такое до Макара, так он тебе ижицу пропишет.

— Катись ты...

— Не хорошо, Егор, — в тон партизану заговорил Ермоха, — вить это беда... человека рубить. До чего дожили.

Голос Ермохи словно разбудил Егора, вскинув голову, оттолкнулся он от телеги и только теперь увидел старого друга, облапил его, принялялся целовать, бормоча бессвязно:

— Дядя Ермоха, родной... Вот оно как. Я ж к тебе...

— Пусти, дурной, — старик с трудом освободился из объятий Егора, — поедем ко мне, к Рудаковым, там и расскажу тебе все до-скончально.

— Нет, дядя Ермоха, — Егор, трезвея, поправил сбитую на затылок фуражку, ухватил за повод своего коня, теребившего зубами мешок с овсом, — давай лучше езжай к Архипу, я туда же приеду, только вот к командиру нашему забегу ненадолго, я мигом!

Только Егор скрылся за воротами, а партизан ушел в зимовье, дверь амбара открылась, и появившийся оттуда Савва Саввич подошел к телеге. Он еще не совсем оправился от пережитого ужаса,

мертвенно-бледное лицо его медленно розовело, а сам он весь как-то съежился, казался ниже ростом.

— Ермошенька, — заговорил он осипшим голосом, держась одной рукой за облучок, — уж как и благодарить тебя, не знаю. Век за тебя молить буду господа бога, ведь это он, милостивец наш, подослал тебя в эту минуту. Ох, кабы не ты, совсем бы таво... подумать страшно. Ну а коней-то, Ермолов Степаныч, возьми ты их, господь с тобой, за доброту твою ангельскую!

К вечеру этого дня оба полка красных партизан выступили из Антоновки. Вместе с ними из села двинулся длинный обоз, местные жители везли на телегах ящики с патронами и оружием, отбитыми у белых. А боеприпасы, в том числе ящики со снарядами дальнобойных орудий, которые не смогли забрать с собой, Макар приказал уничтожить, чтобы не достались врагу. Четыре больших вагона загрузили ими партизаны, прицепили к маневровому паровозу, вывезли и в верстах в пяти от села взорвали вместе с вагонами. Гулкое эхо от взрыва прокатилось по горам.

А в это время к месту, где партизанами был разобран железнодорожный путь, уже подходил семеновский бронепоезд, сопровождавший эшелон с пехотой, саперами и рабочими ремонтной бригады железнодорожников. Макар не стал дожидаться встречи с белыми, приказал оставить Антоновку.

В этот же день навсегда покинул Антоновку и старик Ермоха. От Саввы Саввича он заехал к Рудаковым, чтобы рас проститься, поблагодарить друзей, у которых в это лето жил на квартире.

Филипп Рудаков у себя в ограде обтесывал сухой березовый кряж на ось к телеге и удивился, увидев Ермоху, подъехавшего к дому на паре лошадей.

Воткнув топор в чурку, Филипп поспешил к воротам, где Ермоха уже привязал к столбу рыжего коренника, поправил на нем сбрую, потрепал по шее пристяжную — рослую вороную кобылу. Такой же масти жеребенок примостился к матери сосать, толкая ее головкой под брюхо, помахивая пушистым хвостом-метелкой.

— Ты это что же в ямщики поступил, что ли? — спросил Филипп, переводя взгляд с коней на добротную, пахнущую дегтем телегу. — Али сызнова к Шакалу закабалился? Кони-то вроде его?

— Его были, а теперича мои стали! Не веришь? Пойдем в избу, расскажу.

Своим рассказом Ермоха так удивил стариков Рудаковых, что они только ахали да хлопали себя руками по бедрам. Рассказал он и про Настю и про Егора, которого все они считали погившим, и про то, как Егор едва не зарубил Савву Саввича.

Окончание следует.

СТИХИ МОНГОЛЬСКИХ ПОЭТОВ

ОСЕНЬ

Стали редкими кроны дерев и желты,
Осыпаются листья с немой высоты.
Листопадит нетронутый сумрачный лес,
И похожи на стебли эзэра¹ кусты.

День за днем все сильней и сильней
холода.
Это осень уходит от нас навсегда,
Снег — предвестник зимы — подгоняет ее,
Он кружится и тает на глади пруда.

С. ДОРЖИПАЛАМ

Омертвельные листья шуршат на лету,
Хороводом безвольным летят в пустоту.
Осыпается лес, оголяется лес,
Скоро схватят морозы его наготу.

Мать-земля, что деревья вскормила собой,
Принимает в награду желтеющий рой;
Горный лес по-сыновьи укроет ее
От свирепых ветров и от стужи любой.

Все отдаст, до последнего листика, ей,
Чтобы матери было зимою теплей.
Только сам, как борец, выходящий на
круг,
Обнаженным останется в битве своей.

Он готовится к бою с жестокой судьбой,
Ветви-руки готовы принять этот бой.
Как безмолвный вопрос к человеку они:
«Твоя старая мать не забыта тобой?»



ПЕСНИ ХУРА

Среди азиатских горячих степей
Живет песнопевец народ.
Он с помощью двух незатейливых струн
О том, что изведал, поет.

Припомнив лихой аргамака разбег,
То с грустью, а то с огоньком,
При помохи двух незатейливых струн
Он в песне расскажет о нем.

¹ Э з э р — трава в Монголии.

Звучанием двух переливчатых струн,
Дыханием хур напоен.
И слышится в трепетной жалобе струн
Четыре разбега времен.

О, как многозвучен и красочен мир,
То светел, то сумрачно хмур.
Как с помощью двух незатейливых струн
Об этом поведает хур?

Все ближе и явственней цокот копыт,
Несется, как ветер, скакун,
И пыль придорожная тучей летит
Над песнею шелковых струн.

И лента дорог убегает назад,
Над струнами ветер свистит.
Я пальцами их обнимаю в пути,
И сердце сильнее стучит.

Мне в трепете двух переливчатых струн
Ты, милая, чудишься, ты.
В дрожании двух переливчатых струн
Душа упливает в мечты.

Чему удивляется красочный мир
В звучании шелковых струн?
Чему удивляется сказочный мир
В звучании шелковых струн?

О, как заключают две этих струны
Все вечное в песне своей?
Историю мира и тысяч племен,
Мечты миллионов людей?

Есть в мире две громких и вечных
струны —

Цвет ночи и белый — дневной,
Есть в мире две нежных ранимых струны —
Любовь и разлука с тобой.

Пускай многозвучен и красочен мир,
Столики деянья людей,
А вот же вмещают две звонких струны
Все вечное в песне своей.

Все ближе и явственней цокот копыт,
Несется, как ветер, скакун,
И пыль придорожная тучей летит
Над песнею шелковых струн.

И лента дорог убегает назад,
Над струнами ветер свистит,
Я пальцами их обнимаю в пути,
И сердце сильнее стучит.

Мне в трепете двух переливчатых струн
Ты, милая, чудишься, ты.
В дрожании двух переливчатых струн
Душа упливает в мечты.

Среди азиатских горячих степей
Живет самобытный народ,
Он с помощью двух незатейливых струн
О всем, что изведал, поет.

В звучании двух незатейливых струн,
Дыханием хур напоен,
И слышится в трепетной жалобе их
Широкая поступь времен.

*Перевод с монгольского
Александра НИКОНОВА*

НЕУТОМИМЫЙ РУССКИЙ МОЛОДЕЦ

ОЧЕРК

ПУТЕШЕСТВЕННИК ИЗ ПЕТЕРБУРГА

5 января 1871 года в иркутской гостинице «Амур» остановился молодой человек, назвавший себя почетным гражданином, членом географического общества Николаем Любавиным. Приезжий был лет двадцати пяти, среднего роста, с небольшой окладистой бородкой и короткими усиками на круглом лице. Очки оседали у него маленький острый нос, сквозь стекла смотрели на мир серые глаза. Русые волосы на голове зачесаны назад. В гостинице многие обратили внимание на то, что постоялец ходил быстро, говорил с легким малороссийским акцентом.

Агенты жандармского управления немедленно установили секретный надзор за Любавиным, а он об этом и не догадывался. Считая свой паспорт вполне надежным, молодой человек думал об одном — связать в городе связи с нужными людьми и скорее приступить к осуществлению цели, ради которой он спешил в Сибирь из Петербурга. Не желая попадаться на глаза городского начальства, он через несколько дней переехал из гостиницы на квартиру местного чиновника Чуркина. Однако на новом месте ему не повезло. Хозяин попросил предъявить паспорт. Выискивая разные причины, квартирант документа не давал. У Чуркина зародились сомнения, и он высказал их в полиции, а там давно уже были начеку.

Как ни хотел путешественник задерживаться в Иркутске, а задержаться пришлось. 1 февраля его арестовали в доме Чуркина. Во время обыска он проглотил скомканную бумажку с занесенными на нее сведениями. Петербуржец сделал вид, что визит непрошенных гостей во главе с полицмейстером Бориславским оскорбил его — почетного гражданина.

При написании очерка о Германе Александровиче Лопатине, кроме архивных материалов, использованы некоторые биографические сведения из брошюры П. Лаврова «Процесс 21», Женева, 1888; М. Начителя «Герман Лопатин в Сибири», Иркутск, 1963. Примечание автора.

— Исполнение служебного долга для меня прежде всего, — сказал Бориславский. — Извините за беспокойство, Герман Александрович Лопатин!

И теперь приезжий ничем не выдал себя, ответил с усмешкой:

— Вы, господин полицмейстер, злоупотребляете служебным долгом: не можете поймать какого-то Лопатина и хотите сдвинуть из меня козла отпущения!

У арестованного отобрали все документы, деньги, валенки и заряженный револьвер. Привели его не в тюремную камеру, а почему-то на главную гауптвахту при жандармских казармах. Ночью, ворочаясь с боку на бок на жестких нарах, было время проанализировать все, что произошло. Как случилось, что так быстро он дал обнаружить себя, почему поздно заметил слежку и не успел скрыться? В чем просчет, где ошибка? «Признают меня — провалитесь давно задуманное дело, откроется мое прошлое, и тогда припомнят все сразу. Буду стоять на своем — я Николай Любавин...».

За стенами гауптвахты в морозной дымке спал город. Арестант пролежал с открытыми глазами до рассвета. Память восстановила всю его короткую, но не зря проведенную жизнь. Раньше всего представились широкое раздолье Волги и город на ее берегу — Нижний Новгород, шумный, многолюдный. Это родина. Потом нарисовалася Ставрополь, куда перебралась небогатая дворянская семья Лопатиных. И вот весна 1862 года. С золотой медалью окончена гимназия, и семнадцатилетний Герман в Санкт-Петербурге поступает на физико-математический факультет столичного университета. Тут захлестнула его студенческая стихия. Друзья вовлекли Лопатина в революционный кружок Н. Иштутина¹ или «Рублевое общество», как его еще называли². Много читал, особенно увлекался книгами Черны-

¹ Н. Иштутин был приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, которую отбывал на Каме (Забайкалье). Умер от психического расстройства, его могила сохранилась до сих пор. (Здесь и далее примечания автора).

² Членский взнос составлял один рубль.

шевского. В кружке впервые услышал о Карле Марксе.

Четыре года пролетели быстрой птицей. Герман закончил курс учения, защитил кандидатскую диссертацию на мало разработанную в то время тему — о самопроизвольном зарождении. На руках документ, дающий право делать научно-педагогическую карьеру. А он искал в жизни другую дорогу. Еще студентом Лопатин познакомился с некоторыми каракозовцами¹. Сам в заговоре не участвовал, но планы группы знал. Долго оставался на свободе, его арестовали последним и вскоре отпустили, посчитав легкомысленным молодым человеком. В быту Герман был шутником и балагуром, слыл прожигателем жизни. Таким он предстал и в полиции. Это ему помогло. Только значительно позднее власти поймут, кто скрывался за шутовской внешностью.

В 1867 году 22-летний, романтически настроенный парень отправился в Италию, хотел примкнуть к Гарибальди, который тогда во главе своих отрядов пытался освободить Рим от власти пап и французских оккупантов. События развивались настолько стремительно, что Лопатин опоздал. Не успел он добраться до места, как битва при Ментоне 3 ноября закончилась пленением Гарибальди. Пришлось вернуться в Россию.

Первая заграничная поездка оставила незабываемое впечатление еще и потому, что Лопатин познакомился тогда с Александром Ивановичем Герценом.

В России путешественника ждали жандармы, пронюхавшие о его участии в «рублевом обществе». Пришлось вместе с друзьями кружковцами отвечать за издание литературы и продвижение ее в народ. Восемь месяцев он просидел за решеткой и лишь потом получил возможность попасть в Ставрополь, ближе к своим родственникам — его сослали туда под надзор поли-

¹ Каракозовцы — члены группы Д. Каракозова, готовившей покушение на Александра II. В апреле 1866 г. Каракозов стрелял в царя, но промахнулся. Был казнен.

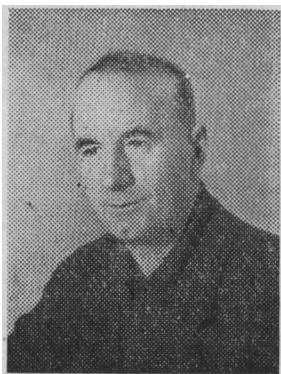
ции. Энергичный по натуре, Лопатин успевал везде: служил чиновником особых поручений у ставропольского губернатора и одновременно, как ни следили за ним, связался с местными революционерами, не оставаясь безучастным к их делам.

В декабре 1869 года новый арест и новый срок тюремного заключения. Едва начался январь 1870 года, как Лопатин сбежал во время вечерней прогулки. Теперь пришлось откастаться от своей фамилии, товарищи вручили ему паспорт на имя отставного поручика Скармунта. С таким документом, пожалуй, можно безбоязненно показаться в Петербурге. Тонко соблюдая конспирацию, Скармунт, он же Лопатин, выполняя задания подпольного центра, организовал побег П. Л. Лаврова¹ из вологодской ссылки за границу. Но охранка не переставала искать Германа Лопатина. Чужой паспорт не помог, надо было искать пути за рубеж. Покинув Россию, он продолжал свое независимое путешествие по маршруту: Вена — Берлин — Париж.

За границей в то время было много русских политических эмигрантов. Герман Александрович не находил с ними точек соприкосновения. А причина в том, что эмигрантские группы жили разобщенно, не имели ни единой программы, ни единых форм и методов борьбы с царским самодержавием. Лопатин поддерживал связь только с Петром Лавровым, несмотря на то, что расходился с ним по некоторым теоретическим вопросам.

За рубежом Лопатин получил возможность лучше познакомиться с деятелями международного рабочего движения. Тут он многое узнал о Карле Марксе и Фридрихе Энгельсе, вступил в одну из секций Первого Интернационала и активно сотрудничал в ней. В Париже принял решение, принесшее огромную пользу России, — дал согласие перевести «Капитал» К. Маркса. Первый том этого труда вышел в Германии в 1867 году, когда Лопатин находился в

¹ П. Л. Лавров — русский социолог и публицист, идеолог революционного народничества.



Читинский писатель Николай Тихонович Ященко родился в 1906 году. Еще юношей увлекся журналистикой — много лет работал в редакциях газет Восточной Сибири и Дальнего Востока. Его перу принадлежат три повести на историко-революционные темы: «Босоногая команда», «Искры не гаснут», «Журавли не знают покоя», два сборника сатиры и юмора и очерковые книги.

В 1973 году в нашем журнале опубликована документальная повесть Н. Т. Ященко «Северная точка».

ставропольской ссылке. Его петербургские друзья выписали книгу, и у них родилась мысль перевести ее на русский язык и тем способствовать пропаганде марксизма. Герман одобрял замысел своих товарищей, еще не думая тогда выступать в роли переводчика. Такая задача была не каждому по плечу. За перевод «Капитала» брался Бакунин, но он так и не справился с непосильной нагрузкой. А русский издатель Поляков усиленно искал переводчика. Друзья советовали Лопатину попробовать себя на этом поприще, однако утвердительного ответа он не давал. Теперь же, окунувшись в революционную работу, он принял предложение издателя.

Перечитывая «Капитал», Лопатин понял, что надо быть ближе к автору книги. С этой целью он переехал в Англию и поселился в Брайтоне, в восьмидесяти километрах от Лондона. 2 июля 1870 года автор и переводчик встретились в английской столице.

Воспоминания так взбудоражили Лопатина, что он вскочил с нар и долго ходил по общарпанному помещению гауптвахты, поглядывая на затянутое льдом окошко. До него не дотянутся. Да будь оно и ниже, все равно невозможно увидеть то, что в жизни осталось позади. Только собственная память способна восстановить дорогие картины прошедшего...

Маркс пригласил Лопатина к себе на квартиру, очень радушно принял, долго расспрашивал о России, познакомил со своей семьей. Герман был в восторге от Маркса и, не теряя ни одного дня, принялся за работу. Понадобилось перебраться в Лондон, частые встречи с автором быстрее продвигали перевод книги. За несколько месяцев автор и переводчик крепко подружились. Лопатин пришелся по душе Марксу.

— Вы неутомимый русский молодец! — говорил Карл Маркс Герману Александровичу¹.

В свою очередь Лопатин все более сознавал, что личное знакомство с автором «Капитала» оказало огромное влияние на его собственное мировоззрение.

Несмотря на то, что перевод «Капитала» требовал уйму времени, пылкая, кипучая натура Лопатина не ограничивалась только этим. Сентябрь 1870 года запомнился на всю жизнь — его избрали в состав Генерального Совета Интернационала. Как не посещать заседания этого высокого органа, как можно не участвовать в практических делах различных комиссий! Не раз Лопатин выступал с докладами по вопросам, касающимся России. А сколько давало личное общение с Марксом и Энгельсом, ведь не-

¹ На родине К. Маркса, в г. Трире (Западная Германия), создан музей. В экспозиции и теперь можно видеть портреты близких людей и соратников Маркса, с которыми он встречался, вел переписку. Среди них фотография Германа Лопатина.

многим революционерам выпадала честь действовать рука об руку с вождями международного рабочего движения, беседовать с ними, выслушивать их наставления и выполнять поручения. Именно к Марксу примкнул Лопатин, когда тот вел непримиримую борьбу с Бакуниным. Тут «русский молодец» вступал в полемику и с Лавровым, который гнул линию на смыкание с Бакуниным.

До декабря 1870 года Лопатин перевел значительную часть «Капитала», ясно видел, как довести работу до конца. И в то же время он не мог побороть в себе желание отложить перевод ради другого большого дела...

Еще юношей Герман Александрович увлекался произведениями Чернышевского, и с тех пор его не оставляла мысль, как можно допустить, чтобы революционер и великий мыслитель Николай Гаврилович томился на каторге, где-то в Сибири. Спасти его, помочь ему освободиться — разве это не благородная цель? Чернышевский принадлежит России, и он должен быть на воле, чтобы стать главой русских революционеров. Только Чернышевский способен на это! А будь он за границей, русская эмиграция, разобщенная, не имеющая вожака, сразу бы нашла свое место в революционном движении. Нельзя медлить! Непременно надо ехать в Сибирь, петербургские друзья готовы поддержать осуществление его дерзкого плана. А как же с окончанием перевода «Капитала»? Как отнесется Маркс к внезапному исчезновению переводчика? Маркс должен понять «неутомимого русского молодца». Ведь автор «Капитала» сам опечален трагической судьбой Чернышевского — публициста и гражданина, которым должна бы гордиться Россия. Лопатин неоднократно слышал от Маркса, что он знает произведения Чернышевского, высоко ценит их и называет превосходными. Поездку в Сибирь откладывать нельзя, она не будет долговременной...

В камере иркутской гауптвахты Герман Лопатин также громко, как перед отъездом из Лондона, произнес:

— Перевод «Капитала» закончу, когда вернусь¹.

Не говоря Марксу ни слова, Лопатин оставил Англию. Чертеж его характера: что задумал — делай, не откладывая. А Маркс мог отговорить. В Россию путь держал через Швейцарию, поэтому задержался недолго в Женеве. Знакомый издатель Эллидин вручил ему новый паспорт, якобы выданный в Лондоне, дающий право беспрепятственно следовать через русскую границу. Герман Александрович превратился в сербского студента Ракича. И вот он в Петербурге.

Всю дорогу от берегов Темзы до берегов Невы он пытался составить в уме план освобождения Чернышевского из забайкальской каторги, но ничего придумать

¹ Перевод заканчивал Даниельсон, друг Лопатина.

не мог, так как не знал конкретной обстановки. Срок пребывания Николая Гавриловича в далекой глухомани истек, но освободили его или нет, где он сейчас, куда его повезут или уже повезли на поселение — ничего не было известно. В Петербурге надежные друзья не могли дать практических советов, потому что сами не располагали нужными сведениями. Россия велика, и никак не скажешь, что от Петербурга до Забайкалья рукой подать. Зато товарищи достали необходимые географические карты, деньги, паспорта на двух человек, снабдили его адресами сибирских революционеров, к которым Лопатин мог обратиться за помощью.

«А недостающие сведения о Чернышевском соберу в пути», — твердо решил Лопатин.

Перед отъездом Герман Александрович написал Марксу в Лондон, пообещал скоро вернуться...

Путешествие в Восточную Сибирь началось в середине декабря 1870 года. На многочисленных остановках он называл себя Николаем Любавиным, членом географического общества. Предъявлял соответствующие документы. На вопрос о целях поездки отвечал:

— Исследование края и коммерческие дела!

Покачиваясь и подпрыгивая в тряском тарантасе, пытался представить себе, каким образом осуществит он задуманное дело. Конечно, оно не простое. Риску и непредвиденных трудностей хоть отбавляй. Попробуй-ка из цепких лап царских слуг вырвать государственного преступника с таким громким именем. Ведь ему на каторге да и в ссылке шагу не дают ступить без усиленной охраны. Царь и правительство боятся Чернышевского даже и за много тысяч верст от Петербурга.

На стоянках он осторожно расспрашивал попутчиков и встречных, сколь велика мать-Сибирь, каково живется тут людям, особенно тем, кого пригнали сюда под конвоем, да еще в кандалах. И что это за каторжные тюрьмы за Байкалом, кого именно упредили туда, какими путями добираться до тех мест. Спрашивал будто ради праздного любопытства. И как-то не приходило в голову, что подобные расспросы кому-то бросаются в глаза, кто-то уже заметил любознательного господина. Кто-то увидел в нем грозного ревизора из столицы...

Так и ехал Лопатин, по паспорту Любавин, в окружении слухов и догадок, в которых иногда проглядывало и что-то достоверное. Каким же образом на огромном пути, протянувшемся от Невы до Ангары, узнали настоящую его фамилию, откуда она вынырнула и поплыла по бурмажным волнам канцелярий сибирских городов вплоть до Иркутска? Герман Александрович не ведал ни того, что власти уже знают его подлинное имя, ни того,

кто, неосторожно проговорившись, выдал его.

Первая бессонная ночь на нарах гауптвахты не открыла ему этой тайны.

ЧЕРНЫЕ ТУЧИ НАД ГОЛОВОЙ

Утром Германа вызвали на допрос. В кабинете следователя его встретил коренастый чиновник с черными торчащими вверх усами и бритым подбородком.

— Подполковник Купенков, — представился он, не вставая из-за стола. — Буду вести ваше дело. Кстати, дознание производится при штабе офицера корпуса жандармов полковника Дувинга.

И сразу же огоршил арестованного:

— Так вы значит тот самый Герман Александрович Лопатин, который прибыл в наши края, чтобы устроить побег известному всей Российской империи преступнику Чернышевскому?

На лице арестованного следователь мог заметить только горькую усмешку.

— Перед вами Николай Любавин, кандидат Санкт-Петербургского университета, а господин Лопатин...

— Лопатин! — громко поправил Купенков.

— Извините! Так я говорю, что названный вами господин Лопатин должно быть находится в какой-то другой камере.

Подполковник резко поднялся, и Герман увидел, какого высокого роста человек, в руки которого попала теперь его судьба.

— Увести! — кивнул конвойному следователь. — На сегодня хватит. Завтра Лопатин все подробно расскажет о себе.

Герман не обернулся на эти слова.

Через полчаса в глазок на дверях гауптвахты он увидел, что для его охраны выставлен усиленный пост — три солдата, и ефрейтор.

«Как меня узнали?» — этот вопрос мучил Германа. Он перебрал в памяти все детали поездки от Лондона до Иркутска и не нашел того, на кого бы могло пасть подозрение в предательстве.

Лопатин не знал причины своего ареста, а министр внутренних дел России знал, шеф жандармов в Санкт-Петербурге граф Шувалов знал. Знали также военный губернатор Восточной Сибири Синельников, начальник Иркутской губернии Шалашников и полицмейстер города Иркутска Бориславский. Причиной ареста стала его собственная неосторожность. Невероятно, но факт. Революционер, прошедший не раз огонь и воду, провалился в начале пути, еще не успев пересечь русскую границу. Конечно, он и не предполагал, что издатель Элпидин, вручивший ему паспорт на право въезда в Россию, проговорился агенту царской охранки. Элпидин сказал, что в Сибирь отправился неизвестный (фамилию не назвал), собирающийся освободить Чернышевского. И дальше все пошло как по маслу: агент отправил шифрованную телеграмму в русскую столицу, отту-

да секретные депеши полетели по городам России. Жандармы знают, как среди неизвестных находить известных. Из Иркутска телеграммы пошли дальше на восток. Пусть и там приглядываются к неизвестным, вдруг план путешественника удался, Чернышевский оказался на свободе и вместе со спасителем пробирается за границу. Китай ведь рядом. Герман, наверное, уже успел забыть, кто был его попутчиком от Казани до Иркутска. Теперь этот спутник напомнил о себе восточносибирским властям, им оказался начальник амурского телеграфа Ларионов. Он сообщил, что ехал с кандидатом Санкт-Петербургского университета Николаем Любавиным и подробно описал его внешность. Короче сказать, нарисовал точный портрет Лопатина.

С каждым днем все более настойчиво Купенков требовал от Лопатина признания.

— Вы же образованный человек, — говорил он Герману, — вы знаете законы и понимаете, что чистосердечное признание значительно облегчит вашу участь.

Лопатин качал головой.

— Я в очках, но ни одной своей вины на вашей ладони не вижу!

— Оставьте ваши остроты при себе! — Купенков достал из ящика стола тощую папку. — У меня факты. — Он издали показал Герману исписанный лист. — Студент Лопатин входил в запрещенный кружок Ишутина, судился, ссыпался под надзор полиции в Ставрополь. Снова судился, бежал из тюрьмы. А вот еще бумага об участии Лопатина в революционном движении за границей...

— Так это же факты против какого-то Лопатина. При чем тут я? Меня, Николая Любавина, арестовали ошибочно!

— У вас короткая память! — раздраженным голосом обнаружил свое нетерпение Купенков. — Идите в комнату с решеткой и постараитесь вспомнить свою настоящую фамилию.

На гауптвахте Герман снова начинал анализировать... Да, с фамилией они его прижмут, тут долго не поддержишься. А что если назвать себя? Будут судить за проживание по чужому паспорту, за это много не дадут. У них нет никаких улик по самому главному пункту, зачем он, Лопатин, сюда приехал.

На допросе 13 февраля, через две недели после ареста, Купенков по обыкновению спросил:

— Так кто же все-таки вы, таинственный путешественник по сибирским просторам?

Арестованный галантно раскланялся.

— Я вижу, господин следователь, вы давно добываетесь знакомства со мной. Охотно иду вам навстречу, я действительный Герман Александрович Лопатин!

Усы Купенкова задергались, лицо расплылось в улыбке.

— Давно бы так! Видите, как сразу далеко продвинулось ваше дело!

— Скорее ваше, чем мое!

— Пусть будет так, но вы тоже заинтересованная сторона. Теперь остается выяснить еще один вопрос. Скажите: как вы собирались освободить Чернышевского? Куда — в Россию или за границу — хотели его увезти?

Настала очередь улыбаться Лопатину.

— С удовольствием бы, господин следователь, но ничего сказать не могу. Видит бог, никоим образом не причастен.

— На миг, только на миг представим себе, что это так, — Купенков взял большой, остро очищенный красно-синий карандаш. Тогда скажите, какая неволя заставила вас тащиться на лошадях в наши дальние края?

— Почему я сюда приехал? Вы называете меня путешественником, а я скорее переселенец. Не удивляйтесь! Мне надоели вечные скитания, невмоготу стало прозябание вдали от родных мест, постоянная забота о куске хлеба. Вот почему по чужому паспорту я поехал в Сибирь. Хотелось уйти от всего, что надоело, что измучило. Явилось желание уединиться в суровом краю, где я никого не знаю и где никто не знает меня. Говорю вам это, как на исповеди, господин следователь.

Некоторое время Купенков молчал, потом бросил на стол карандаш.

— Что-то не то, Лопатин.

— Не верите? — искренне удивился Лопатин. — Тогда я беру на себя роль следователя, обращаю вас в арестованного и говорю вам: «Выкладывайте ваши доказательства того, что я готовил или готовлю кому-то побег. Факты на стол, господин Купенков. Я жду!»

— Вот что, Лопатин! Спрашивать все-таки буду я, а отвечать вы. Мы еще не поменялись ролями. При аресте вы проглотили комочек бумаги. Зачем? Улики, спрятаны?

— Не хотел, чтобы посторонние знали о моих интимных делах. Я все выложил. Готов подписать вышесказанное!

— Увести его! — приказал Купенков конвойному.

Жандармский полковник Дувинг, выслушав сообщение Купенкова о последнем допросе, помрачнел.

— Что мы теперь скажем Петербургу?

Действительно, о чем докладывать высшему начальству в столицу после всего, что произошло. До сих пор рапортовали, что прибывший в Иркутск неизвестный, намеревающийся организовать побег Чернышевскому, находится в руках полиции. Теперь неизвестный стал известным, но власти не имеют никаких оснований обвинять Германа Лопатина даже в попытке что-либо сделать для освобождения крупного государственного преступника.

— Ума, не приложу, как докладывать в Петербург! — развел руками Купенков.

Тучный Дувинг пыхтел за столом, как паровоз.

— Ух, положеныице, черт возьми! Что же вы предлагаете?

Купенков стал излагать свою точку зрения на подследственного:

— Вы понимаете, Лопатин очень опытен и умеет вести себя на допросах. У него все получается складно и логично. О цели своего приезда говорит уверенно — желаю поселиться вдали от мирской суеты. Чем можно опровергнуть такое утверждение? Ничем! Зачем привез с собой довольно-таки крупную сумму денег? А как же без денег ехать в такую даль, как устраиваться на жительство, не имея здесь ни родных, ни близких? Справишься, где взял крупную сумму, а он в ответ: за границей имел хорошие зарплатки, жил скромно, образовались излишки. Для чего ему понадобился револьвер? Кто же отправится в такую дорогу без оружия, в сибирской глухи могут встретить проезжего волка и бродяги. Резонно! И так на все у него всякие доводы.

Дувинг тяжело ворочался в кресле, сопел, перекладывая на столе с одного места на другое какую-то бумагу. Потом протянул ее Купенкову.

— Вы правы, милейший. Лопатин крепкий орешек. Вот полюбуйтесь! Это характеристика Германа Лопатина, составленная третьим отделением.

Читая сочиненный в Петербурге документ, Купенков увидел, что его точка зрения не расходится со столичной:

«Герман Лопатин умен, с большими способностями, характера твердого, настойчивого, предприимчив, умеет расположить тех лиц, которые ему нужны. Вместе с тем натура его кипучая, требующая деятельности, но деятельности в противоправительственном духе, так как во всех его действиях и даже в письменных объяснениях весьма рельефно проглядывает ненависть к правительству и настоящему порядку в России».

— Как полагаете, — спросил Дувинг, — в какой цене Чернышевский в революционной среде?

— В самой высокой! В России и за границей его считают титаном революционной мысли и действий!

— Вот-вот! — Дувинг принял из рук Купенкова петербургскую бумагу. — К какой мы должны сделать вывод? Не дать свободы этому титану мысли и действий! Не дать! Иначе...

Полковник не закончил фразу, но Купенков понял, что хотел он сказать.

— Мы пока не можем доказать, что именно Лопатин собирается дать свободу Чернышевскому! — остороженько напомнил он своему начальнику.

Дувинг выпятил жирные губы.

— Мы должны доказать это! И мы обязаны лишить свободы Лопатина как можно надольше.

— А что сообщить в Петербург сегодня?

Снова заворочался и запыхтел в кресле Дувинг.

— Пока ведете следствие — будем молчать. Если Лопатин станет все отрицать,

я пойду к начальству, пусть оно тоже голову ломает.

Следствие закончилось в конце февраля 1871 года. К этому времени Купенков подписал последний, 97-й лист дознания и передал протокол полковнику Дувингу. Тот долго кряхтел, чесал затылок.

— Ни одной строчки о том, что Лопатин виновен в подготовке похищения Чернышевского! Эх...

К генералу Шалашникову он пошел с предложением держать арестанта на гауптвахте до тех пор, пока он не скажет того, что нужно корпусу жандармов.

Начальник Иркутской губернии, наоборот, не был настроен возиться с задержанным путешественником.

— Не исхлопотать ли нам разрешение на отправку этого господина в Петербург?! Пусть там с ним разбираются.

На том и порешили. Бумагу с нарочным отправили в тот же день. Свои действия оправдали тем, что в Иркутске нельзя доказательно обвинить Лопатина в попытке вызволить из неволи преступника крупного масштаба. Бессспорно лишь то, что Лопатин незаконно проживал под чужим именем. Может быть, в столице найдут еще что-нибудь более веское.

В Петербурге высшие власти тоже задумались. За что судить Лопатина? Можно припомнить ему побег из ставропольской тюрьмы, прибавить к этому фальшивые документы, добытые перед отъездом в Сибирь. И все равно большого дела с политическим звучанием не получится.

Не торопился Петербург с ответом Иркутску...

Пока начальство думало да гадало, Лопатин продолжал сидеть на гауптвахте под охраной трех рядовых и одного ефрейтора. Он терпеливо, не падая духом, ждал. Ждал и строил в уме планы освобождения Чернышевского. Герман Александрович все еще верил в такую возможность. Приговоренный к каторжным работам на семь лет, Николай Гаврилович Чернышевский в августе 1884 года был доставлен на Нерчинские рудники. Два года пробыл в Кадае, затем был переведен в Александровский Завод. Каторжный срок истек. Царский узник все еще находился в Александровском Заводе Забайкальской области. О переводе его на поселение центральная и местная власти и не помышляли — так испугало их известие о появлении в Восточной Сибири человека, задавшегося целью вырвать Чернышевского из каторжного края. По этой причине был усилен надзор за Чернышевским и откладывался переезд его на поселение. Нужен такой медвежий угол, откуда бы он не вернулся живым.

Лопатин ждал, когда ему на гауптвахту принесут сообщение о начале судебного процесса над ним. Чем скорее суд, тем ближе конец мытарствам и надоевшему безделью. Дни и недели бегут, а ответа из-

Петербурга нет, никто не открывает тяжелую дверь гауптвахты и не кричит: «Эй, выходит в канцелярию!» Лишь в апреде столицы изволила прислать бумагу о том, что Лопатина предлагается судить в Иркутске. Германа известили об этом.

Однажды на гауптвахту заглянул Дувинг. Попыхтел, посопел и, одолев одышку, прохрипел:

— Суда нет и скоро не будет!

Дело в том, что не хватало документов, удостоверяющих личность Лопатина. Их можно найти только в Ставрополе. Запросили раз — молчок, запросили другой — безрезультатно. А запросы отсюда идут долго.

Надвигался июнь. Герман подал Дувингу прошение с просьбой перевести его в тюремный замок, к людям, одиночество стало ему невмоготу.

— В просьбе отказать! — передали на гауптвахту приказ полковника корпуса жандармов.

Попросил еще раз. Дувинг, оказывается, сам не может или не хочет решить вопрос. Запросили Петербург. Шеф жандармов граф Шувалов, отвечая, ловко вывернулся:

«Нужно перевести в общую камеру под личную ответственность полицмейстера. Если невозможно — оставить в отдельной камере».

3 июля полковник Дувинг и полицмейстер Бориславский сидели в душном кабинете, по очереди вертели в руках директиву центра и гадали, как ее выполнять. Дувинг, вытирая платком потное лицо, говорил:

— Пока Лопатин на нашей гауптвахте, я спокоен, запоры у нас крепкие. Переведем в тюрьму, ей-богу, сбежит, и тогда вы в ответе.

Бориславский налил воды из графина, выпил ее.

— А я и не собираюсь брать на себя ответственность. Пусть сидит у вас.

В кабинет торопливо вошел жандармский ротмистр и доложил:

— Только что с гауптвахты убежал Лопатин!

Все произошло неожиданно. Лопатин в сопровождении конвойного пошел в туалет, расположенный в конце большого двора жандармского управления. Долго не думая, он со всего размаха прыгнул на забор, перевалил его и побежал к площади. Оцепеневший караульный поднял тревогу и бросился вдогонку. За Германом бежало несколько человек. Едва он свернул на первую улицу, его схватили и привели обратно.

Заскрипела дверь. Переваливаясь, как утка, в помещение ввалился Дувинг, за ним вошел Бориславский.

— Ну-с, вдохнули свободы?! — захрипел полковник. — Встать, когда с тобой... с вами разговаривают!

— Я устал! — тихо проговорил Герман, надевая очки, — но свободы малость хлеб-

нул. Свобода, даже короткая, всегда сладка!

— Это не первый побег в вашей арестантской жизни? — допытывался Бориславский.

— Да, в моей революционной деятельности это не первый побег. И не последний.

— Вы слишком самоуверенны, Лопатин! — Бориславский отошел к дверям и потрогал запоры.

— Ну вот что! — сказал Дувинг. — Вы просили перевести вас в тюремный замок. Сегодня ваша просьба будет удовлетворена.

— Вас переведут в тюрьму, но не в общую камеру, а в одиночку! — пояснил полицмейстер.

Было ясно, что по дороге на гауптвахту Дувинг и Бориславский нашли общий язык.

ЦАРСКОЕ ПРАВОСУДИЕ

К удивлению Германа Александровича, его неудачный побег ускорил судебное разбирательство. Дело сварганили наспех. Доказанное и ничем не подтвержденное свалили в одну кучу, объявили заранее написанный приговор: сослать Лопатина в Якутскую область. Властиам надо было поскорее упратить беспокойного арестанта подальше от городов и крупных селений, порвать все его связи с революционным движением.

Лопатин, однако, добился пересмотра дела. 10 августа он предстал перед губернским судом. Лопатин сам защищал себя и распутал клубок нелепостей вокруг его дела. Теперь суд рассматривал один вопрос — проживание Лопатина в Иркутске по чужим документам. И вот новый приговор — сто рублей штрафа, вернуть задержанному валенки, деньги (за вычетом штрафа) и револьвер.

— Свобода смотрит в окно моей одиночки! — сказал себе Лопатин и всю ночь проспал крепким сном.

Иначе думали в жандармском управлении и других инстанциях. Узнав о приговоре, граф Шувалов прислал срочную бумагу: из тюрьмы Лопатина не выпускать до его, шефа жандармов, распоряжения.

— Ну что же, — сказал Лопатин жандармам, — буду продолжать борьбу.

Снова протесты и апелляции. Всем инстанциям он задавал один вопрос: по каким законам российского государства держат человека в тюрьме, если есть приговор суда о даровании ему свободы, утвержденной губернатором?

На этот раз Лопатин добился некоторой победы — из одиночной камеры его перевели в общую, к политическим заключенным.

Не успел он оглянуться на новом месте, как его повели под конвоем к Дувингу. Оказалось, что одиночка, из которой только что он ушел, вдруг заинтересовала тюремщиков.

— Ну-с, господин путешественник или переселенец, как вы себя тоже называете, куда собирались на этот раз? — спросил Дувинг.

Лопатин пожал плечами.

— Я поясню! Вы готовили новый побег из тюрьмы! В вашей камере нашли пилку, гвозди, кусок железа. Нашли и порошок сулемы.

Дувинг навалился животом на стол, правую руку протянул вперед, словно желая схватить Лопатина.

Лопатин заговорил без раздражения, хотя внутри у него все кипело.

— Господин полковник, кто-то очень плохо написал пьесу «Тайна одиночной камеры». И кто-то очень плохо поставил спектакль. Похоже, что вы автор того и другого!

— Без комедий, арестант Лопатин! Отвечайте по существу!

— Отвечаю по существу! Я давно уже не арестант. По решению суда я уплатил штраф и должен быть на свободе, а вы незаконно держите меня в тюрьме.

Полковник выкрикнул:

— Заключенный Паклин донес смотрителю тюрьмы о вашей подготовке к побегу.

Все стало ясно Лопатину.

— Вы, господин полковник, не хотите видеть белых ниток, которыми сшила эта обыкновенная арестантская штука. Доносчик из уголовных со мной в одиночке не сидел. Не сомневаюсь, он сказал все, что ему подсказали. За это он получит или уже получил свободу, а вы лишний материал для обвинения меня в том, чего я и во сне не видел. Как выразился бы ваш Паклин, прививает мне новое дело.

— Убрать! — рявкнул Дувинг.

Пока появились конвойные, Герман успел сказать:

— Вы хотите вечно держать меня под замком, вы боитесь меня...

Граф Шувалов затребовал в Петербург все дела Лопатина и довольно быстро на этот раз дал письменное распоряжение:

«Впредь до рассмотрения этих дел в Третьем отделении я полагал бы освободить Лопатина из-под стражи с воспрещением ему выезда из Иркутска и с подчинением его строгому полицейскому надзору».

Таким образом, спектакль Дувинга не имел успеха. А календарь уже показывал вторую половину 1871 года.

Не зря говорят, бумага все стерпит. Директива пришла, а Лопатин все равно еще более месяца пробыл в тюрьме. Освободили его лишь в канун 1872 года.

Не забывая об осторожности, кинулся он узнавать, где Чернышевский, что с ним стало.

Петербургские власти долго искали гиблое место для отбывшего каторгу Чернышевского. И выбрали Вилойск в Якутской

области, считая его самым подходящим для проживания больного человека. Расположен Вилойск на кочковатом болоте, имел тогда 36 домишек, нескольких якутских юрт, одну церквушку. Да еще деревянный острог. А кругом глухая тайга. Климат суровый — морозы до 50 градусов.

20 декабря 1871 года, когда Лопатин отсчитывал последние дни своего пребывания в камере, Чернышевского доставили из Александровского Завода в Иркутск, чтобы без задержки отправить дальше на Север. Одиннадцать суток везли его жандармы на лошадях по зимней дороге. А впереди еще 3529 верст пути.

Да, Чернышевский был рядом, но его недолго продержали в губернском жандармском управлении. Он попросил разрешения протелеграфировать близким о перемене местожительства. Губернатор разрешил. Канцелярия выделила один лист бумаги, на котором Николай Гаврилович убористым, чуть склоняющимся вправо почерком написал адрес жены Ольги Сократовны.

— Не велено! — сказал наблюдающий за переселением жандармский штабс-капитан Зейфорт.

Тогда Чернышевский написал: «Петербург. Святейший Синод. Терсинскому». Такой адрес устраивал штабс-капитана, он не знал, что Терсинский является родственником Николая Гавриловича и сможет передать содержание телеграммы Ольге Сократовне. Телеграфный текст был короток: «Еду в... жить. Поездка очень удобно устроена. Я совершенно здоров».

Но куда же все-таки везут, где именно придется жить? Штабс-капитан Зейфорт говорит, что место поселения указывать не разрешается, об этом станет известно, когда закончится поездка. И Николай Гаврилович зачеркивает в тексте букву «в» и сверху надписывает «на север».

Три жандарма везли Чернышевского по улицам города, может быть, действительно мимо тюрьмы, где томился Лопатин. Великий узник не знал Германа Лопатина, ему неведомо, зачем приехал из Петербурга «неутомимый русский молодец».

Теперь и Лопатину жить под надзором полиции. Иркутск покидать запрещено, дал подпись о невыезде. Впрочем, подпись тоже бумага, она все вытерпит. Пора готовиться всерьез к побегу. Свобода у него ограниченная, но действовать можно, а это уже жизнь. Надо оглядеться, найти квартиру.

Военный лекарь Ильин уступил ему одну комнату. Оставалось найти работу. Из 1085 рублей, с которыми он выехал из Петербурга, осталось 700. Деньги немалые, но тратить их на себя он не мог, еще неизвестно, как сложится дальнейшая судьба. Главная цель — спасти Чернышевского — не выходит из головы.

Герман Александрович поступил на 20 рублей в месяц в контрольную палату, стал давать уроки — еще 40 рублей. Однако все это мелкая проза жизни. В Иркутске

не житье. Граф Шувалов и полковник Дувинг не позабыли о Лопатине, по-своему заботятся о нем. Самое лучшее — бежать. Зимой, конечно, немыслимо, пусть придет лето. А дадут ли ему дожить тут до тепла?

В январе 1872 года граф Шувалов еще раз затребовал два тома лопатинского дела. Шли новые поиски улик. В январе шеф жандармов в сердитом тоне написал в Иркутск отношение о том, что он считает дело Лопатина незаконченным. Во-первых, не обратили внимание на то, что Лопатин прибыл в Сибирь с запасом подорожных

бланков и других документов. Зачем они одному путешественнику? Вот и хорошая зацепка, чтобы возобновить следствие и судебное разбирательство. А, во-вторых, по суледему пробел. Почему свернули обвинение? И это дело пересмотреть! Если нужно — можно арестовать Лопатина вторично.

Дувинг и его помощники потирали руки. Это же прямое указание упратать Лопатина за решетку. Рады стараться!

Новые грозовые тучи собирались над головой Лопатина, а гром так и не грянул. Не успел!

Окончание следует.



Сергей МЕЩЕРСКИЙ

КОГДА ПРИЛЕТАЮТ ПТИЦЫ

ОЧЕРК

Яков Костючок неожиданно заглушил мотор, легко выпрыгнул из кабины и махнул рукой.

— Случилось что? — торопливо спросил Журавский.

— Случилось, Аркаша! Ты на небо, на небо посмотри.

Подъехал Елхин, тоже вышел из кабины, не заглушив двигателя, и молча стал рядом.

— Гляньте, Петр Иванович! Птицы летят! Вон там, над селом.

В высоком и чистом апрельском небе на фоне праздничного заката суетливо и неровно летела с юга стайка гусей. Ломался их четкий строй, иногда рассыпался и собираяя вновь. Может, устали птицы за время долгого перелета, может, уже прибыли к станции назначения?

— Место, наверное, выбирают, где совершить посадку! — предположил Аркадий Журавский.

— Нет, это им известно. Вожак знает, куда лететь, — заметил Елхин.

Они еще постояли, прослеживая полет стаи, а потом, не сговариваясь, глянули на поле.

— Сегодня закончим влагу закрывать, а завтра надо на шестое поле перебираться, удобрения вносить. Весна спешить заставляет! — Елхин смотрел на своих молодых помощников: кандидата в члены звена Якова Костючка, веселого и порывистого парнишку, спокойного и сосредоточенного Аркадия Журавского. Понимал звеньевую, что многое еще осталось работы, раньше чем к одиннадцати не управиться. — Поняли, ребята

Костючок, теперь уже из кабины ДТ, еще раз глянул на небо — птиц не было! — и включил двигатель. В Степном уже заглядывали вечерние огни.

Хорошая и трудная это судьба — встречать в поле весной перелетных птиц, провожать их в поле прохладным осенним днем. Возвещают они начало стремительного времени пахоты, сева, когда после зимней слабины вновь напряжены все силы и невольно ловишь себя на том, что дрожит в тебе какая-то звонкая натянутая струна. А потом те же самые птицы, унося с собой прозрачную осень, оставляют

тебя одного на стылой земле, оставляют в удивлении от содеянного среди долгого и холодно вздыбившегося, почернелого, перепаханного поля. Бодрит спелый воздух ноябрь, еще не пришла усталость, и непривычно от звонкой тишины уходящего года.

В 1951 году весну в Степном Петр Елхин не застал. Когда приехал он после семилетней службы в армии, на Тихоокеанском флоте, в то село, где жили мать, сестра и братья, было уже лето, готовили к уборке комбайны. Пошел штурвальным. Дома кротко сказал своим:

— Скукал по земле все годы. Я ж — крестьянин. Жатву закончим, попрошу на трактор. Может, какой старенький дадут?

Дали бывшему моряку дизельный ЧТЗ-65; вот с ним на пару и встретил Петр Елхин первую свою крестьянскую осень после войны, тогда же впервые и проводил перелетных птиц. Возможно, летели они с Камчатки, где проходили последние годы его службы. Некогда было моряку размышлять над этим — стремительный темп полевых работ настиг Елхина сразу, вернее, он сам задал себе его тогда.

Война и долгая служба после войны приучили его не щадить себя, не расслабляться надолго. И к тому времени, как в Степном из подсобного хозяйства Дальзавода сделали опытно-производственное хозяйство, Петр Иванович был уже классным пахарем и комбайнером, человеком, интересующимся техникой и агрономией. Извечная крестьянская забота о том, как получить урожай побольше, крестьянская основательность соединились в Елхине с военной собранностью, флотской требовательностью к себе. Люди подметили это. И когда в 1962 году образовалось два механизированных звена, командиром одного из них трактористы назвали Елхина.

«Он и книги читает по агротехнике и по машинам, и человек самостоятельный, — объяснили механизаторы свой выбор, — пусть берется за звено».

Вторым звеньевым стал в те годы тракторист Дмитрий Павлович Шевцов, но когда решили оба звена соединить и образовать одно мощное, ведущее все полевые работы, то люди снова отдали предпочтение Елхину. Стало под его началом



П. И. Елхин

Фото В. Барабаша

шестнадцать трактористов, причем, иные были и постарше возрастом, побогаче опытом, а все же подчинились Петру Ивановичу охотно, видели: справедлив их звеньевой, никаких себе поблажек не дает. Вожак!

Жена, Валентина Николаевна, спросила как-то у мужа:

— Объясни, Петя, почему тебя каждый год выбирают в звеньевые?

— Наверное, Валя, потому, что я наравне со всеми работаю. Они до одиннадцати вечера пашут — и я до одиннадцати. Они приходят к семи — и я к семи.

— Только ли? — усомнилась жена. — Старательных трактористов много, есть и погромотнее тебя, и партийные, как ты.

— Ну, чего пытаешь? Выбирают и выбирают, — рассердился Петр Иванович.

— А ты не сердись, — улыбнулась Валентина Николаевна. — Если бы ты, к примеру, на нашей ферме работал, я бы тоже тебя в бригады выбрала.

В 1966 году звено Петра Ивановича Елхина первым в Приморском крае перевели на безнарядную систему оплаты труда. В марте администрация хозяйства заключила договор с механизаторами: уточнены были суммы авансирования рабочих, подробно оговорены все условия оплаты за конечную продукцию, размеры премиальных доплат за сверхплановые зерно, сою, кукурузу. Очень тщательно готовились к этому переходу экономическая, инженерная, агрономическая службы опытного хозяйства, и не менее старательно обдумывали

ли переход к новой системе оплаты в саном звене.

Коллектив у Елхина к моменту перехода сложился крепкий. У многих трактористов был уже первый или второй классы, солидный опыт работы, хорошее знание своей земли и своей техники. Ниже 24 центнеров пшеницы с гектара и 10—11 сои звено не получало; и люди знали, что они должны не только вырабатывать продукцию побольше, чем в любом другом совхозе (хозяйство-то опытное! Все на него оглядываются), но и соглашаться на различные эксперименты.

— Этот, с безнарядкой, — объяснил директор, — тоже эксперимент. Экономический и социальный. Вы становитесь безраздельными хозяевами земли и техники, сами будете думать, что вам выгодно, что нет, где можно потерять рубли, а где их найти. Чем дешевле будет выращенный вами урожай, тем больше вы получите в конце года.

— А если — непогода, если — неурожай? — заволновался Михаил Гаврилович Чивтаев, старый член звена. — Тогда, значит, шиш получим. Одним авансом сыты будем?

— Может и такое случиться, если с прохладцей работать станем. Потому что за труд поле крестьянину всегда воздает, — резко ответил за директора Елхин.

Он много думал о безнарядке, и она была ему по душе. В 1957 году Елхин разделялся переходу хозяйства в опытно-производственное — это отвечало его стремлениям, еще неосознанному тогда желанию новизны и поиска. А вот теперь он горячо встретил идею безнарядной системы, о которой читал и слышал. Книгу об амурском звеньевом-соеводе Антоне Семеновиче Дугинцове, первым перешедшем на Дальнем Востоке к работе по-новому, Елхин проштудировал очень внимательно, прикидывая уже, как придется «безнарядка» к его звену. Впору ли будет? Решил — впору. Созрели! Есть ответственность за свой труд, есть мастерство, которому уже ни он, ни тот же Чивтаев, ни Шевцов не изменят. Значит, ниже урожай быть не может, может быть только выше; и звену, и каждому механизатору требуется только одно — качество работы! Не погоня за гектарами мягкой пахоты, а сама пахота, не скорость на уборке, а центнеры намоченного зерна!

В ту далекую теперь весну 1966 года он даже не заметил, как пролетели над полями птицы, — торопился отсеяться в предельно точные сроки; требовательность к самому себе Елхин удвоил, утроил. Даже выдавшие виды трактористы поражались количеству и качеству сделанного им самим. Елхин считал, что он должен показать пример всему своему звену, как надо и как можно работать. И вот однажды приехал на поле парторг хозяйства Тесленко, усадил рядом с собой нетерпеливо посматривающего на поле Петра Ивановича.

— Я знаю тебя много лет, — начал Тес-

ленко, — и твой азарт нынче понимаю: хочется, чтобы звено не ударило лицом в грязь. Знаю, Петр, что ты за деньгой не гонишься. Могу поэтому говорить откровенно: важно не только то, что ты сделаешь сам, важно еще, что сделает все звено.

— Не понимаю вас, Константин Николаевич.

— Ты звеньевой и должен больше помогать другим. Если кто остановился — узнай, почему. Помоги. Надо, чтобы наставника видели в тебе, друга. В этом ты тоже обязан показывать пример.

Елхин понял, помрачнел:

— Есть повод для такого разговора?

— Есть, Петр. В звене говорят: «Поярков остановится и поможет, а Елхин другой раз и не спросит, почему стою». Это могут связать с безнарядкой, с человекочасами, за которые вам будут потом платить. В конечном счете — с эгоизмом звеньевого. Ты извини, Петр, за откровенность. Говорю с тобой как коммунист с коммунистом.

Тесленко уехал — Елхин остался наедине с собой.

Наверное, это так: надо останавливаться. И слышать товарища, привычный голос его трактора. Надо останавливаться, чтобы подумать. Он мучительно вспоминал факты, подтверждающие выводы партнога, и, к своему стыду, находил их. Обожгла вначале обида на Тесленко, а потом приходило новое чувство благодарности ему за то, что вот так прямо он высказал все. Ведь горше было бы услышать это от своих ребят, от порывистого Подтиканова, от совсем еще юного Журавского или от Никитина.

Петр Иванович даже в обязательствах своих записал, что будет помогать двум трактористам Журавскому и Косенко; на деле же он со всеми, кому требовалась его помощь, стал щедрым.

Безнарядная система оплаты труда оправдала себя в первый же год внедрения. Урожай в звене получили отменный, а соответственно и размеры доплаты в конце года были впечатльные: по две и больше тысячи рублей начислили и Елхину, и Шевцову, и Чигтаеву — всем. В селе это была сенсация; механизаторы, не входившие в звено, загорелись желанием пойти работать к Елхину. Но сделать это было нелегко — никто из звена не ушел, все старые кадры остались. Вот тогда и родился термин «кандидат в члены звена». Первым таким кандидатом стал Владимир Гайдук, проработавший какое-то время рядом с Елхиным.

Присматривались к нему люди; приглядывался сам звеньевой; отмечали старательность парня, умение принять решение в сложной ситуации, видели, что он заинтересовался выращиванием кукурузы — и это понравилось; да и характер Володи — общительный и открытый — пришелся по душе. Значит, если освободится место (звено не увеличивает произвольно

свой численный состав), Гайдука можно брать.

За девять лет существования безнарядного звена Елхина освободилось всего три места, не считая уходивших в армию мужчин и заболевших. Но прежде чем рассказать о том, почему места освобождались, следует, видимо, немного рассказать о самом звене. Располагает коллектив большим количеством мощной техники — девять тяжелых гусеничных ДТ-75, семь легких тракторов «МТЗ-50» и «МГЗ-32», одиннадцать зерновых комбайнов и четыре силоуборочных, множество сеялок, борон, культиваторов. Словом, целый тракторный парк у звена. И весь ремонт механизаторы производят сами, своими силами, даже для капитального ремонта услугами Сельхозтехники не пользуются.

У самого Петра Ивановича сейчас в распоряжении старенький ДТ-75, восемь лет он уже эксплуатирует его без капитального ремонта. Бережное отношение к механизмам и у других трактористов.

— Хоть и старые есть у нас машины, а ходят прилично, — сказал Елхин Гайдуку.

— Бережете, наверное? Жалеете тракторы? — усомнился Володя.

— Да как сказать — бережем, конечно, и жалеем: ремонтировать-то самим придется. Но выработка на тракторе у нас приличная.

Экономисты и инженеры подсчитали: средняя выработка на эталонный трактор в звене Елхина составляет 125 процентов к плану, вместо 749 производит 937 1000 гектаров мягкой пахоты. Это на 200 250 гектаров больше, чем в среднем по краю.

Отношение к технике — первый критерий оценки члена звена. Именно поэтому начинается зимой учеба трактористов, каждый год кто-нибудь повышает классность. И сейчас лишь у одного тракториста второй класс, все остальные имеют первый, и каждые два года подтверждают его. Отношение к земле, к своему делу второй главный критерий. Выращивает звено на 1500 гектарах ранние зерновые (ячмень, пшеницу, овес), сою, кукурузу с соей — на силос, причем выращивает зерно и сою для продажи другим хозяйствам на семена, а это требует необычного стиля. Человеку с ленцой, хоть в чем-то недобросовестному, работающему неровно, в звене не прижиться. Трех человек потому и попросили механизаторы уйти из звена.

Первым был Василий Евтух.

До сих пор Петр Иванович переживает из-за него — хороший был тракторист, знающий, опытный; даже присвоили ему звание «Заслуженный кукурузовод РСФСР», приглашали к участию в ВДНХ. Но, видно, слава вскружила голову трактористу. Как-то раз он позволил себе то, что никто из механизаторов звена никогда не позволял — прийти на работу выпившим. На первый раз ограничи-

лись коротким разговором: «Такого у нас не было и быть не должно». Евтух пообещал, что не повторится. Повторилось. Елхин пошел к нему домой.

— Помнишь, Василий, наши механизаторы поехали как-то в Абрамовский совхоз помогать на жатве?

— Ну, помню. К чему ведешь, Петр Иванович?

— ..Слушай! Сообщают потом оттуда: «Убирать надо, хорошие дни стоят, а комбайнеры здесь пьянятся. Заберите нас скорее отсюда от греха подальше». Когда мне такое рассказали, я порадовался за наших ребят. Понимаешь? А вот теперь ты, как те самые комбайнеры! Неужели не можешь держаться, Вася?

— А если причина есть выпить?

— Нет такой причины, по которой ты можешь позволить себе прийти выпившим в поле! — вспылил Елхин. — Тем более, что слово нам давал.

Евтух соглашался со звеньевым и снова давал обещания, какое-то время держал себя в руках. Много месяцев шла в звене борьба за человека — не хотелось терять классного механизатора, да и за самого Василия было обидно. Когда же он напился, и пьяный упал с сеноподборщика, терпение трактористов кончилось. Решено было на собрании звена Евтуха исключить. Директор хозяйства это решение утвердил.

Вторым человеком, не сумевшим «вписаться» в звено, был Николай Никитин. Об его уходе никто не жалел, да и был он в звене не слишком долго — леность и нечестность, они быстро проявляются. Замечали, что и в пахоте он отстает от других, и брак, случалось, допускал, и домой спешил пораньше. Последней каплей был случай на жатве, когда Никитин забрался под комбайн. Час лежит, второй.

— Может, помочь человеку надо? — сказал Елхин своим, — посмотрите, что там у него случилось.

Глянули — спит Николай мертвцким сном под комбайном, в тенечке. Посмеялись, конечно, тогда трактористы — не было таких сачков никогда в звене! — и решили отпустить Никитина с миром. Ведь многим энергичным ребятам приходилось отказывать, когда они просились в звено. Вот, Виктор Подтиканов, молодой тракторист, он весь без остатка выложился готов на пахоте или заготовке зелени для агрегата витаминной муки. Горит человек, его даже сдерживать надо. И уже год в кандидатах в члены звена ходит. Так лучше же таким парнем заменить лентяя.

Звено коллегиально решает, кого уволить, кого принять, само отбирает людей. Елхин, а вслед за ним и специалисты, и директор хозяйства не раз говорили, что руководить в этом случае легко: коллектив принимает обычно глубоко обоснованные, верные решения, их надо только официально оформить. Расстаются ведь с кем? С пьяницей, с лентяем, с врачом. А

принимают людей энергичных и добросовестных.

Особо стоит случай с Владимиром Лямцевым.

Специфика звена Елхина, как известно, требует от механизаторов широких знаний техники и агротехники. Механизатор должен в нужное время сесть за комбайн или сенокосилку, одинаково хорошо уметь управляться с рычагами ДТ или «Беларуси» и штурвалом СКГ, боронить, культивировать, сеять. Лямцев был неплохим трактористом, хорошо знал свой МТЗ и первоклассно усвоил суть безнарядной системы с ее оплатой за человека-часы. Он понял, что можно эти часы нагонять не только за тяжелой пахотой или во время жатвы. Если подцепить тележку к трактору и возить ее целый день, ведь тогда тоже идут тебе эти самые «человеко-часы».

Лямцев раскусил «суть» системы, а в звене «раскусили» довольно быстро самого Лямцева. Пытались научить его боронить, сеять, убирать, — тракторист учиться не хотел, не получалось у него, норовил Лямцев ограничить всю работу перевозками на своем МТЗ, и тогда на собрании звена ему сказали жесткую правду:

— Ты, Лямцев, работаешь в звене как рвач. Мы с землей возимся, с пахотой, с удобрениями. Те же часы, что у тебя, потом вырабатываем. А у тебя, Лямцев, легкая жизнь. Короче, не по труду получаешь.

Лямцев обиженно и вопросительно посмотрел на Петра Ивановича, думал, может, звеньевой его защитит. Но Елхин, выслушав мнение тракториста, резюмировал:

— Подумай, Володя, какой у нас был бы урожай, если бы каждый старался работать, как ты? Тележку, ее-то любой возить может. Ну, а кантелились мы с тобой достаточно.

Долго Лямцев и его жена не могли смириться с решением звена, жаловались в рабочий комитет, в партком, в райком партии, утверждали даже, что директор выгнал тракториста из звена. Валентин Александрович Карпенко отверг обвинение:

— Нет. Звено само так распорядилось. Ну, а я полностью согласен с их решением. Право звена — самим решать, с кем работать.

В столкновениях и конфликтах, в преодолении инертности крепло звено Елхина, складывалось как коллектив сильный, единый по духу и отношению к делу. Четко разработав материальное стимулирование механизаторов, отработав все «кузьбы» экономики, партийная организация опытного хозяйства «Степное» уделяла внимание и стимулам моральным, социалистическому соревнованию внутри звена и соревнованию звена Елхина со вторым безнарядным звеном И. Белоконя. Вручение благодарственных писем, флаги почета в честь передовиков, «молнии» и боевые листки, красные вымпелы на лучших агрегатах — все это придавало особый вес работе ме-

ханизированных звеньев, люди ощущали внимание к себе, сознавали, что от успеха их работы зависит успех всего хозяйства. Как никогда раньше, ощущались в Степном прямая связь политики и экономики; уже через два-три года безнарядное звено Елхина производило продукции на 500 тысяч рублей; звенья дают в год около 150 тысяч рублей чистой прибыли. Многих членов звена, в том числе, конечно, и самого Петра Ивановича представляли к правительственные наградам.

Тогда тоже был апрель. Апрель 1971 года. В Москве работал XXIV съезд партии. Петр Иванович ежедневно слушал по радио материалы съезда и до поздней ночи засиживался над газетами. А утром спешил в мастерские, оттуда — на поля, где шли привычные крестьянские работы — закрепление влаги, внесение удобрений, сев, пахота...

Также летели тогда с юга птицы, возвращая тепло, и также мало времени было на то, чтобы следить за их неровным полетом. Выдалась однажды свободная минутка — пошел на ферму, помочь жене. Там Елхина и нашел сын.

— Срочно вызывают в контору, папа! Иди скорей.

— А что там случилось, Вова? Не знаешь? — засобирался Петр Иванович.

— Не знаю. Иди.

Срочность всегда пугает. За собой Петр Иванович грехов не знал, но, может быть, кто из братьев «отличился»? Или в звене что-нибудь произошло?

Агроном (тогда им был нынешний директор хозяйства Валентин Александрович Карпенко) поднялся навстречу Елхину, протянул руку.

— Ну, Петр Иванович, когда Звезду твою будем обмывать?

— Какую Звезду? Ничего не знаю! — пробурчал Елхин. — Мне работать надо.

— Да подожди ты, Петр Иванович. Указ вышел о присвоении тебе звания Героя Социалистического Труда.

Он подумал сначала, что шутит Валентин Александрович. Ему — Героя. Столько сложностей в звене, столько приходится волноваться за каждого человека и за каждый гектар, центнер. Столько пережито радостных дней и тревожных, ведь и неурожайные были годы, когда всего по 12,5 центнера получали с гектара! Шутит агроном? Посмотрел на него искоса — нет, Карпенко не шутил и тоже волновался — первый все-таки Герой в их хозяйстве.

А потом как-то сразу стало шумно, подъехали из Уссурийска гости, пришли свои механизаторы, Елхина фотографировали, пожимали ему руки, поздравляли.

— Скажи что-нибудь, Петр Иванович! — попросили его.

Елхин растерянно смотрел на людей и ничего сказать не смог. Уже потом он объяснил партругору Тесленко:

— Не знаю, куда и разбежались все слова. Хотел сказать, что моя награда — это ведь и их награда: вместе урожай брали, вместе пахали и сеяли. Знаю, людям очень нужно было это услышать, Константин Николаевич. И вот — не получилось. Никудышный из меня оратор. Мне лучше десять гектаров вспахать, чем decir слов сказать.

— Это, Петр Иванович, не беда. Потому, наверное, тебе и дали Звезду, что пашешь отменно, — усмехнулся Тесленко. — По 32 центнера зерна, такого в нашем крае урожая еще никто не получал. А ты ведь два года подряд его имел.

— Не один я — звено!

— Так ведь им управлять надо, звеном. Помнишь, был у нас с тобой разговор секретный? Я потом очень внимательно смотрел на тебя, Петр Иванович, и видел, какую помочь ты своим ребятам оказывал. За это тоже тебе Героя дали — за сердечность твою и теплоту к людям. Но теперь, учи, с тебя спрос еще больше будет.

— Знаю, — согласился Елхин.

Тот год звено отметило необычайным урожаем. Пшеницы, правда, собрали по 29 центнеров с гектара (в 1967 и 1968 годах больше было!), но зато соя дала по 20,7 центнера с каждого гектара, кукурузу для здешних мест и вовсе получили ошеломляющую — по 450 центнеров зеленой массы с гектара. Владимира Гайдука, особенно много вложившего стараний в этот урожай, представили к участию в ВДНХ, получил он золотую медаль выставки. А сам Елхин бронзовой медали ВДНХ удостоился на следующий, очень тяжелый для земледельцев год.

Запомнился он Петру Ивановичу небывалым напряжением во время жатвы, когда погода не давала развернуться, шли злые дожди. Только успели скосить в валки на десятом поле пшеницу, как грянул дождь.

— Ох, беда! Вымокнет зерно! Что будем делать, Петр Иванович?

— Солнце выйдет — будем переворачивать валки, а потом — подбирать.

— Так ведь развезло все, не заедешь на тракторе.

— Вручную, ребята, будем переворачивать. Другого выхода не вижу. — И Елхин был с механизаторами все время. С ними уходил, с ними выходил на поле. 21,7 центнера пшеницы на круг тогда все же степняки взяли, так подтверждал Елхин свою Золотую Звезду. Лишь зимой он позволил наконец себе отдохнуть, съездил в Карловы Вары подлечиться. А когда вернулся, из школы сообщили, что сильно изменился в последнее время его сын Вовка.

— Володя стал груб и заносчив, — говорила Елхину завуч Александра Сергеевна Степаненко. — Он может нагрубить учителям, ребятам, ставит себя над классом. Я спросила его однажды: «Ты, что, кичишься званием отца?» Он ухмыльнулся.

— Я такого за Вовкой не замечал, но

вам — верю. Позовите, пожалуйста, Володю.

Сын смущенно вошел в учительскую, светлые волосы приглажены, в лицо не смотрит. Елхин тяжело поднялся, подошел к Володе и сказал ему:

— То, что есть у меня, — это мое. Аты сам заработай уважение к себе. Понял! Дома мы с тобой разговор продолжим. Иди! — И, когда закрылась дверь за Володей, обратился к завучу: — Очень хочется, чтобы выучился мой Вовка. Мне-то не пришлось учиться — война. Вы уж повозитесь с ним, пожалуйста. Ну, а поводов для таких бесед, как сегодня, он не даст. Обещаю.

А вскоре он снова пришел в школу при всех регалиях, при боевых орденах и наградах, завоеванных трудом на полях, пришел туда, где учился его Вовка, и рассказывал о себе, о войне, о долгой службе после нее и о том, как получают хлеб сейчас трактористы его звена. Степаненко слушала и удивлялась: на собраниях Елхин всегда предельно лаконичен, слова лишнего не скажет, а тут, видно, что-то задело механизатора, волновался, и у ребят загорелись глаза, когда слушали его. Взяли с Елхина слово, что придет в школу еще, — согласился. А дома после этого выступления Володя попросил отца:

— Возьми меня летом в поле. Я хочу, как ты, стать трактористом.

— В поле, конечно, взять могу, — ответил Петр Иванович, — но трактористы, Вова, нам сейчас нужны грамотные. Техника приходит сложная, новая. Мне уже трудно разбираться — опыт помогает и то, что читаю специальные журналы. Так что учись. Это не совет — приказ.

Летом 1973 года Володя Елхин работал вместе с отцом, а осенью пошел в девятый класс.

...Журавский, Костючок и Елхин возвращались в Степное поздно. Директор совхоза уже телевизор выключил, когда услышал рокот их тракторов. Сын Елхина Володя собирался спать, но к отцу вышел:

— В воскресенье наш оркестр будет на ферме давать концерт, — радостно объявил он родителям.

— После дневной дойки, наверное? — спросила Валентина Николаевна.

— Да. Потом на поле поедем. У тебя будем выступать, — сказал Володя отцу.

— Ну, мы к воскресенье сеять начнем. На шестом поле скорее всего будем, там завтра рассеем удобрения.

Веки у Петра Ивановича покраснели и чуть распухли, лицо уже загорело на аппельском горячем солнце. Длинный был день, а вот теперь навалилась усталость.

Петр Иванович развернул газеты: в Октябрьском районе уже начали сеять, соседи в «Коммунаре» и в Борисовке вовсю за крывают влагу.

— Слышишь, мать, гусей сегодня видели перелетных. Возвращаются.

— Хорошо, когда прилетают птицы. Тепло будет. Завтра, вон, до четырнадцати градусов обещают.

Короткая весенняя ночь, в шесть утра уже на ногах Елхин, завтрак на короткую руку — и в путь, в мастерские, где по утрам собираются все члены звена. По дороге встретил Володю Гайдука, он вчера на поле влагу закрывал.

— Много ли осталось на шестом, Володя?

— Да ничего не осталось, Петр Иванович. Мы вчера его «добыли».

— Порядок! — удовлетворенно отметил Елхин, закурил сигарету.

В мастерских к нему подошел озабоченный главный агроном, спросил, сколько осталось незакрытых гектаров на втором поле.

— А нисколько. Закончили!

— Они вчера до одиннадцати ночи работали, — пояснила учительница.

Агроном к ним пришел из другого хозяйства, в «Степном» эта весна для него первая, не всегда, видимо, приходилось специалисту работать с полным пониманием.

Однажды спросили у Петра Ивановича, может ли в обычном, не опытном хозяйстве возникнуть такое звено, такой же слаженный коллектив? Елхин твердо ответил: «Может!» Ведь никакие они не «профессора» — обычные механизаторы, болеющие за свое дело и старающиеся сочетать его с наукой, живо откликающиеся на все новое. Это разве не доступно каждому?

— Не скажите, Петр Иванович! Вас, к примеру, удобрениями снабжают не так, как всех.

— Так их надо еще суметь использовать, — возразил Елхин. — Сейчас удобренния для всех доступны, бери — не хочу. А что толку, если они в куче лежат...

— У вас и техника получше...

— Моему трактору — восьмой год. Бегает. У других тоже есть и старые и новые машины. Как везде.

— Коллектив сложился...

— Это да, — подтвердил Елхин, — и не только механизаторов, но и специалистов. Но ведь в любом другом хозяйстве может коллектив сложиться, если будет внимание к людям. Будет наставничество. Будет материальная заинтересованность в результатах труда.

Он не спорит: «Степное», конечно, на особом положении, ученые краевой сельскохозяйственной станции ставят на его полях свои эксперименты. И снабжается хозяйство неплохо, сложились в нем за восемнадцать лет великолепные традиции, стабилизировались опытные кадры. Но разве все это не значит, что другие наши совхозы и колхозы не должны приглядеться пристальнее к опыту «Степного», ту же безнадежку смелее брать у него? За последние годы лишь учебное хозяйство сельхозинститута, специалисты Пантелеймоновского совхоза, товарищи из соседне-

го «Коммунара» всерьез заинтересовались структурой звеньев. Есть целые районы, откуда никто не приезжал за опытом — только за семенами «литга». А ведь вместе с семенами степняки могли бы и полезные рекомендации выдать, поделиться результатами своих агротехнических и экономических поисков. Не интересовались, или интересовались поверхностно.

Рассказывали Елхину его трактористы, возвратившиеся как-то из совхоза «Глуховский» Уссурийского района:

— Работаем рядом с глуховцами, вместе убираем. Подвели итоги — у нас двое больше убрано и намолочено. Думаете, интересовало кого-нибудь, почему у нас такие показатели? Ничуть! Только завидовали, что мы тысячу рублей из их кассы взяли. А как, почему эта тысяча досталась, никто не спросил.

Такое удивляет. Опыт «Степного» и опыт звена Елхина помогут влиять на все земледельческие звенья Приморья. Десять лет уже по безнарядной системе. В самые трудные годы, когда была засуха или когда топили поля непрекращающиеся дожди, когда в соседнем хозяйстве получали сои, например, меньше, чем сеяли, звено убирало ее по 13,7 центнера с гектара. Даже со стихией успешно сражались степняки, противопоставляли ей свой опыт, свою выдержку. Это не может не волновать истинного земледельца, и Елхина тревожит, что не волнует. Вон уже снова весна, теплый и солнечный апрель. Утро новой пятилетки, десятой.

Та, что прошла так быстро и так трудно, осталась в памяти навсегда, и прежде всего трудом, постоянным стремлением получить больше от щедрой приморской зем-

ли. По всем показателям звено Елхина завершило девятую пятилетку досрочно, принесло около трех миллионов рублей прибыли государству. Но важно не только это. Как коллектив передовой, мыслящий широко, по-государственному, елхинцы уже в минувшей пятилетке предвосхитили девиз нынешней, новой, точно сформулированный в дни подготовки к XXV съезду КПСС: бороться за высокое качество продукции и эффективность производства. Если они получали зерно или соевые бобы, то только высших классов, элиту; если работали на технике, то и после пяти-восьми лет она была у них словно новой.

На высочайшем подъеме завершили механизаторы Елхина 1975 год — последний год девятой пятилетки, дали два плана по зерновым, получили по 16 центнеров сои, а это на семь больше, чем в среднем по району, и на 10, чем по всему Приморью. И тут же, не расслабляясь, не снижая темпов, звено задало тон в предсъездовском соревновании, перевыполнило планы по вспашке зяби, досрочно закончило ремонт всей посевной техники. Удивительный коллектив! Разведчик будущего, и сегодняшняя это гордость приморских земледельцев.

...Когда выезжал Петр Иванович из мастерских на шестое поле, уже развевался на ветру красный флаг в честь его, в честь Журавского и Костючка, так славно поработавших на закрытии влаги накануне. На 150 процентов была выполнена норма. Обычное дело.

А птицы все летели и летели с юга.

Приморский край

У ИСТОКОВ КЛЮЧА

ОЧЕРК

Прошлое — настоящее

Александр Николаевич Гагаев, главный геофизик управления геофизических партий в поселке Солнечном, заверил, что все будет нормально, на работу меня устроят, как только начнется сезон, и я смогу уйти в тайгу по выбору — осваиваемых районов много: хребты Мяо-Чана, Баджал и обширные неисследованные места, окружающие трассу БАМ.

— Если до девятого апреля все будет тихо, то есть от меня никаких известий, бери билет и приезжай. Прямо в Солнечный, — говорил он на прощание. — Выйдешь с автобуса на Половинке, а там километра два в сторону Горного. Найдешь. У нас там строительство теперь, дорога разбита, желательно сапоги обуть: весна, распутица...

Было это в начале марта, и я волновался. Хотелось поскорее двинуться, ехать, лететь и главное — видеть. А надо было еще месяц ждать. К тому же я, давно не бывавший в настоящей тайге, где-то в глубине души беспокоился: «А как там? Выдержу ли?»

И вот наконец он, долгожданный день — 9 апреля.

К Солнечному я подъезжал утром, часов в семь. Было уже светло, и, заглядывая в окно автобуса, я узнавал и не узнавал мелькающие мимо склоны сопок, придорожные рощи, мачты антенных полей и черные стрелы сгоревшего леса, слева от убегающей дороги. Мертвый лес.

Я собственными глазами видел, как горела вот эта тайга десять лет назад. Тогда я работал здесь. Мы строили линию связи Солнечный—Фестивальный. Я помню, словно это было вчера, как мы задыхались от дыма, когда ветер дул в нашу сторону. Помню, как однажды огонь пошел на нас. Это было на перевале, там, где дорога к Фестивальному достигает наивысшей точки хребта. Мы работали метрах в двухстах от нее. Было тихо и дымно. Внезапно послышался надвигающийся со стороны заката потрескивающий шум. Вначале никто не придал этому значения, но воздух словно бы потянуло в огромную трубу, и родился заметный ветер — в лицо ударило зноем. Через несколько минут метрах в ста от нас пока-

зался огонь, сжигающий на пути все, оставляющий за собой пепел и обугленные деревья.

Новая молодая поросль бойко взлетала по склонам. Деревья у обочины дороги, что тогда остались от огня, выросли.

Сотни раз ездил по этой дороге. Ездил в автобусе, в грузовике, в легковой машине. Здесь вот на повороте погиб Алексей Хребтов, мой старший товарищ, песянник и балагур, труженик до самозабвения.

За поворотом — Силинка. Мост. Все так же бежит вода, словно бы и не пролетели годы. И камни, и вербы, и корявые темно-кожие огромные ильмы — все прежнее, но я-то знаю, что все это мне только чудится.

Сразу за Силинкой, за поворотом открылось поле, и за ним, словно белая птица, под самые облака взлетел Солнечный. Весь из белого кирпича и стекла, девятиэтажный и сгрудившийся, летел он к нам издалека, и тучи, нависающие над ним, казалось, отставали — слева от поселка голубел просвет.

Шел весенний снег. Я вышел из автобуса и побрел по слякотной дороге в сторону Горного, сожалея, что не обул сапоги. Туфли мои промокли, болоньевая куртка, облепленная снегом, и рюкзак заметно тяжелели.

«Начало пути», — думал я, и мне было так хорошо, как это бывает, когда веришь, что впереди тебя ждет что-то неожиданно радостное.

По левую сторону ступенчатый, как огромное крыльцо, ведущее в небо, возвышался горнообогатительный комбинат. Поэтому, как мимо одна за другой проносились тяжело груженные машины, можно было понять, что комбинат напряженно и слаженно работает, и было приятно сознавать, что ты тоже здесь трудился, строил; а когда я увидел на гребне сопок идущую от комбината в сторону Фестивального линию связи, где почти каждая опора была поставлена и моими руками, испытала я радость необыкновенную, словно из далека-далека послышалась вдруг светлая песня молодости.

С неких пор тяжелую работу в геофизических отрядах, в основном, выполняют случайные, взятые на сезон люди.

Первое дело для всех нас оформиться на работу. Это занимает два-три дня, затем получить деньги. Спецовку выдали б/у (бывшую в употреблении). Валерка Попов о своем спальном мешке, усмехаясь в усики, сказал:

— Тут, вишь, в этом-то мешке девяносто девять бичей богу душу отдали. Теперь очередь за мной. — При этом он бойко одернул полы фуфайки серо-зеленоватого цвета и начал подпоясываться попавшимся случайно в руки куском полевого кабеля.

Попов, складывая кирпичи на поддон, усмехался, глядя на меня:

— Может быть, ты хотел бы познакомиться с одной из них? — Он указал глазами на двух девушек в сапогах-чулках, проходивших мимо.

— А что? Можно и познакомиться, — сказал я.

Меня нисколько не смущал мой вид. А выглядел я, наверное, довольно непривлекательно в энцефалитном костюме пятьдесят четвертого размера, в фуфайке б/у неопределенного цвета и в новых кирзовых сапогах. Шапку снял — не пыжиковая, и я надеялся, что мои выющиеся слегка волосы, падающие на лоб, придают лицу некое благородство.

Наконец появились девушки. Я, сделав нескользко шагов им навстречу, уверенным тоном спросил:

— Скажите, пожалуйста, который час?

Молчание встретило меня. Я был окунут с ног до головы медленным взглядом, и феи, миновав меня, как пустоту, просочились в дверь.

Попов оказался прав. Когда я подошел к нему, он промолчал, продолжая укладывать кирпич. Я принес другой поддон и принял тоже за дело. Мы так работали с ним уже дней десять в ожидании борта, как называл вертолет начальник нашего отряда Петр Павлович Ковылов. Из-за этого «борта» мы оказались между небом и землей, неустроенным.

Входя к Ковылову в кабинет, ребята снимали шапки и, неловко сгрудившись у двери, молчали.

— Ну, чего ты, Галкин, — обращался он к человеку, с небритьем лицом и ссутулившемся. — Я ведь вчера тебе пятерку давал. Пропил небось?.. Зарабатываете в день по три рубля — тариф, — а расходы! И, между нами говоря, неизвестно еще, что в тайге будет...

Галкин молчал, опустив голову, вогнав ее в плечи, теребя серую суконную шапку. Глаза у него хитрые, масленые, и я думал, что он действительно пропил вчерашнюю пятерку и теперь вот мешает нам, остальным.

Однако работа у нас спорится. Вот уже весь кирпич уложен на поддоны, бревна, беспорядочно разбросанные, уложены в штабель, территория управления убрана.

За эти дни, что работаем вместе, мы как-то сблизились, кое-что узнали друг о друге и, по свойственной человеку внут-

ренней тяге к общению, разделились на группы по четыре-пять человек, связанные какими-либо общими интересами. Всего нас двадцать. Одни живут в палатке, поставленной неподалеку от реки Силинки, другие в вагончике.

Приближается май, но по ночам еще крепки заморозки, и в дырявой палатке чертовски холодно, однако по утрам на работу мы все выходим как один. Простуженных не должно быть. Там, куда нам предстоит лететь, условия могут быть куда посурее.

В стенной газете я увидел рисунок, изображавший тайгу, сопки. На переднем плане костер, палатки. Под рисунком подпись: «Здесь не ступала нога человека. Кербинская партия. Отряд Ковылова». Я значился в отряде Ковылова и, что греха таить, в глубине души был горд за самого себя — дескать, знай наших! Хоть очень смутно представлял, что ожидает меня в местах, окружающих великую трассу.

В середине мая началась настоящая весна. Снег на сопках растаял, распустилась верба. В ясном небе запел жаворонок. Наконец восемнадцатого мая, в два часа дня, из-за сопок вынырнул вертолет и приземлился. Погрузив вещи, приборы, продукты, мы прощались с Солнечным.

Мы летели над распадками между сопок. Вершины, покрытые снегом, возвышались над нами; когда вертолет ложился на борт, отворачивая от облака, вставшего на пути, казалось, что все эти громадины ледяных пиков обрушаются на нас. За хребтом следовал другой хребет, и отроги их лежали внизу, как золотые пальцы огромного сфинкса, переходя в темные когти выющих по распадкам ручьев.

Три часа летим. Позади остались реки Горин, Амгунь. Пересекли серо-желтую дорогу. Построена она, как я узнал позже, еще до революции. Тут золотоносные места, Кербинские прииски. Нашу экспедицию интересуют более прозаичные полезные ископаемые.

Над притоком реки вертолет резко меняет курс.

— Сейчас будем на месте, — крикнул мне на ухо Ковылов. Я стоял рядом с ним у входа в пилотскую кабину.

И сразу же вертолет завис над широкой марью и пошел на снижение...

Место это находилось выше двух тысяч метров над уровнем моря. Вокруг поднимались сопки. И всюду лежал снег. Бесной тут и не пахло. В здешней дремучей тайге, покрывающей крутые склоны, нам предстояло рубить прямые как стрелы просеки, чтобы потом следом за нами пошли специалисты-геофизики.

«Чем скорее мы рассечем на прямоугольники со сторонами 250 на 2000 метров стоимость десяти километров запланированной на этот сезон площади, тем быстрее начнут

работы геофизики, — говорил нам Валерка Белорус, натягивая полог палатки. Он не первый сезон работал. — Главное, не было бы кедрового стланика и завалов».

К вечеру мы капитально устроили свою палатку, настелили нары, поставили печурку.

Вокруг марь, мох. Под сапогами хлюпает. Мы рубим тонкие лиственницы и елки — стелим гать до соседней палатки, чтобы ходить в гости, как по тротуару. Наши соседи Володя Гинзатулин, по кличке Чирок, и еще трое ребят, тоже поставили палатку и благоустраиваются. Делаем все основательно, словно жить нам здесь долго.

И хотя нас много — более двадцати человек, и мы не ощущаем одиночества, все же в душе нет-нет да и блеснет тревога: на сотни километров тут тайга, тайга и тайга. Воздух пахнет соком, настоящим на брусничнике. Ощущение, будто пьешь его горлом — так легко дышится.

Встала вечерняя заря. Большая Медведица и Полярная звезда. Прямо на севере, далеко-далеко, возвышается над хребтами безымянный голый пик. Над ним ни облака — признак того, что завтра стать хорошей погоде.

Затопили печурку. В палатке стало тепло и уютно. Качалась тень от пламени свечи. Сварили макароны с тушеникой, наевшись, попили крепкого таежного чаю.

Я залез в спальный мешок и, засыпая, сквозь не закрытый полностью полог двери видел черный лес, начинаящийся сразу за речкой, со странным названием Крест, еще непогасшее темно-синее небо и сочные, как морошка, крупные в чистом таежном воздухе звезды...

Страницы из дневника

19 мая. Ночью слышен только шум воды в Кресте, монотонный, бесконечный, убаюкивающий. Я спокоен. Я забыл все, а если и вспоминаю, то мельком. Прошлого словно бы и нет — так ли это?

20 мая. Вода рванулась внезапно. Она течет из каждой щели, из-под каждого камешка. Кругом водяное столпотворение. Там, где еще вчера в ледяном русле бежал неширокий ручей, теперь пенится поток, достигая подножий заросших косматым ельником сопок. Солнце припекает вовсю. Я стою на поваленном через реку огромном тополе. У меня кружится голова — так стремительно мчится вода. Цвет ее темно-коричневый, мерцающий, и вся она клокочет и пенится над ледяным ложем. Ухватился за сук, боясь, упасть, и смотрю в небо. Головокружение прошло, но в душе ныло смутное чувство неудовлетворенности — отчего, не знаю, словно бы что-то очень дорогое мчится в этом потоке, уходит, пытаешься его поймать и не можешь. Вероятно, это ощущение уходящего времени: и прекрасно, и не остановить, и кто

знает, что там творится в тебе. Весна — царица жизни, твоя новая весна и еще одна весна — природы, все не повторяется...

Когда я вернулся к палатке, Чирок варил чай — очень крепкий чай, который здесь пьют почти все. А Чирок не пьет, новарить чай — ему удовольствие. Вообще я заметил, что он всегда готов сделать что-нибудь хорошее для товарищей. Все он суетится, бегает за сучьями для костра, следит за «самоваром», чтобы не убежал.

Он приметил, что я по вечерам что-то записываю в тетрадь, и теперь, увидев меня, улыбается, и все его маленькое птичье лицо под козырьком старенькой, искусственного каракуля серой шапочки светится.

— Ты знаешь, — говорит Чирок. — Нашел вот сегодня.

Он извлек откуда-то из-за пазухи большой плоский камень, на котором четко вырисовывался окаменевший лист папоротника.

— Как, а! — При этом глаза его влажно заблестели, и я понял, почему его все любят и почему все хотели, чтобы он жил в их палатке. Есть такие люди, с которыми везде тепло.

Мы долго и тщательно рассматриваем камень в абсолютном молчании, ибо о чем тут было говорить, когда сама вечность протягивала нам свою окаменелую руку. Потом Чирок говорит:

— Я тут письмо матери написать хотел, да как-то у меня не получается, чтобы видно было, где я теперь. Поможешь, а? Старушка меня потеряла. Четыре года, как из дому, а писать редко приходится, все не о чем.

— Как же так? — спрашиваю я.

— Да так уж у меня. Хочется в деревню в опрятном виде приехать и при деньгах. Только вот не выходит. Я ведь по вербовке на Дальний Восток приехал, из под Казани. Четвертый год уже. Сначала в Мухенском леспромхозе, потом в Селихинском работал. В прошую зиму шестьсот рублей накопил. Собрался домой. Поехал с дружками на вокзал, за билетами. Зашли в ресторан. Очнулся в парке, на скамейке. Цап за карман — ни рубля, все вычистили. Прописки нет, денег нет. На вокзале ночевал как придется. Один глаз спит, другой за милицией смотрит. Ну потом и товарищи нашлись. Вот Валерка Попов. С ним увидели объявление, вот и оказался здесь.

— А если не заработаешь? — сказал я. — Тайга винь какая.

— Ничего, — сказал Чирок, — зарабатаем. Оно ведь как бывает. Нет-нет, а потом, глядишь, и повезет. Так ты помоги мне письмо сочинить, чтобы она не тревожилась, моя старушка. И узнала бы, какая красота у нас тут.

Медленно темнеет. Туча тянеться над сопкой, сползает в распадок. Туман окружает нас, и удивительно, что он прозрачен и легок, а туча, частью которой он

только что был, кажется тяжелой и густой как смола...

23 мая. Постепенно знакомлюсь с людьми. Интересный человек самый старший наш рабочий Петр Романович. Ему около пятидесяти. В экспедицию он попал по прихоти неугомонной своей натуры.

— На Баджале побывал, — сказал он, когда мы встретились. — Десять лет с той поры прошло, дай, думаю, на Дуссе-Алинь махну, испытыва себя еще разок.

Ему теперь трудно, и мы все это понимаем. А работать по-настоящему мы еще не начинали. Ждем, когда прилетит топограф. Он задаст направления просек, и тогда мы начнем рубить. Пока же мы занимаемся благоустройством территории лагеря, строим пекарню, кухню, убираем сучья и валежины. Руководит нами бригадир Гришин.

Пошел дождь. Погода здесь меняется на глазах, такое впечатление, что устойчивой она и не будет.

— Сопки тянут к себе, вот и кружатся туки на одном месте, — объяснил Стас.

На вершинах сопок снег почти растаял, лишь кое-где видны небольшие белые пятна, словно заплатки. Если смотреть прямо на север по руслу Креста, видны вдали две остроконечных вершины. Где-то там, у их подножия, течет Керби.

Дождь кончился, и неожиданно я увидел высокую молнию, вставшую от земли до небес, казалось, что она так и останется стоять, сверкая в плотной голубизне неба.

Гром идет издалека, медленно и вольно катится над гулом воды. Река гудит на завалах, ворочает деревья. Грохот ее подобен грохоту водопада. Она шумит уже несколько дней — половодье. Вечером, когда залезешь в спальный мешок, сразу засыпаешь под гул воды и спишь без сновидений.

24 мая. Безымянные ручьи, берущие начало на склонах сопок из вечной мерзлоты, реки — Крест, Лучи, Амгунь, Амур — и, наконец, океан. Таков круговорот, [®] истоке которого мы находимся теперь.

С утра решили идти на Керби. До нее не так уж и далеко, четырнадцать километров. Пробираемся по правому берегу Креста, по наледи. Наледь — сплошная глыба льда, в которую зимою превратилась река. Весенний паводок идет в ледяном русле, а лед лежит широко, так, как мороз прихватил реку в осеннем разливе.

Идти здесь опасно, но значительно легче, чем по замшелому склону, где тонешь по колено во мху, то и дело цепляешься ногами за сучки и корни.

Рядом в зеленовато-синих искрящихся и острых ледяных берегах клокочет поток темно-коричневой воды. Зрелице красивое и жуткое. Кажется, сорвись туда, в этот поток, и костей не соберешь. Мы сталкиваем в воду тяжелое бревно. Оно взлетает над скатой горловиной, как дельфин, ныряет снова и исчезает.

Местами попадаются широкие разводья, и нам приходится обходить их. Деревья

стоят в воде. Ивы, молодые лиственницы и елки — до самых ветвей. Березы же здесь попадаются редко, небольшими рощицами. У берега огромные тополи, ивы, местами заросли кедрового стланика.

— Вот он, родной, тут как тут, — говорит Валерка Белорус, увидев стланика. — Если уж и здесь в низине растет, значит, вверху — не пролезешь. Достанется нам, ребята, от этого стланика.

Мы с Петром Романовичем практики не имеем и не придаем этим зарослям значения. Не так страшен черт, как его мают.

В потоке воды лежат отполированные огромные валуны, словно яйца гигантских птиц. Вода вокруг них кипит, пенится, и в воздухе стоит бесконечный гул, словно работают сразу десятки реактивных турбин. В одном месте поток с размаху ударяет в берег наискось и сверху-вниз, об разуя большую крутящуюся воронку. Из глубины ее, как из преисподней, слышится гул ворчащихся камней.

Наконец мы добрались до сопки, которая с самого начала пути маячила над руслом реки снежной вершиной. Склон ее обрывист, точно отрублен, неприступен. Однако по всему отвесу, каким-то чудом цепляясь за него, растут лиственницы, березы и елки. Я вижу их узловатые корни. Они оплетают камни, змеями вползают в расщелины, цепляются за каждый излом, зазубрину. Воистину, мужество природы неподражаемо в вечном стремлении к свету, к жизни. Я представляю, что было бы с сопкой, с этим склоном, нависшим над рекой, не будь этих цепких корней, которые скрепляют грунт, предохраняя от размыва, оползней и обвалов.

Мы подошли к месту, где Крест впадает в Лучи. Здесь водоворот, но Лучи шире и степенней Креста. Берега их круты и надежны. Однако метров через триста берега исчезают. Справа из распадка вырывается неизвестный нам приток. Слева и впереди необозримый разлив воды. Мы в тупике. Если попытаться перейти справа? Петр Романович пробует дорогу и набирает воду в сапоги. Валерка поднимается чуть выше, идет по воде — он в броднях. Перед ним широкая расщелина в наледи. Если бы ее преодолеть, то дальше по мелководью можно было бы выбраться на левый берег. Но это невозможно.

Мы возвращаемся назад, к месту, где Крест впадает в Лучи. Разводим костер, кипятим чай, закусываем разогретой тушенкой. Рядом березы. Я вырубаю в стволе небольшое углубление — чашечкой и долго с наслаждением пью сок через соломинку как в детстве.

Внезапно пошел дождь. Пережидаем его под навесом стланика. Дождь сменился крупным градом, и вскоре снова стало солнечно и тепло. Необычная картина открывается впереди. Руслу реки искрится. Под ногами сплошная наледь, вокруг стоят тихие деревья, и все сверкает радужными блестками, и далеко впереди под-

нимается легкий, едва уловимый туман. Температура воздуха меняется на ходу. Только что было холодно, и вот уже по-всюду испариной, прозрачность сменилась дымкой. Мы идем по снегу, а вокруг зеленые деревья, распускаются вербы — конец мая, под ногами ледяное поле, над головой яркое высокое небо, солнце, двадцать градусов тепла — мир полон контрастов.

На лезвии топора

У рубщика все на лезвии топора, потому что приспособлений, механизмов для прокладки геофизических просек не существует. Рубщик должен вырубить топором нечто вроде узкого коридора шириной 70—100 сантиметров. Валится деревья толщиной до 20 сантиметров. На всем пути необходимо оставлять затески: слева и справа, на расстоянии не более двадцати метров, так, чтобы идущие следом не сбились с пути, что в глухой тайге вполне вероятно. Весь процесс работы от первой вырубленной визирной вешки до последней затески у магистрали делается топором.

А тут оказалось, что топоров привезли мало — на всех не хватит. Топоры не отточены, очень легкие и пригодны разве что для работы на мелколесье, в кустарниках, в чистых лесах, где нет валежин, завалов и сильных зарослей. В наших же условиях рубить такими топорами очень трудно — это мы поймем после. А пока же всем нам хочется обзавестись любым топором, потому что дни идут, а ничего пока не заработано еще, тариф платить нам вроде бы не будут, хотя мы и надеемся, что за вынужденный простой нам заплатят. Я взял топор у техника, который здесь пока что за старшего.

Ручка у топора разбита, я бросил ее в костер. Петр Романович оказался более предусмотрительным. Он прихватил с собой топор из Солнечного, но он у него тоже легкий и без топорища.

Павлов, кадровый рубщик, поиграл на огромной ладони лезвием моего топора, усмехнулся:

— Им разве что свистки делать.

У самого Павлова топор широкий, отточенный, как бритва, тяжелый. Когда я взялся за длинное, удобное топорище, почувствовал в руках уверенную силу, словно топор и мои мускулы поняли и приняли друг друга.

Мы пошли в чащу, свалили березу, отрубили две чурки. Я примерно представлял, как надо делать топорище, но сам его никогда не делал. Обтесав чурку с двух сторон так, что получилось нечто вроде неширокой доски, взял топор Павлова, наложил его на доску, обвел карандашом, и по контуру начал осторожно обтесывать. Работал с увлечением до самого вечера. Постепенно рождалось топорище. Потом

шлифовал его ножом, чтобы стало оно гладким и блестящим. А когда стал насаживать топор, колотя рукояткой о пень, мое изящное топорище раскололось. Оказывается, топор надо насаживать на болванку и только потом обрабатывать. И не надо делать топорище уж больно изящным. Надо делать его крепким и надежным — в этом истинная красота инструмента.

Пришло делать второе топорище.

Топограф прилетел три дня назад. Стальные рубщики уже вовсю работают. Каждое утро я вижу, как они исчезают в тайге, а возвращаются на закате. Нас же, новичков, никто не беспокоит. Зато мы беспокоимся очень. Время — деньги. Я пошел вечером к топографу напомнить о себе и потребовать работу.

Леша, так звали топографа, сидел на крыльце палатки и точил длинный охотничий нож. Был он молод и долговяз и оттого, наверное, что руководить приходилось впервые, чувствовал себя очень самоуверенно.

— Здравствуйте, — сказал я.

— Здорово, — сказал он.

— Вы топограф?

— Да, я топограф, а что? — При этом нож об оселок вжик-вжик.

— Я, понимаете ли, от ребят. Работать надо, а мы сидим. Время-то, сами понимаете, идет.

— Ну и что, и сидите — вдруг выпалил он. — Я вот уже три дня здесь, а тебя впервые вижу. Кто ты такой?

— Я вас тоже первый раз вижу, — сказал я.

— Так кто ж виноват? Я, что ли, за вами бегать должен?

— Ну, понимаете ли, — начал я, вроде оправдываясь, — мы-то ведь не в курсе. Мы-то думаем, соберете вроде собрания, обыкните. Мы первый раз в тайге...

— Собрание какое тут собрание, — смягчился Леша. — Вас тут тридцать человек, а я один, вот и попробуйте, — перейдя на вы, заговорил он. — Завтра утром готовьтесь. По двое будете работать, пока освоитесь. Потом и по одному разрешу.

Утром встали рано. Состояние у меня да и, пожалуй, у всех тревожное: «Как в лесу будет?»

Позавтракали рисовой кашей с тушенкой, напились чаю. Берем топоры и трогаемся гуськом за топографом. Идем до магистрали. Ее «старички» прорубили. Мы будем рубить профили — от магистрали до следующей магистрали, точно с запада на восток. Расстояние между магистралями два километра, между профилями двести пятьдесят метров. Отклонение от пикета на выходе к следующей магистрали допускается не более тридцати метров. Условия очень жесткие, учитывая рельеф, поэтому начинаем очень осторожно от

первых трех, заданных топографом, вешек.

По жеребьевке нам достался правый профиль в сторону Креста. Влево пошли Валерка с напарником, о котором я знал только то, что звать его Гена.

Расходимся от одного пикета. Мы идем на восток, они на запад. Идти и рубить, рубить и идти. Точно по прямой. Как нам это удастся? Подошли к Кресту и сразу же наткнулись на заросли стланника, и, пока прорубились через них, я так устал, что, подойдя к реке, упал на камни и долго лежал, потом пил необычайно вкусную воду.

Отдыхая, мы соображали, каким образом переберемся на другую сторону реки. Вброд — бессмысленно. Течение здесь так стремительно, что посыпает с ног и утопит. Валежин ни слева, ни справа. Неподалеку стоит лиственница толщиной в обхват. Решили срубить ее так, чтобы упала она вершиной на другой берег. Рубим долго, мучительно. Кое-как управляемся вдвоем за полчаса. Через две недели я срубал такие же лиственницы за пять минут без передышки. Дерево с треском падает, и мы благополучно перебираемся на другую сторону реки. Перед нами почти отвесный склон сопки, заросший, кажется, непроходимой чащей. Начинаем рубить, поднимаемся все выше и выше — где на четвереньках, где поддерживая друг друга. Почти невозможно свизировать три последних вехи, поэтому их приходится ставить очень часто. Это замедляет нашу работу и беспокоит, не собьемся ли с направления. Однако поднялись мы уже высоко, внизу видны река и за нею склоны гигантских сопок в зарослях леса и в гольых осыпях. Просека, наверно, с километр уже. Никогда бы не подумал, что километр может быть таким длинным.

Упираемся в скалу. Совершенно голый камень высотой метров около тридцати. Наш профиль идет точно по его центру. Я обошел скалу сбоку, взобрался наверх, свизировал дальнейшее направление, но точно ли? — этого я не знаю. Ошибиться здесь очень просто. Отклонился на градус, вот уже и выйдешь метров на сорок в сторону от пикета, а ведь таких скал, вывороченных корней на нашем пути встречается и встретится еще немало.

Надо бы проверить точность направления по буссоли, но буссолей мало и дают их почему-то только опытным рубщикам. Завтра возьму буссоль у топографа и прокорректирую направление профиля. Если мы и ошибаемся, то не настолько, чтобы невозможно было исправить. В этом я уверен. Мне и прежде приходилось делать разбивку линий связи с помощью вех, и здесь я имел какой-то опыт.

Перевалили сопку и спустились к ключчу. С многометровой высоты падала искрящаяся струя, я стоял у этого небольшого водопада и опять долго пил, подставив под струю губы. Вокруг дико и сумрачно. Мы находились в небольшом

ущелье. Ручей убегал вниз, а нам предстояло подниматься на следующую вершину.

Вечерело, когда мы возвращались в лагерь по своей просеке, тайга уже не казалась дикой и необжитой.

Я сверился у топографа по карте и узнал, что за день мы прошли около пятидесяти метров. Это меня потрясло. Я так устал, что не знал, смогу ли завтра встать. И был уверен, что прорубили мы никак не меньше полутора километров. Недоуменно смотрел я на топографа и думал, что он шутит.

— Завтра, — услышал я словно издалека, — вы перевалите сопку, на которой сейчас рубите. Будет второй ручей, затем еще небольшая сопка, подниметесь на хребет и на спуске, примерно метрах в трехстах магистраль. Дня за три закончите. — А на мой недоуменный взгляд, ответил: — «А вы как думали? Оыта нет, вот и дело идет пока медленно. Научитесь.

Вспомнились слова матери: «Бойкий сам налетит, а несмелого бог нанесет». Кто же я?

— Ничего, — сказал Петр Романович, — утром вчера мудренее.

Первый профиль мы рубили шесть дней. И не мы одни. Все новички уложились примерно в одно время. Чирок сбился с направления и ушел ка соседний задающий профиль. Пришлось выправлять профиль, а это все равно, что рубить заново. Но Чирок не унывал. Вечером заваривал чай, суетился у костра, повторяя словно бы для успокоения самого себя и всех нас: «Ничего, ничего...»

Когда мы добрались до магистрали, сели на валежину и долго молчали. Мы вышли точно, даже очень, сместились всего на семь метров.

Вблизи лагеря работы закончились, и мы пошли на «выброс», то есть на новое место. Нагрузили на себя рюкзаки с продуктами, одеждой — все тут приходится нести на себе — и пошли вверх по Кресту, ориентируясь по затесам, сделанным заранее. Вышли рано, чтобы к вечеру успеть вернуться в лагерь, а завтра забрать спальные мешки, палатки и все, что не смогли унести сегодня. Продукты взяли из расчета до 25 июня — в этот день будут подведены итоги того, что мы сделали за месяц, и закрыты наряды.

Нас — четверо. Два «старичка» — Петр Павлов, о котором я говорил выше, Анатолий Иванов — человек с видом вроде бы непротрезвившегося, Петр Романович и я. Для нас этот поход — испытание, для «стариков» — прогулка. Идут они легко, словно и нет за плечами тяжелых рюкзаков. На перекатах при переходе речки прыгают привычно с валуна на валун, а нам такие прыжки удаются с трудом, того и гляди осколзнеешься и полетишь в воду. Петр Романович отстал и сказал, чтобы мы шли, а я, мол, потихоньку.

Часа в четыре дня добрались до места, отмеченного на схеме топографом. Облюбовали поляну для лагеря, вскипятили чай. Подошел Петр Романович. По лицу вижу, устал смертельно, осунулся даже, но виду не подает. Надо сегодня же назад возвращаться. Успокаивает то, что идти налегке и под уклон. В лагерь пришли еще светло было. Переночевали, а утром нагрузили рюкзаки новой поклажей, приторочили к ним спальные мешки, палатки и снова в путь. На этот раз идти легче, чувствуем себя уверенней. Лиха беда — начало. Я еще в детстве заметил, что первый раз дорога кажется и длиннее и трудней.

На этот раз я ушел вперед. Иду один. В лесу так интересней. Пришел на место и только успел разжечь костер и поставить воду на чай, как вынырнули и «старички», а за ними, немного погодя, и Петр Романович явился. Смеется:

— Ты знаешь, — говорит, — иду, и хочется бросить все к черту, упасть и забыть обо всем. Только сам себе призываю: «Иди». И настроение улучшается, вроде кто помогает. И добрался вот, смотрю костер дымится, тут и вообще легко стало. Ну, думаю, есть еще порох в пороховнице.

Отдохнув немного и напившись чаю, я пошел вверх по Кресту. Захотелось подняться на вершину сопки, склон которой сбегал прямо к реке. Но смог одолеть лишь часть пути — начались отвесные скалы, спрятанные в густых зарослях. Я спустился и пошел вверх по небольшому ключу, впадающему в Крест. Бежал он по каменистому серому распадку. Я долго шел вверх, стараясь дойти до истока, и дешел.

У колыбели ключа сомкнулись два отрога хребта, идущего вдоль реки, образовав гигантскую подкову. С ее середины, с огромной высоты, падала тонкая, как спица, струя в круглую, диаметром около пяти метров, наполненную чистой водой чашу.

На другой день я и Петр Романович ушли на восьмую магистраль — это вниз по Кресту и влево, километра за четыре от новой стоянки. Из еловой коры мы соорудили небольшой, но крепкий и удобный шалаши. Настелили под бока мягкого лапника, чтобы не пристудиться; под мхом вечная мерзлота, и дыхание ее здесь ощущается ясно. Вечером изо рта идет пар, над ручьем нависает плотный туман, и деревья зябнут в холодном воздухе, чуть приметно белея изморозью.

Каждый день рано утром мы взбираемся по склону сопки до того места, где остановились накануне вечером, и продолжаем рубить, продвигаясь все дальше и выше.

Наконец мы поднялись на высочайшую точку хребта, и теперь начался спуск, работать стало легче. По южному склону лесчище, и стланик почти не встречается.

День закрытия нарядов

Двадцать четвертое июня — долгожданный день! Мы работаем до обеда, собираемся и идем в лагерь. Настроение отличное. Предстоящая встреча с товарищами, небольшой отдых — все это нас возбуждает, мы весели.

Когда подошли к реке, начался почти каждый день послеобеденный дождь. Дождь прошел и ночью, река вздулась, и мы никак не могли найти удобный перекат, чтобы перебраться на правую сторону, к тропе. Пришлось идти вверх, потому что слева путь преграждал скальный прижим. Мы долго шли до перекинутой через реку скользкой от дождя валежины. Коры на ней не было, и перебирались сидя — неловко, но надежно.

Преодолев реку и пройдя немного, дотянули Нину — геолога — и Шурика — рабочего. Шурику лет за сорок, он изрядно лыс, однако все зовут его уменьшительным именем, и это не кажется ни смешным, ни обидным. Народ умеет находить точные имена и давать меткие, характерные клички.

Я знал, что год назад Шурик работал на Камчатке, тогда же он купил в Евпатории дом и отправил туда жену и сына. Сам же, добираясь к ним, по каким-то причинам делает круголя через тайгу.

Нина девушка лет двадцати двух, после окончания Комсомольского-на-Амуре горного техникума она уже несколько сезонов ходит в тайгу, или, как говорят геологи, «в поле». Работа ей, по всей видимости, нравится. Сколько я знаю ее, никогда не видел на лице ее и тени разочарования. Всегда она весела и приветлива.

Профессия геолога очень своеобразна и резко отличается от «соседних» профессий. Долгие месяцы приходится им работать в тайге, испытывая все тяготы бивуачной жизни. С другой стороны, они видят такое, что городскому жителю и во сне не приснится. Это, вероятно, и компенсирует неудобства полевой жизни, и не случайно, после отдыха рвутся геологи снова в тайгу, в неизведанные места.

Мы сели передохнуть. Нина с присущим женщинам радушием угощает нас шоколадными конфетами.

— Что новенького в лагере? — спросил Петр Романович.

— Да так, ничего особенного, — ответил Шурик. — Людей-то почти не осталось, все на выбросах. Повар, завхоз, вот она да я. Двух лошадей из Бриакана пригнали, так они в первую же ночь ушли.

— Ну и что теперь будет с ними?

— Да ничего. Каор пошел искать. Лошади они, брат, дорогу найдут... Павлыч вчера прилетел с Громовым.

— Павлыч — это наш начальник Ко-вылов, а вот кто такой Громов, я не знаю.

— Громов-то? Так это главный инженер. Шустрый мужик. Хариусов ловил вчера, знатно. Штук сто, однако, засолил и вялить подвесил. Хариус теперь жуть как идет. Крупный он здесь, считай, что с селедку хорошую будет. Нам только ловить некогда. Вот начальство покою не дает, — кивнул он в сторону Нины.

— Куда уж там, — рассмеялась Нина. — По-настоящему разве что дней пять и работали, то пропикированных профилей нет, то дождь.

— Наверстаем, — сказал Шурик. — Руки, ноги здоровы и голова на плечах. Он погладил свою лысину, приподняв плоскую кепчинку.

Мы посидели еще немного, покурили и двинулись дальше. Шли долго. Наконец начались места, где, казалось, и камни на берегу, и каждая валежина давно знакомы. Вот между деревьями показались белые палатки. Было шесть часов вечера. В лагере тихо, хотя все уже в сборе.

Ребята встретили нас дружескими приветствиями и крепкими рукопожатиями.

Разговорам нет конца, словно не виделись несколько лет, хотя прошло всего-то три недели.

— Ну, как у вас дела? — как всегда, это первый вопрос. Заботы у всех одинаковы, все мы сделали мало и беспокоимся, как бы в долгу еще не оставаться за харч.

— Заработаешь здесь, — уныло говорит Попов. — Семь шестьдесят километр профиля стоит. Пусть они сами за семь шестьдесят тайгу рубят, а с меня хватит. Вот только дождусь вертолета, и айда. Я в Осипенко баржи буду разгружать, по три рубля тонна.

Валерка Белорус, напарник Попова, сидит молча, скрестив руки, положив ладони на плечи просоленной энцефалиитки. У него болит зуб, а лекарств от зубной боли нет, и мне жаль его, и всем нам его жаль, однако помочь ему нечем.

— Сколько же вы прорубили? — спросил я.

— Шестьдесят километров.

— Так вы на коне, — говорит Петр Романович. — У нас и того не наберется, однако не унываем.

В палатку входит Ковылов, улыбаясь, как всегда, и протягивая всем по очереди мягкую руку.

— У вас тут, кажется, спальник лишний имеется. — Он достает сигареты, кладет к нам на нары и долго листает толстую тетрадь, помечая что-то карандашом.

Мы закураиваем из свежей пачки «Интер».

— Тут вот с расценками что-то непонятно, — говорит Петр Романович. — Семь рублей — это маловато при таких-то условиях.

— Ясно, что маловато, — улыбается Ковылов. — Расценки общесоюзные, мы вам платим по пятой категории трудности. Но надо посмотреть...

Мы знаем, что все зависит от нас самих, от наших рук, а не в расценках дело. Но с кем же еще говорить — с начальством.

На другой день пришел топограф Леша, принес наряды. Петр Романович, он за бригадира, долго что-то подсчитывал, шевеля губами, о чем-то спорил и наконец подписал.

— Ну, точно, — сказал он мне. — Как я подсчитал, так все до копеечки почти и вышло. Сто пятнадцать — заработка, шестьдесят пять — за харчи, остальное — на сберкнижку.

Стоял жаркий июньский полдень. Над марью во все стороны простирались высокое светлое небо. Цвел голубичник, бабочки и мотыльки разных расцветок и оттенков кружились вокруг. Была их пора. Трещали кузнеци, и было так хорошо и спокойно, будто бы улетал я далеко-далеко в те края, где осталось мое детство.

После обеда я лег на нары и незаметно заснул. Когда проснулся, под полог палатки заглядывал вечер, еще легкий, в том своем начале, когда воздух начинает густеть — еще тепло, но жары уже нет. Как только солнце спряталось за сопку, вся марь, как огромная чаша, заполнилась темнотой.

Мы сидели у костра, слушали «Спидолу» и разговаривали. Чирок подбрасывал в огонь тонкие лиственничные веточки. Они ярко вспыхивали и трещали. Костер золотился. Груды углей источали жар. Потом над головой встала Большая Медведица, и я по привычке отыскал Полярную звезду.

— Как у вас заработка? — спросил я Чирка.

— Долги покрыли. Осталось и нам. А у вас?

— То же самое, — ответил я.

— Ничего, — самому себе сказал Чирок немного погодя. — Я понял, как надо рубить, и теперь не боюсь. В этом месяце наверстаем. Главное — понять и не отчаиваться, если что-то не получается. Все будет хорошо...





А. ПОЛЕТИКА

АРИФМЕТИКА И ГРАММАТИКА ОСВОЕНИЯ

Заметки с конференции по БАМу

Около трехсот ученых и специалистов из Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Якутска, Магадана, Благовещенска, Владивостока и Хабаровска собрались в Хабаровске на научно-практической конференции по проблемам хозяйственного освоения Восточной зоны Байкало-Амурской магистрали. Собрались как раз в канун тех дней, когда вступила в свои права десятая пятилетка. Экономисты, социологи, медики, геологи, представители различных отраслей народного хозяйства, советские и партийные работники сформулировали на ней и утвердили основные принципы и пути предстоящего широкого народнохозяйственного освоения северных районов Приамурья и Дальнего Востока, приняли конкретные рекомендации, составившие долгосрочную программу их развития.

Конференция начинает работу — устанавливается вежливая тишина, опоздавшие замерли за дверями, не решаясь нарушать ее. Дружное настроение, которое мы называем торжественно-преподнятым, витает по залу. Приветственное слово хозяев — выступает второй секретарь Хабаровского крайкома КПСС Л. К. Обушенков. После первого перерыва все будет проще: кто-то будет выходить, заходить, тихий разговор поползет между рядами. Выступающих встречают с разными чувствами — вежливо, радостно, с удивлением или восхищением. В доброй работе всегда место добрым чувствам.

А между тем устанавливается подлинный ритм конференции, когда в полной мере можно ощутить ее характер, обнаружить ее пульс — сталкивающиеся проблемы, полемически заостренные вопросы, государственно очерченные точные нужды и развитие того дела, ради которого собралось здесь из самых разных мест столько занятых людей.

Хочу в заметках остановить внимание именно на втором дне, на выступлениях этого дня, которые были и итогами конференции.

Разного рода неотложные дела несколько

опустошили зал. Непосвященному человеку могло показаться, что единственное, о чем беспокоятся участники конференции, — выдержать регламент. Да, его пытались нарушить по мере продвижения конференции все упорнее. И все настойчивее звучало весьма примечательное для конференции слово — комплексность. Изучение — комплексное, строительство — в комплексе, освоение — комплексное.

Читинская конференция в сентябре прошлого года, первая Всесоюзная конференция по освоению и развитию производительных сил зоны Байкало-Амурской магистрали (о ней сообщалось в журнале «Дальний Восток» № 1 за 1976 год), утвердила приоритет стратегии комплексности. В Хабаровске она получила подтверждение своей безусловной и неопровергимой целесообразности. Идея эта подлинно государственная, создающая самые оптимальные условия строительству новых городов и поселков — в максимально краткие сроки, с наименьшей, затратой средств, наконец, более скрым возвращением их в оборот, что даст сверхплановую прибыль народному хозяйству страны.

Уже то, что в научно-практических конференциях участвует самый широкий круг специалистов и ученых, выражает взаимосвязанность и нарастающую согласованность их усилий и комплексный принцип в подходе к зональным БАМовским проблемам.

Примечательность строительства Байкало-Амурской магистрали и развития в связи с этим зоны, прилегающей к новой железной дороге, на мой взгляд, в том, что в социологическом смысле — это как бы срез социалистической современности, раскрытие ее социально-экономической сущности, выявление всех наших хозяйственных возможностей, опыта и умения эффективно ими пользоваться и, скажем об этом откровенно, — промашек, которые не устранил администрарированием или надеждами, что однажды все само по себе устроится. БАМ — колыбель не только будущих городов, появятся вдоль трассы промышленные узлы, территориально-промышленные комплексы, уже заявившие о себе

в Сибири. Они возникнут в качестве первоосновы индустриального развития районов вблизи магистрали, явятся воплощением той наивсовременной философии экономического первоходства, имя которой — комплексность, непременная всесторонность развития.

К концу работы конференции перед ее участниками возникли контуры нескольких создаваемых в Северном Приамурье мощных промышленных комплексов, каждый из которых будет представлен комплексом ряда ведущих промышленных отраслей. Точный регион каждого из них, точная структура и объемы — экономисты еще многоократно будут уточнять, выверять, изменять. Впереди много трудомокой работы по их окончательному определению. Но уже сегодня видны основные слагаемые — добыча угля, добыча и переработка железных руд и фосфоритов, цветных и благородных металлов, заготовка леса и деревообработка, черная и цветная металлургия, машиностроение, судостроение и судоремонт, нефтеперерабатывающая и химическая промышленность.

За этим перечнем нужно видеть заманчивую для воображения панораму поднимающихся в Приамурье новых городов, заводов, фабрик, аграрно-специализированных и промысловых хозяйств, новые адреса наших друзей, родственников и знакомых, новые маршруты наших командировок (к услугам командированных хорошие гостиницы и все гостеприимство новорожденных дальневосточных городов), новые горизонты нашей собственной жизни, выросший каталог наших устремлений, встречи разлук, радостей и огорчений.

В конце концов любое, будь оно самым что ни на есть промышленным, из хозяйствственно-строительных начинаний высшим критерием имеет — насколько лучше станем жить мы все вместе и каждый в отдельности.

Хабаровская конференция, обозревшая перспективы Восточной половины зоны Байкало-Амурской магистрали, коснулась будущего очень важного для Дальневосточного экономического района в целом — бассейна Охотского моря. Между промышленно расцветшим югом Дальнего Востока и достаточно освоенным Северо-Востоком менее хозяйственно открытое Приохотье лежит пока областью дремлющей. Без гарантированно надежных транспортных подступов к себе, с очень короткой охотской навигацией. Оно как бы разделяет Дальний Восток на две не слишком-то связанные друг с другом зоны. БАМ станет теми воротами, которые откроют Приохотье народному хозяйству страны в такой мере, что эта диспропорция будет ликвидирована и на экономической карте нашей страны появится единый, непрерывный и комплексно развивающийся Дальневосточный хозяйственный район.

Тех, кто заинтересуется проблемой подробнее, отсылаю в Хабаровский институт тектоники (ДВНЦ АН СССР), где можно

ознакомиться с материалами конференции. Институт — один из организаторов ее.

Здесь важно заметить, что магаданские ученые ставят насущнейший вопрос об усилении исследовательских и геологоразведочных работ на обширных землях Северо-Востока, от мыса Дежнева и Колымы до южных отрогов Джугджура. Этому было посвящено, в частности, выступление Э. Б. Ахназарова (Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт ДВНЦ АН СССР), требовавшего самого пристального внимания к изучению района. В повестке дня его выступление было одним из последних, но прислушаться к нему необходимо с той же степенью ответственности, как и к сегодняшним запросам собственно строительства Байкало-Амурской магистрали.

Участники конференции, которую по географии ее тематики можно назвать Восточной, единодушно отмечали, что отныне БАМ — обязательная основа и первейшее условие всякого социально-экономического планирования будущего не только для Амурской области и Хабаровского края, пересекаемых магистралью, но и практически для всех районов Дальнего Востока — от Чукотки до крайнего юга Приморья.

В доказательство сошлись на ту решительность, с какой морские проектировщики (выступал начальник производственно-отдела Дальнепроекта из Владивостока Т. Скляр) требовали в ближайшие сроки определить основное содержание и направления БАМовских грузопотоков для того, чтобы можно было незамедлительно приступить к поиску наиболее выгодных мест и разработке проектов новых грузовых портов, прообразом которых уже стал порт Восточный. Предстоит рассмотреть и решить не менее сложную задачу — какие именно суда потребуются и в каком количестве для перевозки этих грузов.

Ровно шестьдесят лет назад завершилось строительство одной из крупнейших в мире железных дорог — Транссибирской магистрали. Ее финишной ленточкой стал Амурский мост возле Хабаровска, на который ушло несколько лет изнурительного труда десятков тысяч людей. Мотивы появления Транссиба далеко не ограничивались одними экономическими соображениями. Еще раньше, в 1898 году, рельсы появились в Среднем Приамурье — Уссурийская железная дорога, крайневосточная ветвь будущего пути от Урала до Владивостока, соединила Хабаровск с Южным Приморьем.

Всего через несколько лет после своего окончательного завершения Транссибирская магистраль, полуразрушенная белогвардейцами и интервентами, досталась в наследство молодому социалистическому государству. С тех пор старая дорога, к началу сороковых годов практически удвоенная, ставшая двупутной, несет добрую свою транспортную службу. Она вынесла на своих плечах весь тот поток грузов, что

потребовался для развернувшейся в годы первых пятилеток индустриализации Дальневосточного края, породила много крупных городов и промышленных центров. И сегодня магистраль неустанно поддерживает ровный пульс развитой экономики дальневосточного Юга.

Байкало-Амурскую магистраль именно поэтому и называют зачастую северным Транссибом, что ей предстоит сыграть ту же созидающую роль для северной половины Дальнего Востока.

Открывая своим объемным докладом Хабаровскую конференцию, академик А. А. Воронов, заместитель председателя президиума Дальневосточного научного центра АН СССР, подчеркнул, что БАМ настоятельно требует от дальневосточных ученых и всех научно-технических работников, участвующих в разработке программ по развитию производительных сил Дальнего Востока, незамедлительной и всесторонней координации усилий, отбора наиболее важных направлений и обеспечения полноты исследований, вызванных к жизни сооружением новой магистрали. Это необходимо для того, чтобы сам процесс освоения и его результаты были максимально рациональны, общественно выгодны.

Конференция показала, что в научном, обоснованном расчетами открытии Байкало-Амурии, называю так саму стройку и зону будущего влияния железной дороги, уже сегодня участвуют более двух десятков научно-исследовательских и производственных институтов Дальнего Востока, Сибири, Ленинграда, Киева, Москвы, столиц союзных республик, шефствующих над строительством магистрали. И их влияние на ход событий, целесообразность и эффективность того, что они взялись разрабатывать, регулируется, упорядочивается и, наконец, воплощается в жизнь еще весьма относительным образом — то ли в порядке пожеланий, то ли в виде жесткой ведомственной регламентации. В выступлении инженера В. И. Мамонтова, представителя строителей Байкало-Амурской магистрали, приводились примеры несогласованности научно-технических решений. БАМ — единый механизм, чуткий, и по технологии своего сооружения, и по влиянию на прилегающую зону. И потому с самого начала его следует отлаживать безупречно и с гарантией.

Хочется особо подчеркнуть обоснованность тех выступлений, в которых предполагалось создать при Академии наук специальный БАМовский координационный центр. Существующие научные советы, комиссии по БАМу при Сибирском отделении и Дальневосточном научном центре его заменить не в состоянии.

Широкое представительство ученых и специалистов предопределило и очень широкий круг обсуждений — от экономических расчетов по вариантам сооружения

Дальневосточного металлургического комбината до ожидаемого в недалеком будущем массового туризма в зоне северной магистрали. Весьма кратко познакомлю читателей с основными темами разговора, состоявшегося на хабаровской встрече.

Так, очень интересным было предложение транспортных проектировщиков о создании единой, взаимоувязанной сети автомобильных и железных дорог, для комплексного использования их и комплексного планирования новых. Специалисты лесодобывающей и деревообрабатывающей промышленности уже начали изучать перспективные лесные массивы и готовить проекты новых леспромхозов, обрабатывающих заводов и комбинатов, целых лесопромышленных районов. В Дальневосточном институте сельского хозяйства (Хабаровск) разрабатывают программу сельскохозяйственного освоения БАМовской зоны. Директор института, академик ВАСХНИЛ Г. Т. Казьмин справедливо заметил, что взгляды на будущие зоны как исключительно промышленное: цепь заводов, рудников, шахт, комбинатов и их поселков и городов — дают о ней неполное представление. Совхозы, животноводческие комплексы, подсобные хозяйства — вот что еще нужно прибавлять столь же непременно. Потому что в зоне БАМа, несмотря на вечную мерзлоту, можно выращивать и картофель, и овощи. А коллективные сады комсомольчан — с их общей площадью в 1500 гектаров — убедительно демонстрируют возможности садоводства.

Энергетики обеспокоены обеспечением растущих поселков и будущих промышленных районов необходимой энергией. Их задача — опережать потребности строительства и производства, чтобы гарантировать бесперебойный их рост. И сегодня им предстоит определить наиболее выгодные источники для получения энергии — уголь Линского месторождения под Комсомольском, нефтегазоносные месторождения Сахалина, гидроресурсы Амурского бассейна. Топливно-энергетический комплекс зоны Байкало-Амурской магистрали уже в ближайшее время будет обсуждаться на специальном широком совещании. Много срочных проблем встало и перед гидрологами. Гидрологическое изучение зоны еще слишком слабо, чтобы тотчас приступить к большим работам. А делать многое нужно уже сейчас. Зимой северные реки вымерзают до дна. А вода требуется и строителям, и будущим предприятиям. Выход — в артезианских источниках. Между тем слой вечной мерзлоты на многих участках достигает 200—300 метров. Видимо, решение состоит в создании небольших, но глубоких водохранилищ. Те же самые реки, безводные зимой, много хлопот доставляют летом, за несколько ливневых часов превращаясь в бурные, сокрушающие все на своем пути потоки. При этом брать воду и защищаться от нее нужно осторожно, не нарушая экологического режима.

Охрана природы и воспроизведение ее

ресурсов — дело, обсуждавшееся на конференции наравне с научно-производственными проблемами. На участках Байкало-Амурской стройки пейзажи прекрасные. Северные тайги, реки, сопки и горные хребты остаются в памяти и в душе чистым и светлым следом. И хотя в рекомендациях Хабаровской конференции есть специальный раздел с перечнем конкретных мер и природоохранных работ, мне кажется, что предстоит еще над многим подумать и многое сделать, затратить немало средств и усилий, чтобы в сохранности донести красоту здешней земли до потомков.

Медики и микробиологи, направляя на БАМ одну экспедицию за другой, резонно замечают (на конференции выступил И. Е. Троп из Хабаровского института эпидемиологии и микробиологии), что их исследования, наблюдения, советы и просьбы имеют для магистрали и ее строек самое напрактическое значение. Счасти строителей от энцефалита и от мороки с комарами и мошкой — забота не единственная. Климат байкало-амурских земель, особенно восточной половины, нелегок для тех, кто родился и вырос не здесь. Акклиматизация проходит небезболезненно. На БАМ ныне приезжают тысячи людей. Разработать рекомендации и меры для их быстрой и надежной адаптации — одна из основных забот медиков.

Работники экспортных объединений Дальниторга весьма заинтересовано рассматривают открывающиеся возможности для увеличения торговли со странами Тихоокеанского бассейна. Выгодной, многообещающей торговли.

Если не все, то очень многое сейчас зависит от геологов. Из тридцати докладов, заслушанных конференцией, почти половина были посвящены полностью или в значительной степени геологическим проблемам, поискам и прогнозам. А прибавить к ним те, в которых так или иначе шла речь о полезных ископаемых, о необходимости разработки известных месторождений и поиска новых, то и большинство выступлений на конференции можно назвать «геологическими».

Байкало-Амурская магистраль, без преувеличений, — путь в своеобразное Эльдорадо, разыскиваемое в прошлые века ушлыми людьми всех народов. Попутно замечу, что среди природных богатств зоны — металл не из последних. На конференции определили круг месторождений детально или достаточно изученных, готовых для эксплуатации. И это, подчеркну, сделано на основе общегосударственной выгоды, а не исходя из чисто местнических интересов. Восточная половина зоны БАМа располагает весьма значимыми для народного хозяйства страны железными и марганцевыми рудами, каменным и бурым углем, оловом, медью, ртутью, фосфоритами.

По поводу каждого из месторождений можно было бы привести достаточное ко-

личество цифр, расчетов, убеждающих в безусловной насущности строительства магистрали, но более существенным представляется тот факт, что разведанные залежи — лишь часть потенциальных кладов северной земли.

Герой Социалистического Труда, член-корреспондент АН СССР и председатель комиссии по БАМу при Дальневосточном научном центре Е. А. Радкевич отметила, что всестороннее и полное изучение геологами БАМовских окрестностей, в сущности, только начинается. Поскольку прежде не было реально близких перспектив на промышленную разработку даже тех месторождений, что уже были открыты. А экономическая целесообразность, народнохозяйственная эффективность работы — для геологов такой же непреложный закон, как и для всех. Начало БАМовской эпопеи позволяет им проложить новые маршруты и переоценить многие из сделанных здесь ранее открытых. В зоне Байкало-Амурской магистрали геологам предстоит еще раз доказать удивительную особенность своей профессии — выступать провозвестниками новостроек преобразований.

Одним из важнейших направлений в геологической разведке на ближайшие годы станут поиски и изучение проявлений нефти и газа, уточнение месторождений алюминиевого сырья в Приамурье, доразведка месторождений олова в районе Баджала и самый широкий поиск залежей строительных материалов.

Между прочим, активная поисковая работа потребуется не только, как говорят геологи, — в поле, но и — на архивных полках. Лишь за семидесятие годы туда поступало около восьмисот отчетов ежегодно. Упорядочить имеющуюся информацию, сделать ее доступной и удобной для пользования — дело не меньшего значения, чем подготовить новую экспедицию, которая к тому же, возможно, окажется и лишней.

Конференция, наконец, показала, что для решения задач строительства и освоения магистральной зоны настоятельно требуются специалисты новых, современных профессий — по инженерной геологии, инженерной геофизике, например, а высшая школа не удовлетворяет пока этих потребностей. Следовательно, предстоит подумать и над подготовкой кадров.

Закрывалась Хабаровская конференция в очень поздний час. Несмотря на все старания ее председателя академика Ю. А. Косягина, она не уложилась в положенное время. Настоятельная потребность выскакаться, поставить вопрос, что-то подсказать, ответить кому-то перехлестывала через регламентные возможности. А это значит, что конференция, да будет позволено так выразиться, не отбыла свой срок, а по-настоящему работала, спорила, сердилась, смеялась и — работала. На том и стоим!

РОДНАЯ МОЯ СТОРОНА

(*о прошлом и настоящем*)

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ

Я вернулся с горной речки Гремячи, куда ходил рыбачить с другом своим Андриушкой Гаськовым.

— Ох ты, оченьки мои! Кормилец-то наш пришел! — запричитала мать, увидев меня во дворе. — Как улов-то, рыбак ты наш?

— Плоховато. Всего двенадцать хариусов принес. Водяной помешал. Сам же я виноват. Накликал.

— А чем ты провинился?

— Свистел. Вот чем.

— Опять свистел?

— Свистел.

— Сколько не учю вас, неслухи вы. Не нужно свистеть дома. Засвистишь — карман просвистишь. А на речке тоже нельзя.

— Мама! — сказал я. — А наша учительница Сусанна Владимировна говорит, что ни леших, ни водяных не бывает.

— Ну, она-то грамотная, ученая. Больше нас понимает. Гимназию никак закончила.

— И еще, — сказал я, — Сусанна Владимировна совсем не верит в заговоры. Вот ячмень на глазу — ты тут же заговариваешь; зуб ноет — ты тоже заговариваешь. А может, и верно правду учительница говорит?

— Может быть! — сердито погрозила мне мать пальцем. — Молчи! Много будешь знать — мало будешь спать.

Так было всегда. Ответ матери стереотипный: «Много будешь знать — мало будешь спать!»

А я хотел знать про всякое, хотя и исполнилось мне тогда всего одиннадцать лет.

— Что такое Карловиче поле? — спросил я.

— Ну, был Карла.

— А кто этот Карла?

— Много будешь знать — мало будешь спать.

— А кто большевики? Почему их так называют?

— Это Лева Эренпрейс. Он главный большевик.

— Почему он большевик?

И снова: «Много будешь знать...»

К нам часто приходила в гости двоюродная сестра моей матери, родная сестра Емельяна Ярославского. Я любил слушать Марию Израильевну. Тогда, в 1923 году, я еще не мог понять, почему ее братья всю свою жизнь сидели в тюрьмах, отбывали политическую ссылку и работали в кандалах на каторге. А главное, мне совсем было непонятно: почему одного брата Марии Израильевны называют Ярославским, другого — Губельманом, а сама Мария Израильевна носит фамилию Гуревич.

Однажды, когда мы с Андрейкой Гаськовым принесли по ведру черной смородины, мать ласково провела шершавой рукой по моим волосам и сказала:

— За политику сидели в тюрьмах братья Марии Израильевны, и сестры ее тоже сидели. Карлу-то сюда тоже за политику царь сослал.

Я принес Марии Израильевне полную тарелку черной смородины. Единственная ее дочь жила в Москве, а муж совсем постарел и оглох.

— Спасибо тебе за ягоды. Доброе сердце у твоей мамы. Хотя она почти неграмотная, но понимала всегда раньше, что к чему, и тайны умела хранить.

— Тетя, Маша, — робко сказал я, — а где теперь Емельян Михайлович? Брат ваш?

Мария Израильевна достала из шкафа четырех альбома с фотографиями и спросила меня:

— Ты знаешь, что такое пионер?

— Нет! — ответил я. — А вообще-то слышал.

— Так вот в Москве, где живут мои сестры Таня и Лена, есть пионеры. Они носят красные галстуки. Скоро у нас, в Баргузине, тоже будут пионеры. Ты вступишь в пионеры?

— Не знаю. Как мама скажет. Может, и не разрешит.

— А братья мои, — продолжала Мария Израильевна, — все трое с революцией шли. Ты еще маленький. Потом, когда по-взрослеешь, поймешь. Иосиф, Моисей и Миней — все трое царские тюрьмы прошли. Миней (это его так дома называли; потом он стал Емельяном) и Моисей у Владимира Ильича Ленина бывали.

— А вы видели Ленина? — спросил я.

— Нет, еще не видела. Через месяц в Москву поеду. Вызов мне Емельян Михайлович послал. Надо старика сопровождать, вовсе оглох он. А в Москве ему трубочку в уши вставят. Через эту трубочку он и разговоры услышит. Поеду в Москву я поездом. Там, может, и увижу Владимира Ильича. Сестра моя Таня много раз с ним встречалась. Спасибо тебе еще раз за ягоды.

Я вышел из дома Марии Израильевны с думой об их семье. Шел по дороге босиком. Тогда мы, мальчишки, в Баргузине все лето ходили босыми и только лишь в лес надевали чирки или ичиги. Думал я и про лещего и о заговорах, которые мать знала от всех болезней и несчастий. Но все мои мысли преграждала железная дорога, которую никогда еще в жизни не видели все мои четыре брата и мать. А по железной дороге поедет Мария Израильевна в Москву к своим сестрам и к Емельяну Ярославскому.

Я спустился к реке Баргузину. Сел на траву и раскрыл книгу, подаренную Марии Израильевной, — «Кому на Руси жить хорошо». На обложке под заголовком мелким почерком были написаны слова: «Милой и дорогой сестре Марии от Тани». Я полистал страницы из поэмы Некрасова и почему-то остановился на строфе:

Яким, старик убогонький,
Живал когда-то в Питере,
Да угодил в тюрьму:
С купцом тягаться вздумалось!
Как липочка ободранный,
Вернулся он на родину,
И за соху взялся.

Пока не прочитал поэму Некрасова, не мог я ни о чем думать. Потом снова перед глазами стояла далекая-далекая Москва и революционерка Таня, подарившая книгу Марии Израильевне.

«Кому же первому показать такой дорогой для меня подарок?» Я решил, что покажу старшему брату, работавшему с утра до вечера за верстаком. Конечно, ему, кому же больше.

— Вот, смотри, что мне подарили! — вбегая во флигель, где на полу была куча стружек, закричал я брату.

Брат не торопясь взял книгу и тоже, не отрываясь, стал громко читать.

— Повезло тебе! Храни этот ценный подарок. Значит, чем-то ты потрафил Марии Израильевне, раз уж она дала тебе книгу с дарственной надписью.

— А я ей ягоды приносил. Да еще двор подмели. Дедушке Фоме дрова помог на колоть.

— Им надо. Совсем старики. Помогать им некому. Закончу подряд на оконные рамы и сделаю им на память два кресла.

Я все думал о «дарственной надписи». Уж очень мне понравилось выражение «Дарственная надпись». И снова подумал: «Кому еще показать? Андрейке? Нет. К

Андрейке не пойду. Они в водяных верят. А я больше не стану в них верить. Брат мой столяр ни во что не верит. И Мария Израильевна не верит. Пойду к Шурке Гроберу. Шурке-то интересно будет «дарственную надпись» увидеть. У них в амбаре на пяти полках книги стоят.

Во дворе Гроберов стоял гвалт. С ребятами в городки играл секретарь укома Лев Михайлович. Он был одет в солдатскую шинель, выданную ему на забайкальском фронте.

— Нас трое, будешь четвертый. Я с Яшкой, а ты — с дядей Левой, — выкрикнул распаленный Шурка.

Мне хотелось ударить палкой по гордкам, но Льва Михайловича я почему-то стеснялся.

— Давай, давай. Не робей! — сказал секретарь укома. — А чего это ты книгу в руках караулишь? Положи на крыльцо.

— Книга мне навеки подарена.

— Ну-ка покажывай, что за редкость.

Лев Михайлович вынес из амбара газету и, аккуратно обернув поэму Некрасова, протянул мне:

— Ну, парень, бережно храни эту «дарственную надпись». Книга подарена Марии Израильевне ее сестрой-революционеркой Татьяной Михайловной Савковой. Многие годы она находилась в царской тюрьме.

Я играл в городки с Шуркой и Яшкой, поглядывал на секретаря укома и все держал в руках книгу с «дарственной надписью».

МЫ НАДЕЛИ ПИОНЕРСКИЕ ГАЛСТУКИ

По улицам Баргузина ребяташки только и вели разговор о пионерах.

— У нас, — услышал я в огороде слова Шурки Гробера, — в пионеры будут записывать.

— Когда? — спросил я.

— Точно не знаю. Но Вера слышала, что в четверг.

— А кого принимают в пионеры?

— Да не знаю точно. Говорят, что всех. Только у кого родители лишенцы, тех не запишут.

В четверг к дому райкома комсомола шли толпами дети моего возраста. Было это летом 1924 года. Тогда мне исполнилось двенадцать лет.

Всюду слышались вопросы:

— А что они спрашивают?

— А чем мы будем заниматься?

— Может быть, сразу в Красную Армию вользмут?

Я побежал к Марии Израильевне. Дом их стоял недалеко от берега Баргузина. Мария Израильевна, прожив месяцев семь в Москве, затосковала по Байкалу, по Сибири. И она стала просить брата проводить ее на родину.

— Ну, ну, давай проходи, — ласково обратилась ко мне Мария Израильевна. — Слышала я, что у нас в пионеры записы-

вают. Как в вашей семье на это событие смотрят? Думаешь ли ты поступать в отряд пионеров?

Лицо мое покраснело, а в горле словно засела рыбная косточка.

— Что же ты молчишь? Или не надумал еще поступать в пионеры?

— Надумал! — чуть слышно сказал я.

— Пионеры — это лучшие дети в городах и селах. Хорошие ученики. Они и дома всегда примерные. Однажды в Сокольниках я видела, как шли они в белых рубашках, синих трусах и все с красными галстуками. Пели чудесную песню.

Я слушал рассказ Марии Израильевны и старался не проронить ни одного слова.

...Ну вот и записали нас в пионеры.

Разные пионервожатые были. Даже одним из них был начальник милиции Берлович. Он велел всем наделать длинные шесты и гладко выстругать их рубанком. В мастерской моего брата столяра сгрудилось полно ребятишек из соседних дворов. Здесь были Андрейка и Шурка. Поздно вечером всех записавшихся в пионеры построили во взводы и в роты. Затем повели по улицам Баргузина. Каждый из нас обязан был разучить по три военных песни.

Мы шли мимо дома Марии Израильевны и пели:

Слушай, рабочий,
Война началася.
Бросай свое дело,
В поход собирайся!

Мария Израильевна вышла на улицу и долго махала нам вслед красной косынкой.

Был у нас вроде вожатого и военный человек. Петр Николаевич Эдинг. Потом он стал районным военкомом. А мы называли его «Дядя Петя!» Эдинга все мы любили. Завидовали его военной форме и особенно до блеска начищенным хромовыми сапогами.

Приходил к нам на пионерские сборы и называл себя вожатым старый коммунист, отбывавший категору в Акатуе, Август Фендзеляу. Пионеров становилось все больше и больше. Наконец настоящим вожатым стал у нас Ваня Хребтовский. Он всегда носил пионерский галстук и почти ничем не отличался от нас. Ваня Хребтовский остался в наших сердцах на всю жизнь. Когда мне было уже за пятьдесят, я вошел однажды вечером в квартиру Хребтовских в Москве. Иван Сергеевич был уже дедом и полковником в отставке. В альных коробочках хранилось много боевых орденов нашего вожатого. Ну а жена его, сестра Шурки Гробера, Вечерка Гробер, теперь уже бабушка, наливала мне чай и приговаривала.

— Ну, пионер! Да, да, простите, я оговорилась, профессор. Вот так, профессор, через сорок пять лет и встречаются пионеры со своим вожатым.

И снова вопросы, вопросы ко мне:

— А что стало с Володей Пляскиным?

— На фронте он был в звании майора. Теперь где, не знаю.

— А где сын перевозчика? Помнишь был старик Элисов Ефим?

— О-о! — воскликнул я. — Сын его Лазарь Ефимович профессор и живет в Улан-Удэ.

— А Верочку Боянову помнишь? Кажется, ты еще дружил с ней.

— Вера Боянова чудесный доктор. Она даже минздравом Бурятии была.

— Ну, а Затеев?

— Затеев, Затеев... Милый наш Иосиф Тихонович. Постарел. Тоже живет в Улан-Удэ.

— Да, много добрых людей вырастил наш Баргузин, — сказала Вера Ивану Сергеевичу.

И мы снова вспоминали первых пионеров и вожатых Баргузина. Кто-то из них погиб смертью героя, кто-то стал генералом, профессором, многие носят на груди золотые звезды.

ВПЕРВЫЕ НА СУРХАРБАНЕ

Вторые сутки идет проливной дождь. Несет мутные воды Банин; вышла из берегов и наша кормилица — река Баргузин.

— Эка, паря, что делается, — показывая в сторону реки, говорит Захар Ларинов. — Однако затопит все. У бурят-то, сказывают, целые юрты вода сносит. Скотину несет.

— Да! — сокрушенно отвечает ему мой отец. — Не слыхано и не видано. Вот напасть-то.

— Покосы, покосы-то все залило. И что будет, паря, — покуривая трубку, повторяет Захар.

Я подбежал к отцу.

— Видишь, — недовольно покачал головой отец, — что вы делаете! Куда тут в Харгану ехать?! Может, тебе лучше дома остаться?

— Как же? — перебил я отца. — Все музыканты едут, а я останусь. Завтра пойдем. Нам уже приготовили подводы.

— Ну, паря, молодец ты, — похлопал Захар меня по спине. — Видел на днях ваш оркестр. А ты поди самый махонький? Дудка-то твоя как называется?

— Труба, — ответил я.

— Ну, что там перечить, — подмигнул Захар отцу, — пушшай едет. Буряты-то рады небось будут. Музыка. Пускай едет. Музыкант...

По каменистой дороге, кое-где застrewая в грязи, растянулись наши телеги. Многие из музыкантов — мои сверстники, но среди нас находились и пожилые люди. Особенно мне нравился скромный, воспитанный и очень талантливый баритонист Борис Кондаков. Наш капельмейстер — старый солдат. Он умел играть на всех духовых инструментах. В оркестре он часто исполнял сольную партию первого

корнета. Хотя и умел улавливать любую фальшивую ноту баса, альта или флейты, все же капельмейстер был абсолютно малограмотным человеком. Он мог, например, написать: «Вальс «Осения мечты». Вместо фразы «Возьмите четверть... восьмую», он произносил: «Взять четвертуску, восьмуску!» Впрочем, в том 1925 году мы, мальчишки, могли сказать вместо «когда» — «когда». Многие баргузинские бабушки путали звуки «с» и «ш», «з» и «ж». Баргузинские диалектизмы входили и в нашу речь. Иногда у бабушек получалось так: «Шобаку оставил вош караулить, а она, змей, вше мяшо шьела.» (Собаку оставил вон покараулить, а она, змей, все мясо съела).

Дорога наша была веселой. Бесконечные шутки друг над другом никогда не обижали нас. И, вообще, баргузинцы везде и всюду вели дружбу.

Тогда я, тринадцатилетний «музыкант», а вернее, дитя оркестра, еще по-настоящему не понимал ни цели нашей поездки в столицу Баргузинского хошуна, ни той радости, которую переживала вся молодая Бурятская республика.

И вот на просторной поляне расставлены скамейки, столы. Где-то рядом пахнет вареной баариной и жареной рыбой. Впервые на этой поляне собираются тысячи людей. Они приедут на веселое торжество — сурхарбан. Взрослые и дети, мужчины и женщины прибывают из дальних улусов на своих скакунах. Вот несутся всадники, и первым мчится жеребец Цыдыль Марковкина.

По стени разносятся возгласы:

— Без седока. Ай да Цыдыл! Ну, и Цыдыл!

Цыдылу Марковкину вручают первый приз — тарбаганью шубу.

Теперь бегут молодые люди.

— Байк! Байк! Постой! Постой! — Кричит старый Гомбожаб, плечом расталкивая толпу.

Приз вручают Батору Бубееву. Он показывает всем хромовые сапоги. Бегут парни с деревянными ложками в зубах, потом следуют прыжки на конях через горящие костры.

В шеренгу выстроились стрелки из лука. Натянута тетива, и точно идет в цель стрела с костяным наконечником.

Мы играем «Краковяк», «Польку», «Коханочку» и «Дунайские волны». Чирип Радиев и Содном Ринчин, пригласив русских девушек, показывают своим сородичам незнакомые для них танцы. И тут же, быстро, выходит пара за парой. Сотни людей танцуют вальс «Гамыра». Настелили деревянные подмостки. Улюнские и курумканские школьники в цветистых костюмах исполняли «Цыганочку». Наш капельмейстер подал знак, и оркестр грязнул «Барыню». Ребят сменили взрослые. Лучше всех получалось у беловодских тунгусов. И буряты, и русские, и тунгусы плясали «Барыню».

Самый большой аймачный начальник Сункуев подошел к оркестру и, пожав каждому из музыкантов руку, выдал по серебряному рублю.

Выступали с речами на русском и бурятском языках.

Почти все крестьяне в русских деревнях и буряты в улусах были неграмотными, или умели читать по складам. Все же именно в тот памятный для меня день я увидел среди танцующих бурятских учителей Радну Харпухаева, Будажабу Очирова и единственного из баргузинцев бурята с высшим образованием Антона Шаниюшкина.

Мой отец любил бурятских детей, обучающихся в Баргузине. Он свободно умел говорить на их родном языке. Я еще совсем маленький стал тоже понимать речь Эрдыни Балаганова или Гомбо Маланова. Теперь же, обучаясь в шестом классе, по своей доброй воле, я изучал монгольскую письменность у нашего Будажаба Доржие-вича Очирова.

Когда выступали большие начальники на сурхарбане, я старался переводить их речи музыкантам. Многие слова мне были не понятны. Я не мог объяснить слова: хубисхал — революция; мандатагай — да здравствует; эрдэмтэ — просвещенный и другие.

Захар Ларионов был прав. Наводнение приносило бедствие многим улусам. На обратном пути мы уже не могли ехать на лошадях. По разливавшимся протокам и реке мы плыли на лодках до самой Ярикты.

В каждом улусе мы играли марши. И всюду люди водили хороводы, отмечая вторую годовщину Бурятской автономной республики.

В СТОЙБИЩАХ ТУНГУСОВ

Тайга. Всюду зеленеют лиственницы. Где-то вдали слышится голос турана. Бурлит на перекатах Амалат, напоминая мою горную речку Гремячу. Где-то далеко-далеко осталось мое детство, Андреяка Гаськов и Шурка Гробер. Где ты, мой старший брат, со своими рубанками, фуганками, занзубелями и ценгубелями, стоящий у верстака на полу, покрытом стружками? Нет ни тебя и никого из моих родственников и знакомых. Уже многие годы я живу с бродячими тунгусами-эвенками и обучаю грамоте детей охотников и оленеводов. Живу я в чуме. Целыми неделями и месяцами я рассказываю людям тайги о жизни в других странах и больших городах. Но сам-то я ни других стран и ни одного города не видел.

Все, что я узнал у своих первых вожаков, у секретаря райкома комсомола Кости Барапова, у моих дорогих земляков первых коммунистов в Баргузине — Федора Башарова, Льва Эренпрайса, Льва Гробера, Августа Фендзеля, я стараюсь рассказать моим новым забитым, неграмотным друзьям.

Теперь я уже не верил в водяного, но мои новые друзья старались вселить в меня веру в добрых и злых духов.

— Через наружу бабе шагать грех, — говорил один.

— Если баба шагнет через ружье, сразу следует его протирать стружками, — повторял другой.

— На охоту пошел да бабу увидел, скорей домой возвращайся. Несчастье будет, — напутствовали меня молодые охотники.

Я оставался в чуме, чтобы проверить задания учеников, а они уезжали на охоту с родителями. Жена Гавуна Сократова говорила мне:

— Сказки-то знаю. Много знаю. Петь их боюсь. Гавун узнает, ругаться станет. Грех русским говорить: «Луча си бисини»¹.

— Я запишу от вас песни и сказки. Потом в город отправлю. Там книгу сделают, — упрашивал я жену Гавуна.

Когда же Гавун отправлял старуху в седние чумы гостевать, он говорил мне:

— Ну, паря, как это ты можешь один все запомнить? Суориа поет, бабы поют и Семен Баксанаевич поет, а ты потом, будто бы они сами, мне поешь. Я тебе тоже петь буду, только бабе моей не говори.

Так и получалось, что Гавун напевал мне сказания в отсутствии своей жены, а она также поведала мне о многих тайнах тунгусского фольклора.

В зимнюю стужу, когда около чумов вызывала пурга, жена Гавуна покрывала меня еще одним одеялом и, словно молясь, приговаривала:

— О Майн, добрый дух! Луча — учитель хороший друг наших детей. Останови пургу. Пришли, Майн, добрый дух, свежего мяса, чтобы я смогла накормить детей и лучу-учителя.

С каждым днем я узнавал про новые и новые обычай и обряды тунгусов. Мои глаза запоминали узоры на лочокол — оленных седлах — и хагал — берестяных коробках.

Я знал все детали обряда убивания медведя, как говорил мне Гавун, предка тунгусов; понимал, что должен делать мужчина при камлании шамана. Старый Пан-тэ учил меня многому и главному, как можно ехать верхом на олене без тропы по тайге.

Редко, но все-таки привозили в наши стойбища газеты. Я познавал неписанные законы экзогамии, ливерата и тотемизма тунгусов, различал отдельные нюансы в фонетике и лексике различных говоров тунгусов беловодских и местных, витимских. Наблюдал, как в речь тунгусов врывается совсем новые слова: туземный совет, туземный суд, фактория, партия, социализм, комсомол. Хулама Армия², бригада и бригадир. Я читал газеты, а мои слушатели задавали вопросы:

— Сколько пройдет дней, пока на оленах доедешь до Москвы?

— Может ли самолет обогнать самую быструю утку?

— Почему в других странах люди не сделают Советскую власть?

Я обучал грамоте единственного в тех стойбищах коммуниста Петра Юмсунова. Петр быстро усваивал грамоту и уже сам прочитал книгу М. И. Калинина «Что дала Советская власть трудящимся». Приезжали разные уполномоченные: одни — из финотдела, другие — из райздрава, третий — из Буркоопсоюза. Кого-то интересовало лечение оленей, кого-то заготовка дичи, ягод и рыбы. Чаще всего приезжали заготовители пушнины. Но вот приехали совсем другие «уполномоченные» — секретари районного комитета комсомола. Сперва они набросились на меня и Юмсунова:

— Почему, — говорили они, — у тебя, Юмсунов, всего один комсомолец? — и показывали пальцем на меня.

Юмсунов краснел. Молчал. Тогда они упрекали меня:

— Как же ты, учитель, не привлек никого в ряды комсомола?

Я оправдывался:

— Есть комсомольцы: Спиридон, Уриндак Басауловы и другие есть. А билетов-то нет у нас. Вы ведь ни разу не приезжали. Маруся Казанцева ехала пять суток до нас, чтобы проверить, как платят здесь комсомольцы членские взносы. Приехала. И что же? Комсомолец-то здесь один я. Сам себе взносы платил. Отдал ей за год взносы и все. Уехала Маруся, а мне квитанцию оставила.

Секретари райкома оказались очень хорошими товарищами и даже переживали за то, что вроде бы сами позабыли про меня. Вечером у нас было первое собрание молодежи. В комсомол записалось пять охотников из тунгусов. Пришло секретарям выдать билет и Тынде Тунинчееву, хотя было ему под сорок. А умирал он глубоким стариком с партийным билетом, оставил о себе воспоминания, как об одном из лучших оленеводов витимской тайги.

Уехали наши секретари в Багдарин, районный центр. И с тех пор часто стали посыпать нам тексты лекций, докладов, газеты.

Наша ячейка выросла. В ней уже состояло девять комсомольцев.

Однажды приехал нарочный на олене верхом с пакетом. Распечатал пакет Юмсунов и молчит, словно нет у него языка.

— Чего молчишь? — спрашивал его.

— Нет больше учителя. Тебя нет. Вызывают в Москву. Читай! Вызывает тебя Надежда Константиновна Крупская.

Стойбище собралось в большой круг. Люди плясали одёру. Они пели о Москве, куда я должен уехать. Они пели об охоте, о тайге, откуда я уеду навсегда. Мне подарили самые красивые унты и бельчью шапку. Тайга отправляла меня учиться в большой город.

¹ Русский ты.

² Красная Армия.

До самого Багдарина провожали меня все наши девять комсомольцев.

НА БЕРЕГАХ НЕВЫ

Так вот ты какой Ленинград! Гляжу я у Петропавловской крепости на Неву и сравниваю ее с Баргузином. Вдоль берега копошатся сотни любителей рыбаков. То и знай кидают в воду спиннинги. Я вспоминаю нашу рыбалку на озере Баунт. Наивный чалдон, с открытой душою, я рассказываю об Ангаре и Байкале и о тех хариусах, которые мы добывали с Андрейкой в устье Гремячи. Я хожу по Невскому проспекту и, задрав голову, рассматриваю архитектурные украшения. Я хорошо знал, какие лучше строить дома в русских деревнях, какие бывают юрты в бурятских улусах и чумы в тунгусских стойбищах, но не имел понятия о том, что есть стили: дорический, ионический, готика или барокко.

Ходил чалдон по музеям Ленинграда, и все ему было в диковинку. В то лето я впервые увидел трамвай и автобус. Под Ленинградом я впервые в жизни подошел к настоящей яблони и сорвал три яблочки. Прошел год, и чалдон уже постепенно приобретал внешний облик горожанина. Но все же, с кем бы я ни начинал разговор, непременно должен был похвалить свою Сибирь или Байкал.

Баргузин, Амалат и озеро Баунт мне часто виделись по ночам. Теперь на каждый свой вопрос я мог найти ответ в книгах. Больше всего на свете я полюбил книги, и они не отвечали мне, подобно моей матери в пору нашего баргузинского детства: «Много будешь знать — мало будешь спать».

Книги познакомили меня с декабристами. И я уже знал, что наше «Карловиче поле» называли местные жители в честь Михаила и Вильгельма Карловичей Кюхельбекеров. У памятника Пушкина я думал о письмах Кюхли, только что прочитанных мною в Публичной библиотеке. В этих письмах царский изгнаник Кюхля писал гению русской поэзии о ныне диком тунгусе. Под влиянием писем Кюхельбекера Пушкин и обращался к тунгусу в своем «Памятнике».

В Детском селе, недалеко от лицея, где сидит на скамье, отлитый в бронзу, друг Кюхли, я вспоминал наши купавки и ланьши в Карловичем поле. И мне хотелось рассказать Пушкину о своем тунгусском рукописном букваре, размноженном в стойбищах для учеников в восьми экземплярах, я поведал бы ему о повсеместном пробуждении тайги и бурятских улусов. Я рассказал бы Пушкину о том, что я и обучающиеся в Ленинграде мои бывшие ученики из витимской тайги перевели творения поэта на язык тунгусов.

Я стоял в Александровском парке, где когда-то по утрам гуляли Кюхля с Пушкиным, и читал про себя стихотворение,

написанное тунгусом Платоновым, моим другом и ленинградским учеником:

Нерукотворный «Памятник»
Мне ясно говорит,
Что ты, великий Пушкин,
Слышиши наши песни.

Ты, Пушкин, погляди
На «дикого тунгуса» —
Ведь это я — эвенк,
Навек теперь свободный.

Я землякам в колхозе
Стихи свои читаю,
Слова твои звенищие
Над Севером летят.

И счастьем прорастает
Таежная земля.
Твое, твое пророчество
Сбылось, великий Пушкин!

Книги и архивы уводили меня к давним временам. И я узнавал о том, что первая изба в Баргузине под названием «Острог» была срублена в 1646 году. Здесь я прочитал «Летописи баргузинских бурят».

Я часто слышал, что обо мне говорили как о «чалдоне». Зимой я носил беличною шапку, дошку из шкур витимских косуль и надевал унты, сшитые из сохатиных камусов. Одежда моя протягивала незримую нить от тех далеких дней, когда мы с оркестром в 1925 году ездили торжественно отмечать вторую годовщину Бурятии, до моей совсем новой ленинградской жизни. И теперь, когда я вспоминаю своих ленинградских учителей: Богораза-Тана, Кошкина, Цинциус, Козина, Гребенщикова — я думаю, что все же самым главным учителем в моей жизни были люди, привлекавшие меня в своих чумах и стойбищах, а также наша маленькая баргузинская каменная школа.

Давно я закончил Герценовский институт и был принят в аспирантуру Института народов Севера. Сами северяне называли институт «Чудесным чумом». Да, в чуме этом происходили чудеса. Вчерашний охотник уезжал отсюда учителем, адвокатом, экономистом или партийным руководителем.

Шли годы, и для меня уже были однаково дороги Баргузин и центр Эвенкии — Тура, Якутия и обской Север. Я считал себя сыном Сибири и Севера.

Мои учителя и товарищи понимали неизбежность встречи с фашизмом на полях сражений.

Надвигалась гроза... На моих петлицах была «шпала». Старший политрук, вчерашний чалдон-сибиряк, уходил со своими северянами в бой с фашистами, добровольно вступив в Первую Гвардейскую дивизию армии народного ополчения. На Кингисеппском направлении, под Молосковицами, у деревни Кряково после второго тяжелого ранения выносил меня на руках в полевой госпиталь красноармеец армянин Захарян.

И потом на Западном фронте, уже в чине майора я узнаю о боевой славе генерала Балдынова, сына Бурятии. А когда отгремят орудия и наступит тишина, я стану опять в Ленинграде перечислять академику Козину имена тех, с кем мне довелось повстречаться на дорогах войны. Я назову ему имя Героя Советского Союза нанайца Александра Пассара, старшего лейтенанта якута Георгия Никифорова, эвенка Пашу Алексеева. И пойдут у нас снова беседы с Сергеем Андреевичем о «Сокровенном сказании» — калмыцком «Джангаре» и древнем эпосе бурят «Гэсэриаде».

Снова книги, архивы, рукописи и далее путешествия в исконные края тунгусов. Снова полевые записи фольклора от людей многоязыкой Сибири. Снова по земле, по воде и по воздуху я иду, плыву и лечу к ледовитым морям сквозь тайгу и по тундре.

ДЯДЕНЬКИ-КАЮРЫ

Когда однажды зимой я пришел в Ленинградский парк культуры и отдыха и увидел, как мои студенты-северяне катают на оленевых упряжках малышек, мне сразу же пришла на память четверка запряженных оленей Спиридона Басаулова, первого комсомольца из витимских эвенков.

Нет уже Спиридона Басаулова. Он погиб, как и многие его сородичи, в боях, защищая советскую землю от фашистов. Здесь, недалеко от Ленинграда, где-то в братской могиле скончали друга моей юности баргузинского тунгуса Цыдыпа Вачеланова. Это был человек с добрым сердцем, секретарь сельского Совета, и ходили мы с ним на лыжах вблизи озера Баунт, выслеживая лисицу-огневку. Цыдып, защищая город Ленина, отдал свою жизнь именно там, где не затихали бои ни ночью ни днем.

Девчонки и одетые в зимние шубки мальчишки облепили дяденьку каюра — Гавриила Маркова, приехавшего в каменный город учиться с низовьев Амура. А каюр наш в старинной одежде да в замшевых унтах на ногах, расшитых бисером.

— Чок! Чок! Чок! — погоняет оленей каюр.

А ребятам-то диво. Живые олени в настоящей упряжке, и каюр — настоящий тунгус. Откуда знать ребятам, что дяденька каюр через год-два получит диплом учителя и уедет далеко на Север.

Крики ребяччи и взгласы, смех молодежи. Наши студенты, ставшие временно каюрами, напевают тунгусские песни.

И вспомнился мне Андрейка Гаськов, сосед по нашей Третьей улице в Баргузине. Андрейка, с которым ходили мы добывать хариусов к устью речки Гремячи. Как это было давно! Про водяного тоже я вспомнил. И лицо Шурки, ходившего с нами в гольцы, где растут высоченные кед-

ры. Погиб Андрейка в боях, как погибли многие солдаты, идя на врага в штыковую атаку. Друг моего баргузинского детства Шурка Гробер стал уважаемым инженером. Только вместо своей ноги у него протез. Он бился с врагами у волжской твердыни и не единажды слышал звучный голос комбата: «Молодец, Александр. Спасибо тебе, сибиряк!»

Каждый год сюда будут приходить все новые и новые толпы ребятишек. Их будут катать на маленьких лошадках и на оленевых нартах.

И что они знают о каюрах? Ничего. Просто дяденька в северной одежде и с лицом северянина приехал в Ленинград, чтобы покатать их на оленевых упряжках.

Мне хочется подбежать к каждой оленевой упряжке и сказать детям города-героя: «Ребята! Трудный путь был у дяденьки-каюра. Там, где он родился и вырос, еще лет сорок назад ни один из взрослых людей не умел ни писать, ни читать. Теперь же в тех краях построены школы, санатории. Дети там умеют читать на своих родных языках и на русском. Именно в таких краях и выросли писатели Юрий Рытхэу и Юван Шесталов, книжки которых вы так любите читать». И еще мне хотелось собрать всех мам и бабушек ребятишек, катающихся на оленях, и сказать им: «Знаете ли вы, дорогие мои ленинградцы, что за счастье вот этих детей отдали жизни многие земляки каюров?»

Подошел ко мне Гавриил Марков и заговорил по-тунгусски.

— Дедушка! — спросил меня мальчик, — на каком языке вы с дяденькой-каюром говорите?

Сперва я вздрогнул. Боже мой, я уже дедушка! Как быстро жизнь несет наши годы. Потом подумал: может быть, быстро, а может, и нет. Ведь сколько пройдет по нелегких дорог с тех пор, как дала мне Мария Израильевна книгу Некрасова с «дарственной надписью»!

— По-тунгусски, — ответил я.

И еще долго расспрашивали меня люди о прошлом и настоящем северных племен.

НЕ ВО СНЕ ЛИ ЭТО?

Москва... Здесь в 1922 году был создан Полярный подотдел Народного Комиссариата по делам национальностей. Здесь в 1924 году был создан Комитет народов Крайнего Севера. В Москве Otto Юльевич Шмидт принимал у себя на квартире студентов из «Чудесного чумы». Человек, не один раз повидавший ледяные просторы, о котором говорили в народе с почтительностью «по колен борода», любил вести разговор с тунгусами и чукчами, ненцами и коряками. Это было новое племя молодой советской интеллигенции из народностей Крайнего Севера.

И Анатолий Васильевич Луначарский, и Надежда Константиновна Крупская, и Otto Юльевич Шмидт пристально следили

за успехами учащихся северян из «Чудесного чума». Известный полярник и учёный академик Шмидт долго рассматривал картины ненца Панкова и удэгейца Уза, а вечером приехал в редакцию «Правды», чтобы порадовать друзей работами молодых художников.

10 июня 1937 года все мы, преподаватели, имевшие прямое отношение к «Чудесному чуме», читали в статье Отто Юльевича, опубликованной в «Правде»: «Студенты этого института подбирались из местных активистов, чтобы получить здесь образование и стать руководителями своего народа в разных отраслях социализма. Но когда этих сто студентов попросили нарисовать или что-нибудь вылепить из глины или вырезать из дерева, то оказалось, что хотя их никто по этому признаку и не подбирал, — больше половины их — выдающиеся художники. Эти студенты создали такие замечательные декоративные картины, такие скульптуры, что для художников-профессионалов их искусство явилось откровением народного реализма, творчеством людей, знающих жизнь, которую изображают, и обладающих огромной силой выразительности. Эти картины и скульптуры в большом числе пошли на Парижскую выставку».

На Выставке народного хозяйства в Москве я ходил по павильону, украшенному картинами ненца Кости Панкова. Автор картин чём-то напоминал мне первого комсомольца на Витиме эвенка Спиридона Басаулова.

Снова Москва. На набережной Мориса Тореза собирались на Вторую конференцию литераторов Севера наши вчерашние студенты. Мечтал ли об этих переменах Арсеньев, посыпавший на память Горькому в Сорренто своего «Дерсу Узала»? Нет! Тогда у нанайцев еще не было своей письменности и не было ни одного человека со средним образованием. Великое чудо свершилось за каких-нибудь полста лет.

И снова думы о тайге, моем первом уроке в бурятско-тунгусской школе в вершине реки Баргузина. Сквозь всю свою жизнь я пронес любовь к моим первоклассникам, девчонкам и мальчишкам из тунгусов и бурят. Даже не верится, что в те далекие годы ни один из них не умел разговаривать по-русски.

В зале Союза писателей сидят поэты нанаец Андрей Пассар, ненец Василий Ледков, манси Юван Шесталов, прозаики чукча Юрий Рытхэу, нанаец Григорий Ходжер, нивх Владимир Сангги, юкагир Семен Кирилов...

На конференции один из поэтов, приехавший из Закавказья, задавал много вопросов. И на все вопросы тунгусский поэт отвечал ему: «Да».

— Читают ли на вашем языке Пушкина?

— Да!

— А Тургенева?

— Да!

— Чехова?

— Да!

— Маяковского?

— Да! И читают Крылова, Николая Островского, Маршака и Бианки...

— Есть ли у тунгусов свои художники?

— Да, мой земляк, живет он в Туре, имя его Роман Пикунов.

— Ну, а есть ли у тунгусов кандидаты наук?

— Да!

— И среди них есть женщины?

— Да, Романова и Мыреева.

Южанин почесал затылок и робко спросил:

— А докторов наук пока у вас еще нет?

— Почему же? Есть, у нас в Туре и доктор наук из эвенков.

...Академия общественных наук при ЦК КПСС. Ученый Совет. Сегодня должно свершиться то, о чём пока еще и во сне не может присниться многим туземным племенам Австралии, Аляски и Канады.

Когда Будажаб Доржиевич обучал меня в шестом классе монгольской письменности, лишь единицы из баргузинских бурят имели среднее образование, а высшее — один Шанюшкин. У тунгусов же в то время ни один человек не закончил начальную школу. В витимских же стойбищах впервые в истории люди учились читать.

На кафедре академик Гафуров — первый оппонент по защите докторской диссертации Василия Николаевича Увачана. Я сижу в зале рядом с тунгуской Александрой Курейской. За Гафуровым должен выступать я. Смотрю на президиум Ученого Совета и в зал. Здесь, в зале, сидит моя жена, знаяшая Увачана еще в тридцатые годы как студента «Чудесного чума». «Не сон ли это?» — думаю я.

Нет, это не сон. Депутат Верховного Совета СССР Василия Николаевича я видел в Туре, на Нижней Тунгуске, мы ходили с ним вдоль берега Енисея и вели большой разговор. Я встречал докторанта в Ленинграде, когда он возвращался из Норвегии, поразив своей необычной эрудицией буржуазных ученых. Я видел книги В. Н. Увачана, изданные на многих языках мира.

Речь моя была совсем краткой. И зачем было писать длинную речь оппонента? Василий Николаевич представлял собою всю Эвенкию и все малые народности советского Крайнего Севера и Дальнего Востока. Он шагнул от анимизма и экзогамии в наше коммунистическое сегодня. Один из самых маститых историков Сибири и сам родившийся в Сибири академик Окладников спустя год, представляя монографию Василия Николаевича Увачана, обратится к читателям со словами:

«Итак, перед вами Василий Увачан, сын своего времени. Символично уже то, что он ровесник Октября. В 1917 году в семье бедного охотника Николая Увачана в далеком селе Кресты северного Катангского района родился сын Василий. И если прежде ему было бы суждено от начала дней

и до конца жизни знать только мир тайги, гнаться за быстроногими оленями, то теперь перед маленьким эвенком открылась широкая дорога в новую и удивительную жизнь».

РОДНАЯ МОЯ СТОРОНА

Речки Гремяча, Банная и Винная приводили всегда меня к полноводной реке Баргузину. По Баргузину я не один раз на лодке пробирался к Байкалу. В Прибайкалье пробежало детство и прошли юные годы моих сверстников, моих братьев. Все мои братья остались на этой земле, неся в меру своих сил трудовую вахту. Судьба привела меня к невским берегам.

Я живу в Ленинграде, но думы и мысли всегда о Сибири, о Севере, о земле, где стояли когда-то юрты в бурятских улусах и чумы в тунгусских стойбищах.

Недавно на восточном факультете Ленинградского университета состоялась еще одна защита кандидатской диссертации. Красивая и стройная женщина Светлана Бардаханова стояла перед Ученым Советом и смотрела на меня, своего первого оппонента.

Мама Светланы — баргузинка, из Баянгола. Она знала лишь летники да зимники в своей баргузинской долине, а ее дочь сегодня получила звание кандидата филологических наук.

В Улан-Удэ Светлане Бардахановой по-

жмут руки и поздравят с успешной защитой профессор Лазарь Элиасов, поэт Николай Дамдинов, старейший член партии Наум Кузнецкий. Все они баргузинцы. Ее обнимет беловодский тунгус, тоже кандидат наук, Александр Шубин. И поздно вечером в квартире Светланы Бардахановой зазвучит телефон.

— Милая Света, землячка моя дорогая, баргузиночка! — услышит голос Светланы. — Говорит Председатель Президиума Верховного Совета Бурятии Семенов. Какая же ты молодчина! Поздравляю. Скажу тебе, что в республике теперь 1411 научных работников, в том числе 17 докторов и 352 кандидата наук.

Город Ленина, ты вдохнул в меня новую жизнь. Ты познакомил меня со своей историей, со своими традициями — традициями питерского пролетариата и трех революций. Ты открыл передо мною двери в храмы наук. Я защищал тебя с оружием в руках и вел вперед на врага подразделения в Первой Гвардейской дивизии. Город Ленина, теперь я навеки с тобою. Но все же я сын баргузинской долины и моей родной Бурятии. Ты прости меня за слабость, если заметишь слезу на моих глазах в минуты, когда наш народный артист Лхасаран Линховоин станет исполнять песнь о Байкале, и я услышу слова:

Эй, Баргузин, пошевеливай вал,
Плыть молодцу недалечка...

Л. ВОЛЬПЕ

ВРЕМЯ РОМАНА

В 1967 году «Литературная газета» опубликовала диалог, который вели литературный критик Иван Козлов и писатель Григорий Бакланов, автор привлекших внимание читателей фронтовых повестей — «Южнее главного удара», «Пядь земли», «Мертвые сраму не имут». Незадолго до этого в печати появился роман Г. Бакланова — «Июль 41 года». И, естественно, читатели ожидали, что в диалоге между критиком и писателем речь пойдет о взаимоотношении двух жанров — повести и романа, о воплощении героической темы Великой Отечественной войны в нашей художественной прозе. Предчувствия не обманули. Именно эти проблемы и были затронуты.

Автора «Пяди земли» особенно волновала мысль о современности военной темы. «Книги об Отечественной войне, — утверждал он, — неотделимы от всей нашей литературы. Они часть ее. Так же, как и вся литература, они рассказывают о жизни нашего общества... И, как мы знаем, книги эти оказываются очень современными¹. Размыщая далее об эволюции жанров, он говорил: «...Если не брать писателей великих, то, мне кажется, у большинства писателей получается так: рассказ, повесть, а в дальнейшем — роман. Мне кажется, что сейчас о войне больше будут создавать романы: времена достаточно прошло, многое обдумано, настала пора романов. Однако из этого правила возможны очень и очень большие исключения».

Действительно, исключения тут велики. Если познакомиться, например, с тем, что опубликовали московские журналы в минувшем году к 30-летию Победы, то станет заметным: первенствующее место сохранила за собой повесть. В самом деле, «Новый мир» напечатал повести А. Смоляницкого «Майские ветры» (№ 5) и С. Георгиевского «Монолог» (№ 6), «Москва» — повести Г. Семенихина «Послесловие к подвигу» (№ 5) и В. Андреева «Недолгое затишье» (№ 9), «Юность» — повести Н. Кравцовой «Возвращаясь в юность

свою» и Ю. Додолева «В мае сорок пятого» (обе в № 5), «Октябрь» — повесть А. Афиногенова «А внизу была земля» (№ 5), «Молодая гвардия» — повесть В. Филатова «На вертикалях» (№ 5). Этот список можно было бы продолжить. Как видим: повести, повести, повести... В этом богатстве предстоит еще разобраться. А теперь снова вернемся к заинтересовавшему нас диалогу.

Развивая мысль, высказанную Г. Баклановым, И. Козлов замечал: «Конечно, каждый решает задачу посильную. Но если говорить о поступательном развитии жанров, то я думаю, что роман-эпопея, роман синтетический все больше и больше утверждается в своих правах и больше, как вы сказали, соответствует потребности и читателя, и самой литературы, и, понятно, тут есть возможность и философски, и политически, и нравственно осмыслять события».

Как все эти спокойные утверждения не похожи на пронзительные, истерические вопли, доносящиеся до нас из салонов западной буржуазной критики о закате романа, о неминуемом конце его, о том, что роман, дескать, уже исчерпал себя и никому не нужен. Возражая подобным «прорицателям», Чарльз Сноу, английский ученый, общественный деятель и писатель, недавно на страницах той же «Литературной газеты» делился своими наблюдениями. Он писал: «Имеются убедительные соображения, почему именно роман будет существовать и даже окрепнет. Во-первых, это великая форма, обладающая огромной гибкостью, форма, в которой могут найти применение таланты самого различного рода — и психологические, социальные, интеллектуальные, равно, как и повествовательные. Во-вторых, хотя в наше время трудно написать превосходные романы, зато определенно легко — занимательные... Стремление к живости изложения всегда вызывало пренебрежение у эстетов. Но ведь нет сомнения в том, что роман, не заставляющий читателя переворачивать страницы, — это вообще не роман¹. Занимательность, живость изложения — это, конечно, важно. Но важнее, наверное, содержание. Будоражащее

¹ «Литературная газета», 22 февраля 1967 г., с. 6.

¹ «Литературная газета», 15 октября 1975 г., с. 15.

мысль, побуждающее к раздумьям, к активной работе интеллекта. И об этом не забывает английский романист. Приводя в качестве примера творчество Марселя Пруста, он утверждает: «Пруст был, в сущности, великим критическим реалистом... Он показал в необычайной форме, к которой надо было как-то привыкнуть, что традиционный критический реализм может сочетаться с интеллектуальной сложностью».

Таким образом, по Чарльзу Перси Сноу, главные приметы современного романа: реализм, занимательность, интеллектуальность. Что ж, с этим можно согласиться. Хотя, чтобы не упустить самого главного, следует еще вернуться к суждениям советских писателей и критиков. Главное в романе, как и в художественном произведении любого жанра, — правда. Рассуждая о трудностях, возникающих перед романистом, воспроизведяющим трагические периоды минувшей войны, Г. Бакланов в заключении уже цитированного здесь диалога утверждал: «Мы — победители. Мы можем говорить правду достойно и мужественно. А подвиг нашего народа таков, что его и отразить, и возвеличить способна только правда».

Вновь и вновь осмысливая все эти суждения, я перечитал романы, вышедшие в последние годы и единодушно признанные и критиками, и читательской общественностью значительными линиями нашей литературы. Хотелось обратить внимание на то, что можно считать особенно удившимся, интересным. И на то, что может вызвать возражения, навести на спор. А ведь в споре, в столкновении противоположных мнений, как известно, рождается истина. Романы эти, мне кажется, следуют расположить в ряд не по датам их публикаций, а по времени разворачивающихся в них событий. И вот что получится: Сергей Крутилин — «Крестьи» (роман опубликован в журнале «Москва», 1975 г., № 7, 8, действие в нем развертывается на Волховском фронте в декабре 1941-го), Владимир Богомолов — «В августе сорок четвертого...» («Новый мир», 1974 г., № 10, 11, 12, время событий, воспроизведенных в романе, определяется его заголовком), Юрий Бондарев — «Берег» («Наш современник», 1975 г., № 3, 4, 5, последние дни войны и наша современность), Анатолий Ананьев — «Годы без войны» («Новый мир», 1975 г., № 4, 5, 6) и замкнет наш ряд Григорий Бакланов — «Друзья» («Новый мир», 1975 г., № 2, 3). Герои романов А. Ананьева и Г. Бакланова живут и действуют в последней трети 60-х годов).

Прочитанные в такой последовательности романы способны создать довольно полное представление о том, чем и как жили советские люди на большом историческом переходе от жестоких испытаний начального периода Великой Отечественной войны почти до наших дней. Это — своеобразная история советского народа, запечатленная в полнокровных художест-

венных образах. Каждый же роман, взятый отдельно, знакомит нас с группой персонажей, с взаимодействием самых различных социальных слоев нашего общества, с конкретным более или менее значительным событием, наконец, с творческой манерой, талантом, интересами, пристрастиями, симпатиями и антипатиями того или иного автора... А в том, что каждый из них талантлив, сомневаться не приходится. Интересно установить, куда талант направлен, в каких формах проявляется.

Почти десять лет назад Г. Бакланов утверждал, что «настала пора романов». Эпическое, полноводное течение нашей жизни, стремительное развитие советского общества предопределяет развитие эпических жанров литературы. Никто не станет отрицать того, что настала пора ее блестящих успехов, что в наше время особенно заметны достижения во всех ее видах. И, конечно, в жанре романа. Романа зрелого, увлекательного, интеллектуального, сочетающего эпичность, умение показать поток жизни с совершеннейшей проработкой каждого образа. Полезно еще раз пристально присмотреться к тому, как все это происходит в живой литературной практике.

«Крестьи». Это вторая книга из задуманной С. Крутилиным трилогии. Первая — повесть «Лейтенант Артихов» — была опубликована в 1968 году. Мне пришлось писать о ней (см.: «Дальний Восток», 1975 г., № 5). И с тем большим интересом читалось новое произведение. Какими глазами засверкают характеры уже знакомых персонажей? Какие испытания выпадут им на долю? Сумеет ли писатель чем-нибудь пополнить наше представление о Великой Отечественной войне?

Повести «Лейтенант Артихов» была присуща некоторая однолинейность. Воинский эшелон десять суток двигался к фронту от берегов Тихого океана. Мелькали станции, полустанки, мосты, виадуки, водокачки. Шутил, балагурил, задумывался о многом и спорил молодой, стриженный «нулевкой» народ, скрутившись на нарах и зарядных ящиках. Двигался поезд... И как станция за станцией, эпизод за эпизодом выстраивалась композиция повести, все яснее, понятней и ближе становился нам главный герой — молодой лейтенант-артиллерист Василий Артихов.

Романом «Крестьи» писатель дает нам возможность составить себе предельно-отчетливое представление о конкретном историческом событии — Тихвинской наступательной операции (конец ноября — декабрь 1941 г.). Вперед, утопая в полутора-мерзшей, прикрытой снежными навалами болотной жиже, движутся развернутые цепи: пехотинцы, артиллеристы, саперы, связисты — труженики войны, уже тогда творившие великое дело Победы. Развернутым фронтом идет наступление, фронтально развертывается композиция романа. Создается впечатление перспективы, глубины, простора, без которых невозмо-

жен роман. Ведущее место в нем принадлежит воинам-дальневосточникам. Воинам, приобретшим хорошую боевую выучку в боях у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Конечно, масштабы Великой Отечественной войны совсем иные. А вот боевой задор, солдатская доблесть, воинское умение — все те же.

Приведу свидетельство одного из очевидцев. Генерал-полковник артиллерист Г. Е. Дегтярев (в период Волховской наступательной операции он командовал артиллерией 4-й армии, шедшей на самом острье прорывного клина) вспоминает: «В армию продолжали прибывать новые части и соединения... Когда я узнал, что в числе вновь прибывших находится и 32-я стрелковая дивизия, то немедленно отправился в ее расположение. Ведь она была когда-то одним из лучших соединений в Приморской группе войск. Я часто наезжал туда во время своей службы на Дальнем Востоке. Надежды мои оправдались. Эта дивизия не утратила своей былой красоты и мощи. Откровенно говоря, за первые месяцы войны мне такого пришлось наглядеться, что царивший здесь порядок показался чудесным сном... Отличная выучка чувствовалась во всем»¹.

Роман С. Крутилина привлекает к себе не только широтой, размахом, стремительным эпическим течением, но и пребельной достоверностью, тем, что автор отлично знает дело. Показывая, как в бою давала себя знать отличная выучка дальневосточников, он и себя причисляет к выученикам той же школы. Созданные им характеры — это необычайно выпукло вылепленные, многосторонне показанные человеческие характеры, картины природы — захватывающие своей поэтичностью, своим лиризмом картины, сцены боев — увлекающие динамизмом, экспрессией, стремительностью, неожиданностью возникающих ситуаций сцены.

Обращаясь к своим собратьям по перу, критик Евгений Сидоров как-то говорил: «Не кажется ли вам, что искусство стало гораздо меньше потрясать людей? Оно стало умнее, проблемнее, даже философичнее, назовите это как угодно, но потрясать почти перестало. Момент эмоционального контакта сводится к минимуму»². Сила С. Крутилина-писателя в том, что он потрясает, умело (но вовсе не преднамеренно!) устанавливает контакт со своими читателями. Так было в «Липягах», в других его повестях о советской деревне, так — и в его фронтовых произведениях. Он пишет всегда о том, что самим пережито, что оставило глубокие, незаживающие следы в душе. И в этом-то вся суть.

Сергей Крутилин русский писатель. Он нигде и намеком не обмолявается о национальной принадлежности своих героев,

не употребляет диалектных «исконно-посконных» выражений, не переиначивает «на деревенский лад» слова общелитературного лексикона. А вот подлинно русские, каждой кровинкой прикипевшие к родной земле характеры его героев проявляют себя во всем. Таков Вася Артиков, не оплошавший на фронте. Таков командир полка полковник Сарычев. Таков и друг Артикова — младший лейтенант Иван Малахов. Рассказ о его судьбе составляет самостоятельную, весьма увлекательную и поучительную линию романа, «роман в романе».

О любви на фронте написано немало. Причем любовь эта подается либо в романтическом, приподнятом ключе, либо в нарочито сниженном, обыденном. С. Крутилин первым, как мне кажется, сумел избежать обеих этих крайностей. Рассказ о фронтовой любви, как и обо всем ином предельно достоверен. И обстоятельства показаны здесь самые характерные. В книге генерал-полковника Г. Е. Дегтярева постоянно говорится о нехватке снарядов. Орудия и минометы, эти прожорливые чудища, постоянно требуют пищи. Кто служил в артиллерию, тот знает, как трудно было (особенно в первый период войны в лесо-болотистых районах) доставлять на передовые позиции снаряды и мины, как доставалось особенно увлекавшимся артиллерийским командирам за перерасход боеприпасов... А вот полк Сарычева получил эти самые «огурчики» и «картошку» по полной норме. Но не успели батареи и выстrelа сделать — приказ: немедленно выступать. Ташить на себе все это дефицитнейшее, но чрезвычайно тяжелое багажство, не было ни сил, ни возможности. Решение могло быть только одно: создать импровизированный склад, назначить команду для его охраны и ждать удобного случая, когда все эти боеприпасы можно будет подтянуть к новой передовой...

Я так подробно рассказал об обстоятельствах, в которых могла возникнуть любовь Ивана Малахова (именно ему было приказано возглавить «складскую» команду) потому, что из этих обстоятельств возникает, складывается жизненная плоть романа. Здесь ничего не идет от случая, все предопределено временем, характером событий, характером персонажей.

Молодой командир взвода созрел для любви. Время пришло. А в том, что чья-то душа откликнется на его призыв, сомневаться не приходилось: ладен собой Иван, и любую деревенскую работу знает, и человек серьезный. Малахов поступает так, как и надлежало поступить порядочному человеку: по всей форме делает предложение, знакомится с отцом девушки, играет свадьбу. Скромную, военную, но со всеми приметами подлинно русской свадьбы. Войнавойной, а движение жизни не прерывается. Автор романа не переносит помпезности, назойливости, не идущих к делу псевдокрасивых слов. Мы сами должны догадаться и догадываемся, сколько

¹ Г. Е. Дегтярев. Таран и щит. М., Воениздат, 1966, с. 31, 32.

² «Литературная газета», 13 августа 1975 г., с. 5.

слез пролила, сколько дум передумала, какие наказы давала суженому молодая жена Ивана. И, конечно, главный, постоянный наказ, какой давали всем близким на войне: береги себя. А Иван, вскоре вновь оказавшийся в кипении, в сердцевине боя, — не поберегся. Любовь увлекла, вдохновила его, сделала каким-то одержимым. И хоть вовсе необязательно артиллеристу, командиру взвода управления идти вместе с пехотой в атаку, Малахов пошел.

Сцена его звездного часа — подвига и гибели — одна из удачнейших в романе. Умение автора раскрыть диалектику человеческой души проявляется во всей полноте: «...Он застонал и перевернулся на бок. И увидел он родные Цепели. Будто возвращается с реки домой. День знойный; в одной руке у него удочка, а в другой — кукин. До рези в глазах поблескивает чешуей плотва, красноперые голавли, окунь-горбачи. Он ложится на луг — не столько от усталости, сколько от блаженства. Стрекочут кузнечики, высоко в небе поют жаворонки. Солнце — в зените, солнце ослепляет. Он закидывает руку, прикрывая ладонью лицо. В ушах — звон от тишины и стрекота кузнечиков. Цветут ромашки, и стоит только скосить глаза, как увидишь ту же солнечную бель на всем лугу... Он лежал на белом-белом снегу, смежив веки, и кругом была такая же тишина, как и там, за Вяткой, в родных Цепелях»¹.

Прочитал я в десятый раз это место романа, и болезненно как-то сжалось сердце. Ведь все это — правда. Высокая художественная правда. И снова вспомнил мудрые слова о том, что подлинность подвига, красоту подвига может отразить и возвеличить только правда.

Жизнь, вообще, и жизнь на войне, — многогранна. Роман как вид литературы тем и привлекает к себе писателей, что дает возможность передать эту многогранность. История любви, женитьбы, подвига и гибели Ивана Малахова — одна из граней романа. Граней этих немало. Жизнь на войне предстает в романе С. Крутилина полнокровной, кипучей, нащей советской жизнью.

Ревнители «чистоты жанров» могут сказать все же, что «Крестьи» — не в полном смысле роман, что он близок к повести: и географическая площадка невелика — полоса наступления одной из армий фронта, и временные рамки сдвинуты тесно — всего несколько недель, и действующих лиц не так уж много. Все это так. Но кто сказал, что все романы однолики, строятся по одному образцу, что количество заключенной в них информации всегда должно быть примерно одинаковым. Роман гибок. Он может быть близок и к повести, и к эпопее. Написанный настоящим художником он всегда имеет право на читательское внимание. Сергею Крутилину с большой силой удается воспроизвести быт войны. Справедливая освободи-

тельная война — война, на которой постоянно свершаются подвиги. Под первом автора «Крестов» психология быта становится психологией подвига.

«В августе сорок четвертого...» Роман этот вызвал небывалую волну критических и читательских откликов. Причем в некоторых из них прозвучало утверждение, что роман Владимира Богомолова не роман, а большая, развернутая повесть. Имеет ли это для нас какое-либо значение? Сказать по правде — не слишком больно. Но разобраться все-таки нужно.

Вл. Богомолов выступает в печати редко, замысел каждого своего произведения вынашивает долго, работает с присущим ему приложением и основательностью. Поэтому-то и написанные им рассказы (а я считаю их повестями) — «Иван» и «Зоя» — стали такими заметными явлениями нашей литературы. Обычно он берет какой-либо эпизод, основанный на богатом фронтовом опыте, воспроизводит мельчайшие подробности и на этом материале строит сюжеты своих рассказов-повестей. Так, видимо, произошло и в этот раз.

Действие нового произведения писателя развертывается на одном из последних этапов войны. Фронт изготавлился для решительного прорыва на территорию самого фашистского рейха. Проведена всесторонняя, тщательнейшим образом продуманная подготовка: войска пополнились новыми соединениями, на хорошо охраняемых базах много боевой техники, боеприпасов, продовольствия, всего того, что должно определить успех дела. Важная роль отводится фактору внезапности. Если в начале войны этот фактор был использован руководителями фашистского вермахта, то теперь он должен повернуться против них. Вл. Богомолов показывает нам, как проводилась маскировка войск, дезинформация противника, как во всех звеньях — от рядового бойца до командующего фронтом — все делалось для того, чтобы враг ничего не мог понять, предположить, предугадать. И вдруг...

Из перехваченной службой радиопоиска шифрограммы нашим контрразведчикам становится известным, что в оперативном тылу фронта действует группа вражеских шпионов-диверсантов. Ее нужно немедленно обезвредить. И вот, как все это происходило, убедительно показывает автор романа.

Место, на котором развертывается действие, не так уж велико. Но в нашем сознании понятия порой смещаются. Что значит: «не велико»? Оперативный тыл — это пространство в двести-триста километров по фронту, четыреста-пятьсот — в глубину, десятки и сотни железнодорожных, шоссейных и грунтовых дорог, множество самых разнообразных населенных пунктов, рощи, перелески, болота, десятки тысяч двигающихся к фронту, от фронта, вдоль фронта военнослужащих и гражданских лиц. Обнаружить в этой гуще великолепно экипированных, снабженных

¹ «Москва», 1975, № 8, с. 94.

самыми лучшими документами, прошедших основательную предварительную подготовку вражеских лазутчиков — дело очень и очень трудное. Поисковая группа сотрудников фронтового контрразведывательного управления сделать это сумела.

Вл. Богомолов мастерски строит сюжет, он в совершенстве владеет сложным искусством мотивации поступков своих героев. «Ее Величество» — случайность играет большую роль в нашей мирной, устоявшейся, богатой традициями жизни. Следует ли говорить, какова ее роль на войне? Но жизнь всегда — диалектика случайного и предопределенного, непреднамеренного и продуманного заранее. В хорошо устроенном, развивающемся на основе научных прогнозов социалистическом обществе, в жизни его членов случайности принадлежит все меньшее место. В полную силу действует фактор закономерности. Случайно советские контрразведчики, изображенные Вл. Богомоловым, могли долго идти по ложному следу, «тянуть пустышку», как энергично и образно говорит один из них. Случайно их спутниками и помощниками, «прикомандированными» оказывались люди, не очень-то хорошо подготовленные для этого сложнейшего и опаснейшего дела. Случайно, в спешке не сумели они сразу учесть важность некоторых факторов... Но не случайно их действия в конце концов завершаются успехом. Не случайны их самоотверженность, опыт, постоянная готовность отдать свои жизни за правое дело. Не может быть случайным то, что воспитано всей нашей советской действительностью, что идет в русле исторической предопределенности.

Вл. Богомолов мобилизует максимум художественных средств для того, чтобы написать верную историческую панораму. Еще больше усилий он прилагает, дабы во всей полноте раскрыть мысли, устремления, переживания своих героев. Многие главы романа названы их именами. Повествование нередко ведется от их лица, а иногда — от лица самого автора, его прерывают письма, служебные документы, официальные сообщения. Автор премного озабочен тем, чтобы все это производило впечатление доподлинности, и это ему удается. Сам текст никогда не однообразен, у него свой ритм, он пульсирует, биение его пульса отражает биение, пульсацию жизни.

Три офицера-оперативника — капитан Алексин, старший лейтенант Таманцев, гвардии лейтенант Андрей Блинов — три мира, три неповторимые индивидуальности. У каждого из них — свои привычки, манеры, пристрастия, вкусы. Даже свой запас слов. Даже излюбленные комбинации этих слов. И три этих человека — одно целое. Поисковая группа, нерасторжимый организм, нацеленный на выполнение одной задачи. Автор показывает нам, как взаимодействуют члены этого

организма, как немыслимо, невозможно рассечь его на составные...

На заключительном этапе этой ответственнейшей операции Алексину, Таманцеву, Блинову в качестве «прикомандированного» придается офицер военной комендатуры — капитан Аникушин, славный человек, имевший незаурядную, никем не запятнанную фронтовую биографию. С неменьшей скрупулезностью чем это делалось в отношении главных героев (а может быть, и он — главный герой?), писатель раскрывает нам движение его мысли, особенности его переживаний. Аникушин всем хорош, но... никак не может понять и уразуметь сущность порученного ему дела. Ему объясняют все вновь и вновь, а он не понимает. И это — человек, от природы наделенный острым умом. Суть дела — в его предубежденности. Он издавна скептически относится к деятельности контрразведчиков, никак не может представить себе, что в полосе фронта могут находиться вражеские разведчики, и шпионы. И потому в самый опаснейший, ответственнейший момент обезвреживания диверсантской шайки он нарушает инструкцию, нарушает дисциплину, ставит все дело на грань провала, ведет себя не как закаленный фронтовик, а как несмышленый «тыловой фрайер».

В связи с этим, признаться, странно было читать «откровение» критика Л. Аннинского. «И Богомолов в «Августе сорок четвертого...», — говорил он, — тоже подчеркнуто «технологичен». И у него сверхзадача — не сочувствие вызывать, а показать расплату человека за выбор, за избранную позицию. Кто прав: Аникушин или Алексин? Оба правы, и в этом все дело: каждый прав со своей точки зрения. Я могу сказать, что моя душа разрывается от того, что гибель Аникушина неизбежна, но я не могу сказать, что мне его «жалко»: он мне эти мои сантименты с того света вернет, и правильно: горечь трагедии не под силу чувствительности»¹.

А вот мне жалко капитана Аникушина, как и каждого советского человека, погибшего на войне. Жалко и досадно. Поэтому что уж очень нелепо вел он себя. И мне кажется, что писатель так полно, так блистательно передал ход его мысли именно для того, чтобы вызвать у нас, читателей, эти чувства, преподнести нам жизненный урок. Никак не возможно согласиться поэтому с броской, задорно выраженной, но совершенно неверной по существу мыслью критика о том, что капитан Алексин, обезвредивший вражеских лазутчиков, и капитан Аникушин, в сущности, мешавший ему это делать, оба правы, «каждый прав со своей точки зрения». Поступки — следствия настроений. Поступок Аникушина, повторяю еще раз, чуть было не сорвал всю операцию, при-

¹ «Литературная газета», 13 августа 1975 г., с. 5.

вел его самого к гибели. Как же можно его оправдывать?

Роман Вл. Богомолова, теперь мы убедились в том, что это, действительно, роман — волнующее произведение, способное потрясти и потрясшее души многих читателей. Несмотря на локальность сюжета, четкость и завершенность ограниченного во времени действия, несмотря на небольшое число основных действующих лиц, он создает чрезвычайно широкую картину жизни, «до оснований, до корней, до сердцевины» обнажает миры героев. С такой полнотой делать это может только роман. Так же, как и «Кресты» С. Крутилина, он раскрывает скромную, не видную постороннему глазу суть подлинного геройства. «Героизм — это преодоление самого себя и это самая высокая человечность, — писал Юрий Бондарев. — Человечность советского солдата, а значит, и его геройство, не в том, что он бесконечно заявляет о презрении к смерти, а в том, как он поступает, что делает, о чем думает, кого любит и кого ненавидит»¹. Рассмотрение с этих позиций романа «В августе сорок четвертого...» приводит к выводу: произведение это — образцовое. Образцовым произведением можно считать и новый роман самого Ю. Бондарева...

«Берег». Это книга о войне и нашей современности, о целостности и единстве нравственных устремлений советских людей, о святости и неколебимости их революционных идеалов. Ю. Бондарев в нем достигает высот писательского мастерства. Конечно, не случайно. Его предшествующие произведения — повести «Юность командиров», «Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Родственники», романы «Тишина» и «Горячий снег» — свидетельствовали об отзывчивости писателя, о том, что он необычайно близко принимает к сердцу треволнения жизни, о том, что жизнь эту он стремится постичь и воспроизвести во всей ее глубине и противоречиях, что образы, созданные им, пластичны, объемны, находятся в непрерывном движении. Ю. Бондарев писатель-философ, писатель-публицист, стремящийся передать свои тревоги и озарения не в виде авторских отступлений, дикторских речений «за кадром», а непосредственно в художественном тексте, в поступках, спорах, бурных столкновениях своих персонажей. Так и на этот раз.

Писатель Никитин, в годы войны — младший офицер, командир огневого взвода полковой батареи — характером своим во многом напоминает лейтенанта Кузнецова, героя романа «Горячий снег». Как и Кузнецов, он скромен, непрятязателен, интеллигентен, умеет ценить и охранять достоинство окружающих его людей. Казалось бы, у такого человека не может

быть врагов, нет повода для каких-либо столкновений. А столкновения все же случаются. Разной интенсивности, по разным причинам, при самых неожиданных обстоятельствах. В начале 1945 года, когда после завершения тяжелейших берлинских боев батарея, где проходил службу Никитин, стояла на отдыхе в небольшом немецком городке Кенигсдорфе, он столкнулся с нагловатым, подраспущившимся за войну сержантом Межениным и потакавшим ему комбатом Гранатуровым. Столкновение получилось острое, бескомпромиссное, оставившее рубцы и меты на душе на всю жизнь. А причиной было — отношение к мирному немецкому населению. Меженин и Гранатуров пытались вести себя в Германии как «завоеватели». Никитин и его друг лейтенант Княжко напомнили им, что вести себя им подобает как — освободителям.

Вряд ли мы можем простить грубость и развязность не обладавшему достаточными интеллигентными ресурсами Меженину, и уж никак — Гранатурову. Впрочем, Гранатуров тоже не отличался особой интеллигентностью. Более того — гордился этим. «Запомни, Никитин! — произносит он «ударяющим» голосом. — Все, что было раньше в батарее, кончилось! Княжко я кое-что позволил, тебе — нет! Сегодня поставлена точка! Порядок в батарее наведу свой. А эти интеллигентские штучки-дрючки, всякое сю-сю и всякое дермо — не допущу в батарее!»¹ Гранатуров просчитался: интеллигентское, а в данном случае — гуманное, справедливое, сознательное отношение к жителям страны, освобожденной от фашизма, было не только нормой поведения советских солдат и офицеров, но и определялось четкими указаниями советского командования и политорганов. Твердость, хотя и некоторая нервозность Никитина в этом споре — свидетельство не только присущей ему человечности, но и сознательности, развитой более, чем у его противников в этой стычке, лучшего понимания магистральных тенденций времени.

Ю. Бондарев не боится коснуться самых, острых проблем, столкнуть самые противоположные мнения, показать предельные, стрессовые состояния страстных характеров. Художник и публицист не противоречат тут друг другу, они едины в выполнении общей задачи, их голоса сливаются, они вместе создают мысль и художественный образ.

То, что происходило в самые последние дни войны, непосредственно воздействует на то, что происходит в наше время. События тех дней наложили свой неизгладимый отпечаток на мировосприятие действующих лиц. Спустя много лет после Дня Победы Никитин — в Западной Германии, в Гамбурге, в крутоверти новой для него и чем-то уже знакомой жизни. Никитин — известный писатель остался во

¹ Ю. Бондарев. Предисловие к книге Вл. Богомолова «Рассказы» М., «Худ. лит.», 1975, с. 8.

¹ «Наш современник», 1975, № 4 с. 89.

многом Никитиным — командиром огневого взвода. И во многом стал другим, сформировался как зрелый и самобытный мыслитель. Сохранились в нем юношеская чистота и непосредственность, стремление бережно отнестись к каждому встречному человеку. Исчезли ненужные нервозность и вспыльчивость, более весомыми стали аргументы, приводимые в постоянно возникающих острых спорах. Да и сами споры приобрели теперь характер всеобщности, завязываются по кардинальным, принципиальным вопросам жизни. Публицистический запал, присущий самому писателю, с особенной силой выявляется в главе, передающей основные перипетии спора, прошедшего между Никитиным и западногерманским псевдоинтеллигентом, дельцом от литературы Дицманом. Спокойно, убедительно, неопровергнуто отмечает Никитин нападки пропагандиста «западного образа жизни» на основополагающие принципы строительства советской культуры — идеиность, народность, партийность. И сразу становится понятна мелкотравчость доводов наших идеиных противников.

Каждый из споров, которые ведет Никитин, это — кульминационный пункт самостоятельного сюжета. Роман «Берег» построен своеобразно: повествование о наших днях прерывается для того, чтобы вместить в себя просторный рассказ о событиях дней минувших. Вот мне и показалось, что роман состоит из двух самостоятельных повестей, пульсирующих, взаимопроникающих, действующих друг на друга. Своими наблюдениями я решился поделиться с самим Ю. Бондаревым. И вскоре получил от него ответ. Автор этого непростого по замыслу и композиции романа писал: «Есть у меня и некоторое несогласие с Вами, когда Вы расчленяете «Горячий снег» и «Берег» на повести (нложение или сумма повестей — роман). Думаю, что эта мысль Ваша ошибочна, ибо таким образом всякий многоглавый роман мы можем рассечь на повести, так сказать, и рассказы, чего делать, на мой взгляд, не имеет никакого смысла. Вся жизнь наша, вся история — это, конечно, поток, но поток состоит из частиц (аксиом!), и именно они определяют скорость течения жизни, накал страсти, одержимость чувств или заторможенность, социальность или асоциальность. Нельзя препарировать целое, слитое единой идеей жизни тела, если оно обладает естественным здоровьем и не нуждается во вмешательстве режущего инструмента. Несомненно ведь, что искусство познает человека, эту сложнейшую организацию чувства и мысли, а не подсчитывающие утверждает, что человеческая особь состоит из головы, двух рук, двух ног, двух глаз и т. д.»¹

С автором, в данном случае, нельзя не

согласиться. «Берег» — это роман, завершенная художественная целостность, все части и детали которой взаимосвязаны, как органы одного целостного организма. Но роман — композиционно необычный, в художественной сущности которого предстоит еще разбираться и разбираться...

«Годы без войны». Это произведение А. Ананьева развертывается с размахом и неторопливостью настоящей эпопеи. До сих пор мы встречались с романами, явно тяготеющими к жанру повести, являющимися, в сущности, дальнейшим развитием этого жанра. «Годы без войны» — роман, но роман совершенно иного типа. В свое полноводное течение он вбирает все новые и новые явления жизни, не минуя ни одной подробности, не обходя ни одного порога и рифа. Жизнь современного города и жизнь деревни, жизнь частная и жизнь общественная, необычные просторы колхозных полей и затхлые, почти лишенные воздуха, кое-где еще сохранившиеся салоны — все это А. Ананьев воспроизводит основательно, с наивозможнейшей полнотой.

Движение сюжета в романе направляет-ся многими компонентами: своеобразием изображенных событий, характерами персонажей, авторскими комментариями, на-конец, строением самой фразы. В «Кре-стах» она, эта фраза, нераспространенная, плавная, предельно приспособлена для передачи вроде бы бесхитростной, но поэтичной речи автора. В «Августе сорок четвертого...» она — энергична, прерывиста, порой немного суховата. Недаром в текст введено так много служебных документов той поры, выполняющих свою осо-бую эстетическую функцию. В «Береге» фраза необычайно гибка, импульсивна. Все, о чем там рассказывается, бесконечно волнует автора, и он всеми имеющимися в его распоряжении средствами стремится передать это волнение нам. Слова, выбегающие из-под его пера, складываются в самые причудливые периоды, предельно соответствуя всей атмосфере романа. В «Годах без войны» эпическое разви-тие сюжета идет неторопливо (хотя в некоторых «узловых» моментах происходит нечто вроде взрыва: сюжет, образуя водовороты и воронки, стремительно водопадом устремляется вперед). В большей ча-сти текста спокойному развитию авторской мысли соответствуют спокойные, неторопливые, предельно развернутые сло-весные периоды. Фраза выверена, объемна, вмещает в себя возможный максимум информации, помогает писателю передать все обстоятельства того или иного со-бытия.

А. Ананьев знакомит нас с жизнью мирного времени. Но было бы ошибочно полагать, что это жизнь успокоенных людей, уже всего достигших и ни к чему не стремящихся... Излюбленные герои писателя — бывшие фронтовики. Фронтовая школа, фронтовая закалка, фронтовое прошлое все время с ними, не отстает ни на

¹ Из письма к автору настоящей статьи от 8 января 1976 г.

миг. «Годы без войны» — роман о смене поколений, об их взаимодействии. Нам понятно, что одним прошлым опытом, пускай он самый богатый, ограничиться невозможно. Новое властно вступает в свои права.

Жизнь полковника в отставке Сергея Ивановича Коростылева поначалу кажется более чем благополучной: идущая к концу работа над мемуарами, первые отрывки из которых уже стали появляться в печати, отличная дружная семья, достаток, хорошая квартира... Однако все это только внешние приметы благополучия. Стоит Сергею Ивановичу всего лишь раз поступить необдуманно, не посчитаться с чужими надеждами и устремлениями, дать волю своему раздражению, как мир в семье, спокойствие, благополучие сразу рушатся. Приказной тон, командирские твердость и прямолинейность могут быть только помехами семейному согласию. Сергею Ивановичу не хотелось видеть свою единственную дочь замужем за человеком, который, как он знал, был намного старше, имел уже семью. Не хотелось... Мало ли что не хотелось! Времена, когда судьбы детей единолично решали главы семейства, давно уже невозвратно канули в лету... Создав сложную ситуацию, автор завязывает крепкий узел сюжета и не торопится его развязывать.

«Годы без войны» — роман семейный. Но и общественно-политический, социальный. Ибо что значит в наше время самое понятие — «семейный»? И можно ли встретить семью, которая полностью изолировалась бы от жизни всего общества?

А. Ананьев ведет своего героя из столицы в деревенскую «глубинку», из деревни в крупный областной центр, затем снова — в деревню. В своих правах прочно утверждается закон контраста. Контраста не между городским и деревенским (в романе без тени идеализации, во-всевозможности совершеннейшего знания показываются перемены, происходящие в современной колхозной деревне, сближающие деревню с городом), а между новым, передовым и остатками старого, безнадежно плетущегося вслед за жизнью, пытающимся помешать ее движению.

Бывший командир танковой роты, шурин Коростылева Павел Лукьянов после войны проделал своеобразное движение по «служебной лестнице»: был и директором МТС, и председателем колхоза, и бригадиром. В то время, когда мы с ним встречаемся, он — рядовой колхозник, механик-затор широкого профиля. И что же? «Карьера» своей он вполне доволен, живет здоровой трудовой жизнью, растит шестерых детей, с присущим ему фронтовым запалом вникает в колхозные дела, прилагает немало усилий для того, чтобы они шли еще лучше. Действие романа развертывается в то время, когда партия предприняла решительные меры по обновлению колхозной жизни, направила ее на

нного производства. Чутко реагирует на происходящие перемены и Павел Лукьянов: «в душе у него, как и у других мокшинских колхозников, появилось какое-то оживление», «это желание обновления прокатилось в тот год по всей деревне и было хорошим знаком»¹ Посиживая за своим письменным столом, Сергей Иванович иногда «жалел» шурина. Ощущив на себе ритм его деятельности, он понял, что «не Павел был неудачником», скорее неудачником оказался он сам «со своей отставкой, пенсией и всей своей московской жизнью».

Совершенно неожиданно для себя отставной полковник после нескольких дней, проведенных в деревне, оказался на квартире одного из своих бывших однополчан среди каких-то теней (людьми их не назовешь!), бравирующих тем, что они-де идут «против течения». Писатель без наряда, мастерски используя несокрушимую иронию, быстро «раздевает» обитателей этого «салона», помогает нам понять их истинную стоимость.

И Павел Лукьянов, и Сергей Иванович Коростылев, и встреченный им сын погибшего в берлинских боях старшины Митя много размышляют о проблемах войны и мира, отлично понимают значение мира, всей своей деятельностью стремятся его укрепить. Не к пацифизму и непротивленчеству зовет нас весь настрой романа, а к борьбе, к активной деятельности.

Пока трудно судить о том, чего добился писатель, что ему не вполне удалось — работа над романом «Годы без войны» еще не завершена: опубликована только его первая книга. Но и то, что мы прочитали, производит впечатление. Талант А. Ананьева все сильнее проявляется с каждым новым произведением. «Танки идут ромбом», «Межа», «Версты любви» и вот теперь — «Годы без войны...» Стремление писателя к созданию эпических полотен реализуется все успешнее.

«Друзья». Роман Г. Бакланова овеян дыханием тех же ветров, помечен приметами того же времени, что и роман А. Ананьева. И герои его тоже активно участвовали в Великой Отечественной. Но как не схожи эти произведения! Иной круг жизненных обстоятельств, иные персонажи, иные проблемы, иной писательский почерк... Так оно и должно быть. Ибо самобытность обоих писателей выявляется в каждой строчке.

Внимание Г. Бакланова направлено на жизнь творческой интелигенции. Оба основных героя романа, оба друга — способные архитекторы, оба мечтают о создании новаторских проектов, о строительстве комплексов, в которых людям жилось бы вольготно и весело. Но осуществить дерзкие замыслы не всегда удается. Порой на пути друзей возникают неожиданные преграды — объективные и субъективные. Писатель показывает нам, как

¹ «Новый мир», 1975 г., № 4, с. 62.

мера талантливости творческой личности, ее упорство, ее целеустремленность выявляются в ходе преодоления преград. Показать все это непросто, Г. Бакланову это — удается. Чувствуется, что он затратил немало усилий на поиски «тайны слова». Многие сцены воссозданы им с предельной живописностью, многие сюжетные «ходы» кажутся убедительными. И все-таки, перевернув последнюю страницу, чувствуешь: чего-то не хватает. Чего?

В критике уже указывалось, что от нового баклановского романа отдает строгим, сухим рационализмом. Уж больно четко все в нем распланировано, взвешено, разложено по полочкам: повествовательную ткань распирают ребра писательского замысла.

В самом деле жили-были два старых друга, два фронтовых товарища — Андрей Михайлович Медведев и Виктор Петрович Анохин. Общая работа, общие устремления, общие радости. «До войны были у Андрея школьный друг Валька. Он погиб в сорок втором. А все, что выпало после войны, они прошли с Виктором вместе. Больше друзей уже не будет. Если судьба не дала друга до сорока лет, за этим рубежом заводить поздно»¹. Но бывает такой рубеж, такое испытание, которые проверяют истинность дружбы. Преодолеем — не преодолеем. Преодолеем — значит друзья до конца, до последнего дыхания. Не сумеем, значит, и дружбы не было: одна фикция. Почти с самого начала нам становится ясным, что кто-то из друзей этого рубежа не преодолеет. И более того: понятно — кто.

Внимательному читателю не трудно заметить, что автору «Друзья» нравится слово «слабость», с этим словом мы встречаемся уже в первых главах романа. «У Немировского была известная слабость: о знаменитых современниках он рассказывал как о своих личных знакомых»². Это — о руководителе мастерской, где работали друзья. «Числилась за Витькой эта слабость: очень он любит докладывать в присутствии начальства». Это — о заветном друге Андрея. «Любит докладывать в присутствии начальства», то есть — покрасоваться, показать себя большей фигурой, чем есть на самом деле. И вот это невинное, на первый взгляд, словечко сразу раскрывает авторский замысел: вряд ли тот, что так любит выставлять на первый план собственную персону, может быть истинным другом.

Да, Г. Бакланов видит почти ту же жизнь, что и А. Ананьев, но другой у него ракурс, другой угол зрения. И то, что у одного писателя выглядит естественным, у другого — производит впечатление некоторой нарочитости. Четкая разграничность положительного и отрицательного, по одну сторону — то, по другую — дру-

гое, в какой-то мере ослабляет силу нравственно-эстетического воздействия романа «Друзья». Хорошо, да больно уж очевидно, — скажет о нем иной вдумчивый читатель.

Интересен в романе образ «шефа» друзей — Александра Леонидовича Немировского. Обрисованный не столь прямолинейно, как Виктор Анохин, он, в сущности, составляет с ним явление одного порядка. Его «эволюция» может быть передана немногими словами: талантливый архитектор — исполнительный, не имеющий своего мнения службист — задерганный, мечущийся без всякого проку, щеголеватый старик. Вот уж поистине: суета сует и всяческая суета! Г. Бакланов хорошо показал бессмыслинность этой суеты, совершеннейшую ненужность ее, прежде всего, самому А. Л. Немировскому. Но прекратить ее руководитель мастерской уже не в силах, ничего не поделаешь — втянулся... На многое наводят две контрастные картины, выписанные писателем: роскошная трапеза, сбор «избранных» по случаю дня рождения Александра Леонидовича и его внезапная смерть, смерть вспыхах, смерть на бегу. Суть этого контраста еще два века назад выразил Гавриил Державин в памятных всем нам строках: «Где стол был явств, там гроб стоят...»

Уроки не проходят даром. Сквозь разочарования и потери идет Андрей Медведев к воплощению своих идеалов. И тут фронтовая закалка и выдержка оказываются совсем не лишними. Нелегко потерять друга. Но и с этим приходится мириться. Жизнь безгранична, крушение одного замысла не означает крушение всей жизни.

Роман «Друзья» читается с интересом. И, если бы не жесткая заданность, проявляющая себя в поляризации персонажей, в прямолинейном движении сюжета, мы могли бы считать, что наша литература пополнилась еще одним удачным произведением.

В. Г. Белинский говорил о романе как об эпопее нового времени, в которой каждый читатель находит галерею самых разнообразных человеческих характеров, принадлежащих к разным эпохам, народностям, слоям общества, видит их добродетели и пороки, вырисовывающиеся с разной степенью полноты, видит человека и порой узнает в нем себя, ибо он тоже человек. Следовательно, роман — зеркало души, зеркало эпохи.

«Эпос, — замечает один из современных теоретиков литературы профессор Иван Кузьмичев, — с самого начала интересовался человеком не столько как неповторимой личностью, индивидуумом, сколько членом общества, как выразителем настроений определенной группы людей».

¹ «Новый мир», 1975 г., № 2, 47.

² Там же, 32.

1 И. Кузьмичев. Герой и народ. М., «Современник», 1973, с. 46.

Познакомившись с целым рядом примечательных современных романов, мы убедились в справедливости этого суждения. Герои этих произведений — советские люди, защищавшие Отчизну в суровые, исполненные высокого трагизма, героические годы войны, ищущие, самоотверженно трудающиеся каждый на своем посту, обогащающие опыт прошлого нелегкого достающимся опытом настоящего в наше время, это — и неповторимые, содержательнейшие индивидуальности, и выразители настроений самого передового общества, нашего общества. Создать полнокровный роман чрезвычайно трудно. Не всякому писателю, кто пытается это сделать, удается натянуть на эпический каркас полотно своего повествования. Лучшим советским писателям это удается.

Почти десять лет назад писатель и критик в своем известном диалоге предсказывали наступление времени, особенно благоприятного для развития романа, торжества романа. Это время — наше время. Творческий метод социалистического реализма создает самые благоприятные возможности для развития всех жанров литературы, в том числе такого сложного, синтетического жанра, каким является роман. Наша социалистическая действительность наполняет роман богатейшим, рвущимся вперед содержанием. А талантов нам не занимать.

С увлечением прочитали мы появившиеся романы, с надеждой ожидаем появления новых...

■ ■ ■

ПОСТЫЛАЯ ПАМЯТЬ

Прочитав новую повесть Валентина Распутина¹, первым делом пытаешься ответить самому себе на неотступно преследующий тебя вопрос: что побудило писателя, которому в памятном сорок пятом, когда происходят воссозданные в его книге события, шел всего седьмой год, обратиться к теме, мягко говоря, малопочтенной? И в поисках ответа на этот вопрос, начинаешь заново листать страницы его повести, как бы вглядываясь в запечатленные на них человеческие фигуры и размышляя при этом еще над одним, возникшим вслед за первым, вопросом: на кого из действующих лиц повести завершающее ее трагическое происшествие могло произвести наибольшее, поистине неизгладимое впечатление? На кого? Да не на кого иного, как на семилетнего Родьку Березкина — старшего сына молодой солдатской вдовы Надежды Березкиной, соседки и ближайшей подруги Настены Гуськовой.

Собрав все эти вопросы воедино, про-

должаешь поиски более обстоятельного ответа на первый из них. И припоминаешь при этом один из основополагающих принципов реалистической эстетики; для настоящего художника, художника-гражданина и патриота не существует ни запретных, ни малопочтенных тем, ибо, к какой бы теме он ни обратился, он стремится вдохнуть в нее свое беспокойство за судьбы живущих вокруг него людей, за их счастье, за их душевное и нравственное благосостояние, без которого жизнь вовсе не жизнь, а жалкое прозябанье.

Не будем обманывать себя легковесным предположением о том, будто В. Распутин увлекся в новой повести экзотикой дезертирского быта своего персонажа Андрея Гуськова, чтобы пощекотать этой экзотикой нервы падких на сенсации читателей. Хотя элементов экзотики здесь и немало — заброшенное в первозданной таежной глухи зимовье, и пещера на острове, и волчий вой, вырывавшийся из пасти одинокой волчицы и из глотки начавшего дичать от тоски по людям дезертира Андрея Гуськова, и его воровские свидания с благодарной ему за однажды содеянное для нее добро женой Настеной, но, разумеется, не эти элементы несут в себе идеально-нравственный костяк новой повести В. Распутина.

Художественно исследуя природу дезертирства и предательства, В. Распутин во все не пытается изменить к ней веками складывавшееся отношение, суть которого так ярко выражена еще Лермонтовым а маленькой поэме «Беглец»:

— Ты умереть не мог со славой,
Так удались, живи один.
Твоим стыдом, беглец свободы,
Не омрачи я стары годы,
Ты раб и трус — и мне не сын!..

В приведенных строках Лермонтова ответ матери на просьбу дезертира отогреть его приютом и лаской. В. Распутин не сводит Андрея Гуськова ни с матерью, ни с отцом и тем самым дает нам понять, что к иной развязке, чем та, о которой мы знаем еще из поэмы Лермонтова, такая встреча не могла привести. Но автор предоставляет своему персонажу самые широкие возможности для осознания совершенного им преступления и для самоосуждения, не лишая его при этом права выдвинуть в свою защиту — перед самим собой — «смягчающие» его вину обстоятельства.

Что же это за обстоятельства? И почему именно они делают повесть В. Распутина остро актуальной и в наши дни, спустя тридцать лет после окончания войны?

Важнейшее из этих обстоятельств мы видим в извечной склонности всех слабых духом и эгоистичных людей к оправданию себя усталостью, измученностью или перенесенной болезнью. Лишь поверхностно усвоив мысль о существовании долга пе-

¹ В. Распутин. Живи и помни. Повесть. «Наш современник», 1974, № 10—11

ред Родиной, перед всеми окружающими людьми, в том числе и перед самыми близкими из них, перед настоящим и будущим самой жизни на земле, — эгоистичные и потому слабые духом, прежде чем совершить проступок или преступление, неизбежно ведущие к моральной деградации личности и отщепенству, постепенно убеждают самих себя в том, будто они свое сделали, пусть теперь другие станут на их месте, а с них хватит... В мирное время такие люди в лучшем случае ходят в неудачниках и нытиках, вечно завидующих чужому счастью (о том, что это счастье завоевано честным трудом и не уклонным исполнением гражданского долга, они просто не думают, что им такие думы недоступны), а в худшем — становятся пьяницами, рвачами, хулиганами и ворами. Они быстро свыкаются с положением отпавших от нормальной жизни людей, причиняя им множество хлопот и нанося им немалый не только моральный, но и материальный ущерб.

Вот к типу таких слабых духом и эгоистичных людей принадлежит и главный персонаж повести «Живи и помни» Андрей Гуськов. Еще задолго до своего дезертирства, будучи тяжело раненным на поле боя, Гуськов, когда к нему вернулось сознание и он почувствовал себя вне опасности, первым делом подумал не о боевых своих товарищах, оставшихся «на огненной черте», а о себе. Но и о себе и своих нуждах можно думать по-разному. Разве кто осудит бойца, истекающего кровью и не находящего в себе сил, чтобы удержаться от стона, и потому жалующегося на страшную боль? Но Гуськов, очнувшись после потери сознания, не застонал, а наоборот, «утешился: все, отвоевался». И в дальнейшем, несмотря на то, что война еще не кончилась, а земля, где она прошла, «приподнялась от могил» Гуськов жил одной единственной мыслью: «Теперь пусть воюют другие. С него хватит, он свою долю испытал сполна!». Именно эта мысль, когда судьба повернулась к нему не той стороной, с которой он хотел бы за нее уцепиться, и толкнула Гуськова на самое страшное и самое бессмысличное преступление.

Другим обстоятельством, подтолкнувшим Гуськова на роковой и позорный для него шаг, явилась гнездившаяся в его подсознании уверенность в том, что кто-то из самых близких ему людей обязательно окажет необходимую ему поддержку, если он прибудет в родные места даже в обличье дезертира. Этим «кто-то» стала для него Настена, благодарная Андрею Гуськову не столько за любовь и ласку (собственно любовью и лаской мужа она не была избалована), сколько за то, что он когда-то «подобрал» ее, бездомнную сироту, и сделал ее своей женой. И, по-видимому, сама Настена дала Гуськову повод для такого с ней обращения, какое он позволял себе, ибо, замечает писатель, «в обычье русской бабы устраивать свою

жизнь лишь однажды и терпеть все, что в ней выпадет». Настена и терпела все: и в колхозе успевала работать, и в домашнем хозяйстве чертоломила безропотно даже тогда, когда Андрей резко изменил к ней свое отношение.

Словом, сохранившиеся в семье Гуськовых обломки старого патриархального быта, с его пренебрежением к труду и личности женщины-невестки, с его рабской моралью, утверждавшей и благословлявшей право сильного (а сильным в такой семье считался, независимо от его физических возможностей, муж), — сделали свое дело: Андрей был призван Настеной мужем-повелителем, которого она обязана ублажать и бояться, а тот настолько свыкся с ролью повелителя, что все остальное, не соответствовавшее этой роли или противоречившее ей, просто забыл. При этом Гуськов даже и не подозревал, что усвоенный им тон обращения с женой характеризует его не как человека сильного и свободного, а как жалкого раба самых отвратительных обычая, оставшихся от дореволюционного прошлого.

Нигде не выказывая прямого осуждения в адрес своего по собственному недорысилию отпавшего от всеобщей жизни персонажа, В. Распутин очень тонен в эстетических оценках характера, мыслей и поступков Гуськова. Чего стоит в этом плане, например, сцена его первой встречи с женой, которую он и начал и закончил самой страшной угрозой в ее адрес.

«— Ты хоть сколько рада, что я живой пришел?..

— Рада.

— Не забыла, значит, кто такой я тебе есть?

— Нет.

— Кто?

— Муж.

— Вот: муж, — с нажимом подтвердил он и вышел».

Сцена эта подтверждает то, что сказано нами об обстоятельствах, «вылепивших» из Гуськова нравственного урода, до поры до времени прикрывавшего свою подлинную суть под личиной общепринятой благопристойности.

Но повесть «Живи и помни» — это не только притча о жалком и подлом дезертире, не сумевшем одолеть приступа малодушия и скатившегося в такую духовную бездну, из которой никому не дано подняться, чтобы вновь вернуть себе свою человеческую суть, но это и насыщенная самым искренним лиризмом баллада о загубленной этим дезертиром жизни хорошего человека, каким представлена здесь Настена.

Что такое Настена?

Ответить на этот вопрос и необычайно легко и крайне трудно — смотря как взглянуть на то социальное и нравственное явление, живым воплощением которого она является. Взглянем на него бегло и поверхностно — увидим в Настене всего лишь обойденную радостями жизни жен-

щину, покорно смирившуюся со своим не-веселым положением. Но если взглянися в это явление попристальней, так, как вгляделся в него автор повести — талантливый и серьезный художник, — то за внешним покровом покорности и смириения Настены мы увидим и ее деятельную любовь к добру, постоянно помогавшую ей преодолевать невзгоды жизни и неутоленную жажду материнства, бросившую ее в объятия к покрывшему себя несмыываемым позором мужа, и ее чуткую и требовательную совесть, заставившую ее дать самую трезвую оценку содеянному и приведшую ее к трагическому финалу.

Настена, как она представлена нам на страницах глубоко содержательной, насыщенной философскими раздумьями над жизнью повести «Живи и помни», — это еще и укор совести тем из нынешних мужчин, что с легкостью необыкновенной совершают поступки, говорящие не только об их дремучем сознании, но и о том, что они просто недостойны тех жизненных благ: любви, ласки, доверия, заботы и внимания, — которыми они пользуются, ничем не заслуживая их и почти ничего не давая взамен тем нынешним Настенам. Речь в данном случае идет о тех мужчинах, о которых мы уже говорили как о слабых духом и лишенных даже самых элементарных представлений о своем долге перед людьми и жизнью.

Самый глубокий смысл заключен в заглавии повести — «Живи и помни». Оно, конечно же, обращено к нынешним Настенам, которые и ныне продолжают покорно переносить муки от нынешних же Гуськовых. О чем призывает их помнить художник? Да прежде всего о том, что они, Настены, рождены для иной жизни, чем та, которой «одариваются» их Гуськовы. Для жизни, достойной того труда и тех душевных затрат, на которые не скупятся они, порою даже попирая собственную совесть, в ублажение своих Гуськовых. Но такая жизнь не приходит самотеком, она всегда результат усилий над собой и над самым близким тебе человеком, результат честного отношения к каждому своему поступку близкого тебе человека, результат непременного преодоления допущенных тобой и близким тебе человеком ошибок, результат строжайшей верности большой правде, с которой обязаны сверять свой шаг все честные и порядочные люди.

Трагедия и несмыываемый грех Настены в том, что она, тоже рожденная для иной, чем та, которой «наградил» ее Гуськов, жизни, в решительный момент не уяснила своего человеческого и гражданского долга и потому очутилась, как птица в силке, во власти ложного чувства, преодолеть которую она оказалась не в силах. Поэтому что, когда она до конца осознала содеянное ею, она пришла к единственно правильному для себя выводу: «Можно, наверное, вынести любой позор, но можно ли обмануть всех людей, весь мир разом, чтобы никто никогда не открыл прав-

ды? Не мало ли для этого одного человека, его хитрости и изворотливости, какими бы удачными они ни были? Не слишком ли большой принимает она грех — больше себя самой, больше всей оставшейся жизни, которой пришлось бы его замаливать?» Под тяжестью такого вывoda и с мыслью о том, как истошно стыдно и перед людьми и перед собой Настена вынесла себе самой суровый приговор и сама же привела его в исполнение.

Закрывая последнюю страницу повести, вместе с автором искренне жалеешь Настену. Но эта способная тронуть любое живое сердце пронзительная жалость не мешает помнить о виновнике несчастной Настениной судьбы и беспокойно размышлять о причинах, все еще порождающих нынешних Гуськовых и помогающих им отравлять жизнь нынешним Настенам. К таким размышлениям побуждает весь поэтический строй повести «Живи и помни», в глубинах которого непрерывно ощущаешь мощный потенциал будоражащий твой разум и сердце духовной энергии. И это ощущение помогает тебе отчетливо разглядеть в освещенном пламенем всенародного героического подвига — «ради жизни на земле!» — прошлом те, к великому сожалению, вполне реальные темные пятна, мрачная тень от которых и поныне падает на нищих духом современных Гуськовых. И разглядеть не любопытства праздного ради и не ради обывателяского, далеко не безобидного злословия, а ради того, чтобы обнаружить в нашей жизни зловредные корни Гуськовых, а обнаружив, выкорчевать навсегда эти сорные корни из нашей плодородной почвы.

Новая повесть В. Расputина, свидетельствуя о возмужании таланта этого незаурядного художника и о его окрепших гражданских и партийных позициях, напоминают нам о том, что историческое прошлое надо рассматривать во всей сложности свойственных ему диалектических противоречий. И делать это необходимо для того, чтобы, воспринимая от прошлого его лучшие традиции, неутомимо воздвигать преграды тому, что мешало и продолжает еще мешать безраздельному торжеству этих традиций во всех сферах народной жизни. Да иначе относиться к прошлому и нельзя: ведь рядом со светлой памятью живет в нас и память постыдная. А постыдная память — тоже память, и она требует от нас, чтобы мы не прятали ее, а были постоянно готовыми не только к отражению ее попыток завладеть нашим сознанием, но и не прекращали бы самой энергичной борьбы за широчайшее внедрение в жизнь молодого поколения тех благотворных традиций, которые проявились во всей их силе и красоте в годину тяжелых испытаний — в Великой Отечественной войне. И долг подлинного художника — каждым своим произведением всячески способствовать этому.

Дм. ЧИРОВ.

■ ■ ■

ПРИСПЕШНИКИ МАОИЗМА

Маоизм как политика и идеология в силу опасного авантюристического его характера превратился в фактор, затрагивающий все прогрессивные и миролюбивые силы, все государства независимо от их социального строя. Он несет опасность для всех.

Маоизм паразитирует на идеях социализма. Он много лет навязывался международному коммунистическому и национально-освободительному движению в качестве единственной политической теории. В некоторых странах среди ультраправых идеологов у него нашлись сторонники и поклонники, которые пытаются использовать маоизм для ревизии основных положений марксизма-ленинизма и раздувания антисоветизма, как источник идей для борьбы против научного коммунизма.

Особенно неблаговидную роль в этом отношении играют некоторые японские учёные-китаеведы. Длительные исторические и культурные связи Японии и Китая, географическая и расовая близость этих стран явились питательной средой для распространения маоизма среди японских философов и социологов ревизионистского толка. Борьба с промаоистским направлением японского китаеведения приобрела в наши дни особое значение.

Новая книга известного советского японоведа, специалиста по философии и социологии современной Японии Б. В. Поспелова «Японская общественно-политическая мысль и маоизм»¹ явилась существенным вкладом в эту борьбу. Как пишет автор в предисловии к книге, онставил перед собой задачу критически осветить некоторые аспекты антимарксистских концепций сущности маоизма, развивающиеся в работах отдельных японских философов и социологов промаоистского толка. И данная цель достигнута.

Книга начинается критикой ревизионистской интерпретации идеально-философского содержания маоизма, «философских взглядов» Мао Цзэ-дуна на примере писаний японского китаеведа промаоистского толка Ниидзимы Ацуёси. Воинственно ревизионистский характер маоистской «философии» этого теоретика автор показывает на отношении Ниидзимы к философскому наследию Маркса, Энгельса, Ленина, в том числе к теории познания и практики. Цинизм японского приверженца Мао Цзэ-дуна разоблачается сопоставлением его высказываний с основными положениями философской работы В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», разъяснением марксистско-ленинского отношения к вопросам критерия практики и теории познания, сознанию и материи. Ниидзима даже не при-

¹ Б. В. Поспелов. Японская общественно-политическая мысль и маоизм (Критика антимарксистских концепций сущности маоизма). М., «Наука», 1975.

бегает к камуфляжу ревизионистских взглядов Мао Цзэ-дуна псевдомарксистской терминологией. Автор полностью развенчивает маоистскую псевдодиалектику философско-социологических концепций Ниидзимы, в том числе в решении важного теоретического вопроса исторического материализма о соотношении базиса и надстройки.

Вторая часть книги посвящена критике общественно-политических теорий Мао Цзэ-дуна и его поклонников в Японии, а также попыток маоистов выдать маоизм за «китаизированный» вариант марксизма. Как известно, исказженное маоистами марксистско-ленинское учение о путях общественного развития после установления диктатуры пролетариата стало одним из элементов идеально-теоретической базы «культурной революции». Маоистская теория «непрерывной революции», или «продолжения революции в условиях диктатуры пролетариата», явилась объектом псевдоученных изысканий ряда японских китаеведов, стремящихся распространить маоистские политические концепции в Японии и обосновать ими те или иные постулаты «лево»-ревизионистского толка.

Несостоятельность творений японских апологетов «идей Мао Цзэ-дуна» автор раскрывает на примере высказываний одного из активных проводников этой «теории» Суганумы Масахиса и его антинаучных толкований путей преобразования общественного сознания. Здесь же резкой критике подвергаются попытки «лево»-ревизионистских теоретиков скрыть антинародный характер маоистского режима, выдать попранье маоистами элементарных человеческих прав и лишение народа возможности участвовать в управлении государством за некую «последовательную демократию».

В книге обстоятельно рассматривается подход японских китаеведов к проблеме японо-китайских отношений. Автор отмечает, что, к сожалению, правдивой, основанной на данных научного анализа информации о Китае некоторым японским китаеведам не достает. Преследуя цели, не имеющие ничего общего со стремлением к научному познанию истины, они дают такое освещение событий в Китае, которое искаляет их сущность, оправдывает политический курс маоистского руководства. В качестве примера приводится анализ исследований по Китаю Номуры Коити, в которых содержатся ложные сведения и извращенные толкования событий, а самые мрачные стороны маоистского режима, «культурной революции» окрашиваются в розовые тона.

Автор уделяет значительное внимание вопросу становления маоизма, его идеально-политического и классового содержания в историческом аспекте. Многочисленными примерами он подкрепляет вывод о том, что маоизм был и остается по-своему последовательным в отставании своей антиленинской, мелкобуржуазной сущности.

Дается развернутая критика маоистской концепции «новой демократии» и попытка некоторых японских социологов утверждать, будто политическая доктрина Мао Цзэ-дуна отражала интересы китайского крестьянства, рабочих, широких слоев городского населения. В книге подчеркивается, что маоизм в целом противоположен и враждебен им, ибо политическая теория «новой демократии» в конечном итоге направлена на развитие буржуазных отношений в стране. Показывая эволюцию маоизма на последующих этапах китайской революции автор отмечает, что в дальнейшем амплитуда колебаний взглядов Мао Цзэ-дуна расширилась до правого оппортунизма и «левого» ревизионизма.

С интересом воспринимаются объяснения автора, почему маоизм, будучи враждебным интересам широких слоев китайского общества, сохранился и получил развитие в стране. В данном случае, говорится в книге, большую роль играли исключительная живучесть пережитков мелкобуржуазного мировоззрения в сознании крестьянства и городской мелкой буржуазии, спекуляция маоистов на подлинно социалистических, коммунистических тенденциях, а главное — националистические предубеждения, присущие некоторым слоям китайского населения. Именно в них, прежде всего, находит себе опору великородственный шовинизм и гегемонистские устремления маоистов.

Автор справедливо пишет, что «вера в Мао Цзэ-дуна построена на обмане», что «в определенной степени она — следствие политической индифферентности некоторых слоев китайского населения, запуганных террором маоистов. Само собой разумеется, что эта вера — явление временное. Маоизм рано или поздно вступит в открытое столкновение с интересами многомиллионного китайского крестьянства — всех слоев китайского населения» (с. 101).

Научная несостоятельность маоистской «теории» классов подтверждается и рабочими прогрессивных японских ученых, разоблачающих ревизионистскую, мелкобуржуазную сущность маоизма. К ним относится, в частности, Никаниси Цутому — старейший японский китаевед, автор ряда работ по истории КПК. Б. В. Поспелов показывает также несостоятельность взглядов Имабори Сэйдзи, тщетно пытающегося изобразить некий «вклад» Мао Цзэ-дуна в развитие марксизма-ленинизма.

Четвертая глава книги посвящена разоблачению попыток японских буржуазных и социал-реформистских теоретиков выдать маоизм за «китаизированный» вариант марксизма, ставший якобы основой некоей «национальной» модели социализма. Автор убедительно показывает связь маоизма с реакционно-утопическими традиционными теориями, используя в этих целях тру-

ды известных японских китаеведов Такаги Такэо, Такзути Ёсими и других. Завершается глава показом научной несостоятельности трактовки маоизма японскими советологами, потратившими немало чернил для доказательства несходности опыта русского и китайского революционных движений. Автор пишет, что многие утверждения японских китаеведов и советологов типа Номуры Коити, Кикути Масанори, Ямада Кэйдзи вытекают из антисоветских установок, почерпнутых из писаний пекинских пропагандистов.

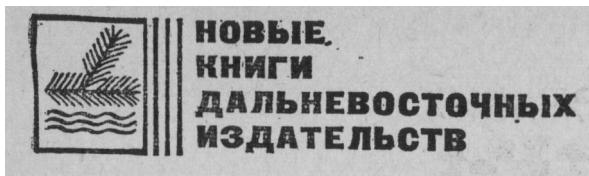
Резкой критике подвергнуты в книге попытки некоторых японских социологов истолковать маоизм как универсальную теорию революционного движения и строительства социализма. Показаны несостоятельность стремлений распространить маоистскую «теорию народной войны» на национально-освободительное движение и ошибочное толкование роли рабочего класса, его авангардной партии и армии (Нидзима Ацуёси), доказана неприемлемость маоистской «особой линии» для развивающихся стран (Суганума и другие).

Последнюю главу, которую можно считать третьей частью книги, автор полностью посвятил рассмотрению вопроса об отношениях к маоизму идеологов «левого» радикализма в Японии — ультралевацких теоретиков и функционеров троцкистского, анархистского толка, которым в ряде случаев удалось пробраться к руководству в отдельных студенческих и молодежных организациях. В ней показаны восприятие и трактовки маоизма ультралевыми теоретиками — Умэмото Кацуши, Курода Канъити и Ота Рю.

Книга логически подводит к выводу о том, что философские и социологические концепции, отстаиваемые некоторыми про-маоистскими теоретиками в Японии, стоят в одном ряду с различного рода ревизионистскими, буржуазными теориями. Они играют отрицательную идеально-политическую роль, становясь тормозом для поступательного движения общественных идей, мешая творческому развитию марксизма-ленинизма.

Однако значение книги выходит далеко за рамки показа влияния маоизма на общественно-политическую мысль Японии. Автор нашел удачное сочетание разоблачения взглядов апологетов маоизма в Японии с критикой антимарксистских концепций сущности этого лженаучного «учения». Мелкобуржуазная авантюристическая линия маоистов во внутренней политике ярко иллюстрируется примерами прошлого и фактами сегодняшней китайской действительности. Все это делает книгу интересной и полезной для широкого круга читателей.

Э. АСАТУРОВ.



**ХАБАРОВСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО**

Л. Н. Згуровская. ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ. Предисл. доктора биологических наук Г. Э. Куренцовой. Хабаровск, Кн. изд., 1976. 110 с. Тираж 15 000 экз. Цена 15 коп.

В научно-публицистических очерках кандидата биологических наук Л. Н. Згуровской исследуются методы охраны растительности на Дальнем Востоке в прошлом и настоящем. Особенно ценны рекомендации автора по усилению охраны дальневосточных заповедников и улучшению использования биологических ресурсов Приамурья и Приморья.

Автор рассматривает обширный комплекс вопросов, связанных с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР о мерах по охране природы.

Н. Фотьев. РЕКИ РАДОСТИ. Очерки. Хабаровск, Кн. изд., 1976. 148 с. Тираж 30 000 экз. Цена 26 коп.

В очерках и новеллах автор создает яркие и красочные картины природы родного края, знакомит читателей с растительным и животным миром Приамурья.

А. Мишкин. ГОЛУБЫЕ ПОГОНЫ. Повести. Хабаровск, Кн. изд., 1976. 160 с. Тираж 15 000 экз. Цена 24 коп.

В книгу Александра Мишкина включены короткие повести о стражах мирного неба — военных летчиках, становлении их характеров, приобретении ими боевого мастерства. Повести — «Голубые погоны», «Танец с саблями» и «Птицы летают без компаса» — адресованы главным образом молодым читателям, которым предстоит выбрать свой путь в армии.

А. Прихненко. СПАСАТЕЛИ. Повесть. Хабаровск, Кн. изд., 1976. 128 с. Тираж 15000 экз. Цена 17 коп.

«Спасатели» — повесть, изложенная в форме дневника, рассказывающая о героической работе тех, кто выручает попавшие в беду суда. Герои повести — рабочие, инженеры, показавшие пример сознательного отношения к выполнению служебного долга, сплоченность в борьбе с суроюю стихией. Но главным образом это повесть о поиске молодым человеком своего настоящего дела в жизни.

Н. Наволочкин. КАК ИСПРАВИТЬ ЕДИНИЦУ. Стихи для детей. Худ. В. Антонов. Хабаровск, Кн. изд., 1976. 32 с. (Для младшего школьного возраста). Тираж 200 000 экз. Цена 7 коп.

Имя Николая Наволочкина — автора детских книжек «Каникулы кота Егора», «Ребята с нашего двора» и многих других — знакомо юным читателям. В книжке «Как исправить единицу» младшие школьники найдут веселые стихи поэта и прозаика.

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ В РАЙОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА БАМ. Сборник. Научн. ред. академика ВАСХНИЛ Г. Т. Казьмина. Хабаровск, Кн. изд., 1976. 60 с. Тираж 2000 экз. Цена 9 коп.

В брошюре под научной редакцией академика ВАСХНИЛ Г. Т. Казьмина представлены предварительные рекомендации ученых по освоению торфянистых земель в районе строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали на территории Хабаровского края и обобщен производственный опыт функционирующих в этой зоне сельскохозяйственных предприятий.

А. ЕВГРАФОВ.



Юрий ШИШОВ

Рисунки художника В. Строкова

Два рассказа

ТРУДНЫЙ ДЕНЬ ВАСЬКИ ГРАЧЕВА

Декабрь сорок первого года в Подмосковье был очень холодный. На редкость для здешних мест. А тут еще с Васькой Грачевым случилось несчастье. Он потерял хлебные карточки. Мамину — рабочую на семьсот граммов и свою — иждивенческую, которые выдавались на детей и стариков — четыреста граммов в сутки. До конца месяца оставалось три дня, перед самым Новым годом, но и три дня ничего не есть — трудно.

Мать ушла на работу в утреннюю смену, а Васька отправился по раньше занять очередь за хлебным пайком и вот по дороге где-то обронил карточки. Он обыскал всю улицу. Десятки раз снова и снова осмотрел каждый свой след, от дома до хлебного магазина, разгребая валенком снег, — карточек не было.

Вернувшись в свою нетопленную комнату, Васька, скорчившись, сел в углу, уткнулся в колени подбородок и заплакал, молча смахивая кулаком бежавшие по щекам слезы. Нос у него распух, покраснел, из-под шапки-ушанки клочками свисали давно не стриженные волосы, прилипая к переносице.

Пришел Славка, в подшитых валенках. В руках он держал коньки:

— Айда, что ли? — позвал Славка. Взглянул на Ваську, он присел на карточки: — Ты чего?

Васька еще глубже уткнулся в колени. Славка опустился рядом с ним, расстегнув большую, не по размеру, стеганку.

— Чего плачешь-то? — спросил Славка.

— Карточки по-те-рял, — тихо всхлипнув, выдавил Васька.

Славка замер с открытым ртом, вытаращив на Ваську свои зеленоватые глаза. Потом он сложил губы трубочкой, присвистнул:

— Ф-ю-ю.... А как же теперь? Мать знает? — Васька молча потряс вихрами, шмыгнул носом. — Всыплет тебе, как пить дать... — огорченно промолвил Славка.

— Причем тут... Пускай всыплет, не жалко. Я то что... а вот мама. Три дня голода не выдержит. Помрет. — Васька закрыл лицо руками и глухо застонал.

Славка поднялся, бросил к порогу свои коньки-хоккейки и сказал:

— Я сейчас приду. Да не реви ты! — Он возвратился быстро и пропал. Ваське три нечищенных картошины: — На! Мать придет с работы — съедите. Бери, бери. У нас с мамкой кусок хлеба есть на вечер, не пропадем.

Васька, немного успокоившись, положил картошку в миску и прикрыл полотенцем. Посидели молча. Повздыхали. Первым поднялся Славка:

— Ну чего?.. Айда! Все равно теперь ничем не поможешь.

— Пошли, — не очень охотно согласился Васька. Они прикутили к валенкам свои хоккейки и вышли на улицу.

По Горьковскому шоссе шли тяжело груженные машины, везли боеприпасы и военное снаряжение. Возле железнодорожного переезда машины снижали скорость, и ребята, зацепившись проволочными крючками за кузов автомашины, катились по укатанному, заснеженному шоссе, как по льду. Это было очень опасно. Притормозит шофер и — врезавшись лбом в кузов... Но ребята все-таки цеплялись за проходящие автомобили. От железнодорожного переезда они катили до трамвайного кольца, где машины сбрасывали скорость, переезжая трамвайные рельсы, а там поджидали встречную машину и катили обратно.

Славка с Васькой зацепились у переезда за «трехтонку» и поехали в сторону трамвайного кольца. Доверху груженная машина шла медленно.

— Гляди-ка, — прокричал Васька, кивая головой на ящики, — галеты!

— Ага, — кивнул в ответ Славка, — похоже. Васька «а крючке подтянулся ближе, вцепился за борт рукой. Потрогал крючком ящик. Шофер, прибавив газу, резко рванул машину вперед. Васькина рука сорвалась с борта; крючок, зацепившись за ящик, опрокинул его за борт, и он с грохотом полетел на обочину шоссе. Ребята, отцепившись от машины, испуганно бросили крючки и задали деру.

Машина уходила все дальше и дальше. Ребята остановились, тяжело дыша, посмотрели друг на друга.

— Что ты наделал?! — закричал Славка.

— Я нечаянно, — пролетал побледневший Васька. Они растерянно молчали, ковыряя коньками ледяные корочки на шоссе.

— Айда посмотрим, чего там? — направляясь к лежащему вдалеке ящику, сказал Славка.

Васька потихоньку покатился за ним следом.

Упавший ящик разбрзлся, и несколько винтовочных патронов валялись прямо на снегу. Ребята застыли в оцепенении.

— Галеты! Дать бы тебе по шее! — взъярился Славка.

Столько бед нынче свалилось на Ваську, что он даже плакать не мог. Только до крови закусил губу.

— А я знаю, что надо сделать, — решительно заявил Славка. — Надо сообщить в комендатуру. Он ведь мог и сам упасть. Верно?

— Мог, — виновато согласился Васька.

— Сейчас проголосуем, вон машина идет. — Славка поднял руку. Машина остановилась. — Дяденька! — подбегая к шоферу, закричал Славка. — Тут ящик с патронами с машины упал.

— Где? — Шофер вышел из кабины.

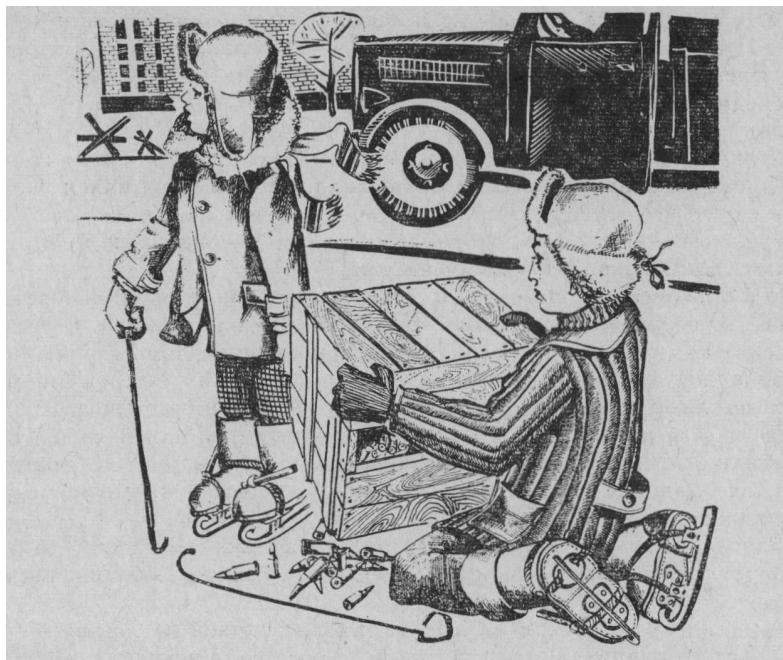
— А вон лежит, — указал на ящик Славка.

— Вот разъява! — выругался шофер, разглядывая валявшиеся патроны.

— Дяденька! Надо бы в комендатуру ящик отвезти, а? Помогите, дяденька?! — попросил Славка.

— А где тут у вас комендатура, знаешь?

— Знаю, у вокзала.



Ребята быстро собрали патроны, шофер поставил ящик в кабину и усадил ребят.

— Вот, пацаны ящик с патронами на обочине шоссе нашли, — доложил шофер коменданту, поставив на скамью ящик. — Разрешите идти, товарищ капитан? Рейс спешный.

Коменданта понимающие кивнули:

— Идите. Спасибо.

Капитан устало прикрыл ладонью глаза, посидел, помолчал, потом, словно очнувшись, спросил:

— Где вы его нашли, ребятки?

Поерзав на скамейке, Славка ответил смущенно:

— На шо-ссе.

Капитан вышел из-за стола, приоткрыл дверь, крикнул:

— Сержант!

— Я, товарищ капитан.

— Сообщите на контрольный пункт, потерян ящик с патронами, пусть проверят груз, задержат водителя. Ящик отправьте срочно на контрольный.

— Слушаюсь, — сказал сержант и унес ящик.

Ребята сидели, потупясь. Вдруг Васька резко поднялся, подошел к капитану:

— Это я виноват! — Капитан удивленно поднял на него покрасневшие от бессонницы веки. — Я виноват, — повторил Васька и снова до боли закусил губу.

— Ну, рассказывай, — тихо сказал капитан.

Васька смотрел на капитана глазами полными слез и молчал. Тут вмешался Славка и начал говорить торопливо, сбивчиво:

— Он, товарищ капитан, карточки сегодня потерял. Хлебные. Потом мы пошли кататься. А потом он нечаянно ящик крючком задел, а он и упал с машины. Он нечаянно, товарищ капитан, нечаянно, совсем нечаянно. Он думал галеты, просто потрогать хотел... а ящик упал.

— Знаете, как это называется?! — нахмурился капитан. Он походил

по кабинету, заложив руки за спину, потом остановившись возле Васьки, спросил: — Отец-то твой где?!

— На фронте, — ответил за него Славка. — И мой тоже. Там где все.

Капитан пристально посмотрел на Ваську.

— А как же ты карточки потерял? Что вы теперь с матерью есть будете?

— А я ему три карточки дал, товарищ капитан. Поедят, — выпалил Славка.

— Три карточки, — капитан задумчиво потер щетинистый подбородок, подошел к двери, крикнул: — Сержант!

— Слушаю, товарищ капитан.

— Ящик на контрольный отправили?

— Так точно!

— Хорошо. Принесите-ка, пожалуйста, мне все, что там полагается: хлеб, сахар и кипятку две кружки.

— Слушаюсь! — сержант вышел.

— Значит, отцы ваши воюют с врагом, а вы здесь диверсией занимаетесь? Вы понимаете, что натворили? — Ребята закивали головами. — Хорошо, хоть сами честно сообщили, не струсили. Я думаю: вы больше за машины цепляться не будете?!

— Никогда! — сказал дрогнувшим голосом Васька.

Сержант принес четыре ломтика хлеба, четыре кусочка плененного сахара и две кружки с кипятком. Капитан выдал ребятам по ломтику хлеба, по кусочку сахара и сказал:

— Ешьте. — Остальные два ломтика и сахар он аккуратно завернул в бумагу и протянул Ваське. — Отнесешь это маме.

Капитан посмотрел на Ваську добрыми, усталыми глазами, и впервые за этот несчастный день Васька улыбнулся.

ЮРКА

Сержант разведроты Алексей Дзюба, прижавшись к покосившемуся плетню, отстреливался короткими очередями: экономил патроны. Алексей пытался отползти к оврагу, но огонь фашистов заставил его снова приткнуть к земле.

Еще две гранаты в запасе. Алексей, бросив одну на близкие чужие голоса, прыгнул через плетень. При свете взрыва мельком увидел долговязого гитлеровца, рухнувшего навзничь.

Все стихло, но вскоре послышалась злая гортанная речь. Сержант дал очередь.

— Рус, сдавайс! — раздалось справа.

Автомат Алексея лихорадочно вздрогнул еще раз и смолк. Кончились патроны. Сержант задержал в руке последнюю гранату. Спекши-мися губами прошептал: «Ну, идите...» Алексей знал, что разожмет пальцы только в одном случае, — если гитлеровцы окажутся рядом.

Вдруг слева из-за плетня ударили автомат. Фашисты завопили. Алексей удивился: кого это судьба послала ему на выручку?

Неизвестный опять пустил веером очередь и бросился вслед за сержантом к оврагу, где оба оказались одновременно.

— Дядя, на автомат! — услышал Алексей детский голос.

— Это ты стрелял?

— Я.

— Спасибо, друг!.. Ну-ка, скажи, по этому оврагу мы выберемся к лесу?

— Ага.

— Тогда давай. Швидко!

Неожиданно там, где должна быть опушка, засветились фары, послышался треск мотоциклетных моторов.

— Обходят, гады! Видно, не уйти нам, хлопчик...

— Уйдем, — сказал парнишка. — Айда по ручью к реке. Ползите за мной.

Они свернули вправо. Скользя по мокрым камням, поползли к реке. Здесь запыхавшийся сержант шепнул пареньку:

— Не утонешь? Плавать можешь?..

— Еще как! — тоже шепотом ответил мальчуган и первым бесшумно скользнул в воду.

По оврагу метался свет, оттуда доносилась беспорядочная стрельба. Алексей и его спаситель выбрались на берег. Бежали километра два, спотыкаясь и падая. В лесу отдохнули.

— Здорово надули фрицев! — рассмеялся Алексей. — Ну, теперь давай знакомиться. Зовут тебя как?

— Юрка.

— А меня Алексеем, чуешь?

Сержант по-мужски крепко пожал мальчугану руку.

Нос у Юрки усыпан веснушками, вздернут вверх. Глаза смотрят строго.

— Сколько тебе лет, Юрка?

— Двенадцать уже.

— Двенадцать, значит, — сержант потрепал его вихор. — А где это ты автомат добыл?

— У немца. Я на чердаке жил... Слыши: стреляют, кричат что-то. Я обрадовался, думал, наши пришли. Вылез в чердачное окно, спрыгнул с крыши на сарай и оттуда по огороду к плетню. Вдруг как шарахнет граната. Я упал, и немец недалеко от меня растянулся. Подполз к нему, взял автомат — и деру. Слыши, кричат: сдавайся! Я прижал автомат к животу и давай...

— Ясно, — улыбнулся Алексей. — Значит, живем?

— Живем. Куда мы теперь, дядя Алеша?

— К нашим двинем. В селе у тебя кто-нибудь остался?

— Никого.

— Ясно. Тогда шире шаг!

Уходили дальше и дальше. Поспевая за сержантом, Юрка рассказывал про себя.

— Отец воюет. Писем с самого начала не присыпал... Когда немцы пришли в село, начали угонять всех в Германию. Мамка меня в хлеве прятала, в ящике из-под отрубей. А потом... и ее забрали.

Юрка, помолчав, продолжал:

— Я из ящика на чердак перебрался. Кожуру от гороха ел, ее там много было. Тошило иногда...

Некоторое время Юрка шагал молча, о чем-то сосредоточенно думал. Потом попросил:

— Дядя Алеша! Возьми меня с собой. Чтобы в Германию вместе прийти.

— До Германии далеко.

— Дойдем! — уверенно сказал Юрка и добавил: — Может, папаню встречу или мамку разыщу... Возьмешь, дядя Алеша?

Сержант обнял мальчишку за узкие плечи, прижал к себе:

— Возьму.

Тимофей БЕЛОЗЕРОВ

У МОРЯ

Хорошо на теплом камне
 Слушать ласковый прибой,
 А потом, взмахнув руками,
 Прыгнуть

в омут

голубой,

В голубой, зеленый, синий...
 Чтоб узнать, что ты не трус,
 Чтоб увидеть мир актиний,
 Царство крабов
 И медуз.



КАМНИ

С горою-матерью повздоря,
 Ушли из дома камни в море.
 Грядой, как много лет назад,
 Бредут куда глаза глядят.
 — Вернитесь, — шепчет им гора, —
 Я одинока и стара,
 И в мире нет мне вас родней!..

Не тот характер у камней!

ЛОСЬ

Когда весной в поток бурлящий
 Сольются талые снега,
 Могучий лось в лесные чащи
 Уходит сбрасывать рога.
 И, словно воин безоружный,
 Домой шагающий с войны,
 Он верит в мир, большой и дружный,
 Объятый радостью весны—



На приз Героя

Константин Коротков боксом начал заниматься с 15 лет в Московском спортивном клубе ДСО «Строитель». Спортивные успехи быстро выдвинули его в число лучших боксеров Советского Союза. Несмотря на пришедшую спортивную славу, он в числе многих выдающихся спортсменов-комсомольцев в конце 1940 года по призыву ЦК ВЛКСМ добровольцем ушел служить в ряды Красной Армии, попросив командование направить его в беспокойный в то время Дальневосточный край.

С 1940 по 1943 год Константин Коротков становится бессменным чемпионом Дальневосточного фронта и Дальнего Востока по боксу в наилегчайшем весе.

Служил Коротков в 202-й воздушно-десантной бригаде. Одному из авторов этой заметки, в прошлом неоднократному чемпиону Дальнего Востока по боксу И. Т. Гущину, довелось быть его сослуживцем.

Вскоре Константин Коротков стал отличником боевой и политической подготовки, отличным парашютистом. Но его призванием остался бокс. Как бы ни уставал Константин на тактических занятиях и прыжках, он каждый вечер приходил в спортивный зал на тренировку.

С первых дней Великой Отечественной войны Константин рвался на фронт, подавая на имя командования рапорты. А в январе 1942 года, когда он узнал о гибели младшего брата, дравшегося с гитлеровцами на Северном фронте, Коротков обратился к командующему Дальневосточным фронтом, и его просьба была удовлетворена.

С февраля 1943 года Константин находится в действующей армии на Северо-Западном фронте. В составе группы десантников он совершил дерзкие рейды по тылам врага. В одном из таких рейдов отважный парашютист 29 июля 1943 года был ранен. После госпиталя он попадает на Степной фронт. На груди его первые награды — медаль «За боевые заслуги» и орден Красной Звезды.

Гвардии сержант К. Коротков избирается секретарем ком-



сомольской организации батальона и воюет в должностях помощника командира взвода.

Исклучительную смелость проявил он при форсировании Днепра. В ночь с 30 сентября на 1 октября 1943 года Коротков с группой бойцов на подрученном материале первым под сильным огнем противника переправился на правый берег и уничтожил до взвода гитлеровцев.

В ожесточенной схватке с врагом у деревни Мишурин Рог выбыл из строя командир 4-й роты. Коротков принял командование и лично повел подразделение в атаку, овладел южной окраиной деревни, а затем отбил семь ожесточенных контратак противника. В этом бою Константин Коротков лично сбил более 70 немецких солдат и офицеров, подбил две бронемашины и одну танкетку противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года Константину Александровичу Короткову было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

А потом тяжелое ранение. Снова госпиталь... И новые бои.

в составе 24-й гвардейской воздушно-десантной бригады.

В апреле 1945 года на подступах к австрийскому городу Потештейну мастер спорта, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза Константин Александрович Коротков пал смертью храбрых.

По инициативе фронтовых друзей и боксеров-дальневосточников, Политического управления Краснознаменного Дальневосточного военного округа, редакции газеты «Молодой дальневосточник» и Хабаровского краевого комитета по физической культуре и спорту в память о трехкратном чемпионе Дальнего Востока, Герое Советского Союза К. А. Короткове с 1961 года учрежден переходящий приз по боксу.

Каждый год сильнейшие боксеры — дальневосточники, а с 1975 года из всех союзных республик собираются в одном из городов Хабаровского края на традиционный турнир памяти Героя Советского Союза мастера спорта К. А. Короткова.

И. ГУШИН,
В. ОМЕЛЬЧАК.

Якутскому книжному издательству-50 лет

Якутская АССР прошла великий путь развития. Из отсталой, находившейся на весьма низком культурном уровне она превратилась в одну из развитых автономных республик РСФСР.

До революции в Якутии было лишь два процента грамотных. Книги, которые выпускались на якутском языке, представляли собой ведомственные и миссионерские издания — различные молитвословы и другие богослужебные книги. Причем выходили они эпизодически.

Якутское книжное издательское дело, возникшее в 1926 году, за 50 лет своего существования прошло поистине огромный путь. С самого начала своей деятельности оно наткнулось на ряд трудностей: не было удовлетворительной полиграфической базы, не было бумаги, не хватало полиграфистов, бездорожье Якутии мешало осуществлению помощи из центральных городов России. Большую роль в становлении издательского дела сыграла деятельность Якутской секции при «Центроиздате» (1924—1927 годы), а после ликвидации «Центроиздата» деятельность Московского отделения Якутского государственного издательства.

В трудные годы Великой Отечественной войны писатели Якутии, Якутское книжное издательство, полиграфисты якутской типографии внесли своим трудом посильный вклад в дело разгрома фашистских оккупантов. В те годы ощущалась нехватка бумаги. Порой книги печатались на оберточной бумаге. Но, несмотря на трудности, продолжала издаваться научная, художественная, пе-реводная и учебная литература. Издательству пришлось перестроить работу на военный лад: в основном издаются книги военной тематики. Из художественных произведений, например, вышли сборник стихов «На защиту солнечной страны» С. Эллия-Кулачикова, «Якуты на войне» М. Тимофеева-Терешкина и другие.

В настоящее время издательством выпускается хорошо оформленная, красочно иллюстрированная литература. Из года в год растут тираж и количества названий книг. Так, в 1974 году было издано 212 книг и брошюров общим тиражом 1 256 тысяч экземпляров.

Издательство выпускает книги на якутском, русском и эвенском языках. Ежегодно переводится на якутский язык художественная литература с четырех-пяти языков. Читатель на родном языке знакомится как с произведениями классиков на-

родов СССР, так и с произведениями классиков мировой литературы.

Произведения якутских писателей издаются на языках народов СССР и за рубежом. Например, произведения лауреата Государственной премии РСФСР имени Горького Семена Данилова переведены на монгольский, японский, французский, английский, немецкий и другие зарубежные языки. За последнее время якутская художественная литература обогатилась новыми произведениями, широко известными союзному читателю. Получили известность, например, роман «Пока бьется сердце» Софона Данилова, «Ханидо и Халерх» яокагирского писателя Семена Курилова, «Весенние заморозки» эвенского писателя Болот Боотура (Василий Соловьев), «Молодая хозяйка» Анастасии Сыромятниковой и другие.

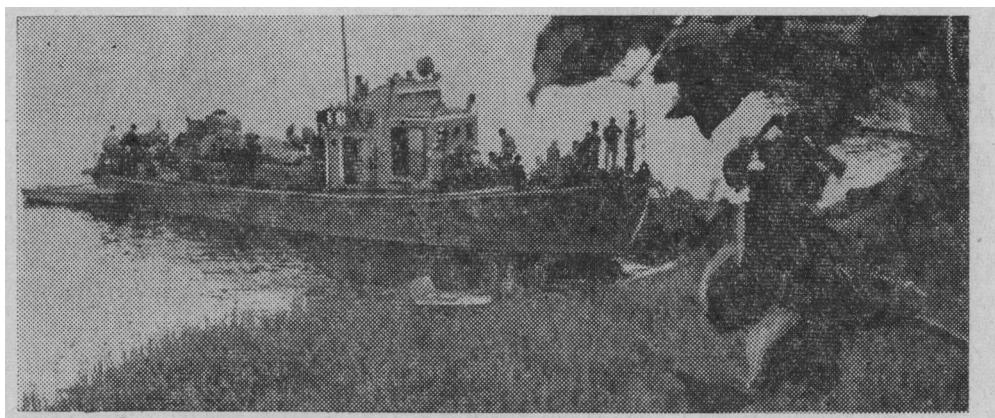
Кроме художественной литературы, одно из первых мест в планах издательства занимает выпуск общественно-политической литературы. На якутском языке выходят произведения К. Маркса и Ф. Энгельса. Особое внимание уделяется изданию произведений В. И. Ленина. За годы Советской власти на якутском языке издано более 800 произведений и документов В. И. Ленина.

Якутским издательством осуществляется выпуск производственно-технической, сельскохозяйственной, краеведческой, художественной, детской и учебно-методической литературы.

К интересным изданиям краеведческой литературы, вышедшим в 1975 году, можно отнести книгу «Якутский театр», а также «Полвека на по-прище коммунистического воспитания трудаящихся» — эта работа рассказывает о 50-летии Якутской республиканской библиотеки имени А. С. Пушкина. Большим и радостным событием прошлого года явилось издание богато иллюстрированного геронического эпоса-олонхо «Нюргун Боотур Стремительный», воссозданного на основе народных сказаний Платоном Ойунским в переводе Владимира Державина.

Л. ДАНИЛОВ,
студент Хабаровского государственного
института культуры.

БУДУЩЕЕ МАРИКУЛЬТУРЫ



Тихоокеанский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии приступил к осуществлению большой программы работ по развитию марикультуры в При-

морье — искусственному выращиванию морской капусты, морского гребешка, тихоокеанской устрицы, трепанга и других морепродуктов.

В программу мероприятий вхо-

дят создание в ближайшем будущем морской экспериментально-промышленной базы марикультуры на острове Попов, неподалеку от Владивостока, а в не столь отдаленном будущем

— создание специального лабораторного корпуса и центра марикультуры в краевом центре.

К строительству базы как первого научно-производственного комплекса марикультуры в стране, уже приступила рабочая группа специалистов. В разработке всех трех объектов мари-

культуры, а также создании нового мощного исследовательского корпуса ТИНРО на самом берегу Амурского залива, участвует коллектив Владивостокского института ГИПРОНИИ. Одну из экспедиций вы видите на снимке.

Курс на марикультуру, про-

кладываемый наукой, — зов времени, требующего во всем мире не только использования биоресурсов Мирового океана, но и эффективного воспроизводства их.

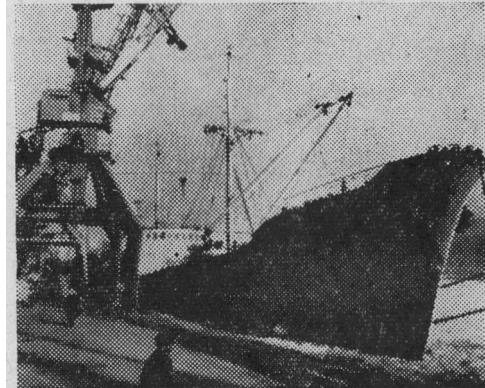
Вл. СВИРИДОВ,
старший научный сотрудник
ТИНРО.

Порту-четверть века

Находкинскому морскому рыбному порту исполнилось двадцать пять лет. За эти годы он превратился в один из крупнейших на Дальнем Востоке. Сейчас порт ежегодно перерабатывает миллионы тонн народнохозяйственных грузов.

Что касается механизации и автоматизации, то в порту почти ликвидирован тяжелый ручной труд — он переложен на плечи кранов и других механизмов. Докеры постоянно внедряют в производство передовые методы труда, например погрузку и выгрузку производят по варианту: борт судна — вагон, вагон — борт судна, и она составляет сейчас 72 процента, а переработка на пакетах достигла одной трети. Сейчас порт обрабатывает в год более 600 различных сухогрузных и рефрижераторных судов и более 52 тысяч вагонов.

По-ударному работают докеры. В завершающем году девятой пятилетки 27 бригад рапортовали о досрочном выполнении своих пятилетних заданий. Это бригады В. Э. Гиглана, А. И. Ярыгина, В. В. Мурого, Н. Г. Стрельникова и другие. А бригада В. Э. Гиглана выполнила две пятилетки.

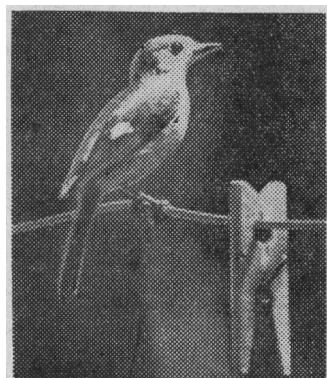


Коллектив рыбного порта не раз выходил победителем социалистического соревнования. Он награжден Знаменем ЦК КПСС, Советом Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, Почетной грамотой ВЦСПС.

В порту 380 ударников коммунистического труда 320 человек награждены юбилейной Ленинской медалью, 72 — орденами и медалями. Каждый четырнадцатый работник порта — рационализатор.

В десятой пятилетке Находкинский морской рыбный порт значительно расширит свои границы, на его причалах поступит новая, более мощная техника. Все это позволит значительно увеличить перевалку народнохозяйственных грузов, поток которых с каждым годом возрастает.

И. ШИМАНСКИЙ.



В населенных пунктах нередко можно видеть птичку меньшее воробья, на довольно высоких ногах, с ярко-рыжим хво-

ГОРИХВОСТКА

стиком, который время от времени дрожит, как пламя горит. По такому необычному признаку птицу и прозвали горихвосткой. Она гнездится в дуплах деревьев, в расщелинах скал, в кучах камней, но чаще встречается около жилья человека. Тут селится в поленницах дров, в строениях, можно обнаружить ее гнездо в ящике для писем и газет.

Горихвостка, которая живет в Сибири и у нас на Дальнем Востоке, по окраске похожа на обыкновенную европейскую, отличаясь от нее только белыми полосками на крыльях. У горихвосток резко выражено отличие

в окраске самца и самки. У самца верх головы и шеи пепельно-серый, кажется седым, а лоб, бока головы и бока шеи, спина и крылья — черные. Нижняя сторона тела и хвост — рыжие. Самка окрашена скромнее: она серовато-бурая с рыжим хвостом.

По наблюдениям орнитологов, горихвостка за день приносит своим птенцам корм 300—350 раз. Отсюда понятно, какую огромнейшую пользу приносят человеку птицы, уничтожая бесчисленную массу прожорливых гусениц.

В. ПОТОМКИН.
Фото автора.



Приморье. Сев риса

Фото Ю. Муравина

50 коп.

ИНДЕКС
73103